

**Звезда
Востока**



3

1967

**ПИСАТЕЛИ РОССИИ
ТАШКЕНТУ**



Звезда

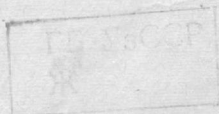
Востока

3

**Орган
Союза
писателей
Узбекистана**



**Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**



Год издания XXXV

1967

Главный редактор В. А. КОСТЫРЯ.

Редколлегия: И. АКБАРОВ, С. П. БОРОДИН,
С. Д. ДОЛГОПОЛОВ, А. М. ИВАНОВ, С. И. ЛИ-
ХОДЗИЕВСКИЙ, Х. НАЗИРОВ, А. А. УДАЛОВ,
М. И. ШЕВЕРДИН.

И. о. зам. главного редактора Б. Я. БОКСЕР.
Ответственный секретарь В. Б. ВИЛЬЧИК.

ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛАМИ:

прозы — С. Д. Долгополов,
поэзии — Н. И. Пушкарская,
критики и библиографии — В. Д. Новопрудский,
публицистики — Г. Н. Крюк,
искусства — Г. В. Савицкий.
Отдел сатиры и юмора — „Типрафикон“ — ведут
В. Д. Новопрудский и Г. В. Савицкий.

Художественный редактор Г. П. Бедарев.
Технический редактор Ф. Я. Викнянская.
Корректоры: Н. Красова, З. Байбазарова.

*Рукописи объемом менее печатного листа
не возвращаются*

Адрес редакции: Ташкент, ГСП, Навои, 30.

Сдано в набор 17/1-1967 г. Подписано к печати
4/III.1967 г. Бумага 70×108¹/₁₆. Физич. печ. л. 15,0.
Условных печ. л. 20,55. Уч. изд. л. 21,3. Тираж 20000.
Р-08244. Изд. № 3327. Заказ № 3050. Цена 50 коп.

Ташкент. Типография Объединенного издательства
ЦК Компартии Узбекистана.



Шараф РАШИДОВ

БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!

Узбеки издавна говорят: «Явился сосед — явилась помощь». Этой поговорке сотни и сотни лет. И жить ей, а также многим другим, которые, как драгоценный камень, отшлифованы мастером-народом до блеска, подобного живому блеску человеческих глаз, — еще века и века. Но в наше время — в канун 50-летия Советской власти — и тысячелетняя мудрость обретает новые грани.

Едва страна узнала о беде, постигшей Ташкент, — о сильном землетрясении 26 апреля 1966 года, — как отовсюду, со всех концов Советского Союза, хлынул поток добровольных вкладов в фонд восстановления столицы нашей республики. Вместе с эшелонами стройматериалов и машин ехали строители, наши братья — русские и украинцы, белорусы и казахи, грузины и азербайджанцы, литовцы и молдаване, латыши и киргизы, таджики и армяне, туркмены и эстонцы, воины наших славных Вооруженных Сил.

Прошел всего год — и посмотрите, какая гигантская работа сделана! Со дня на день все зримее, все отчетливее становится облик нового, будущего Ташкента — поистине города-красавца! Все новые и новые этажи поднимаются в солнечную синеву ташкентского неба. И естественно, что и древние поговорки «надстраиваются». Теперь говорят:

Мир улыбнется — солнца свет,

Мир пальцем шевельнет — новый Ташкент!

Среди друзей Ташкента — известные писатели и журналисты Москвы, Ленинграда, Киева, других литературных центров Советского Союза. Многие из них приезжали в наш город, писали о ташкентцах, рассказывали читателям о драме и подвиге Ташкента, а теперь вот — подарили ему свои замечательные произведения: гонорар за публикацию их направляется на строительство в Ташкенте библиотеки имени Алишера Навои, а на мемориальной доске ее — будут высечены имена авторов.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-КОЛЛЕГИ!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЙ УЗБЕКСКИЙ КАТТА РАХМАТ — БОЛЬШОЕ СПАСИБО — ЗА ВАШУ ДУШЕВНУЮ ЩЕДРОСТЬ, ЗА БРАТСКИЙ ВКЛАД В СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ТАШКЕНТА.



Константин ПАУСТОВСКИЙ



Вениамин КАВЕРИН



Виктор ШКЛОВСКИЙ.

В редакцию журнала „Звезда Востока“

Мужеством и работой таджикцев
должно гордиться человечество

Виктор Шкловский

К. Лусквин

В. Каверин

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ТАШКЕНТЦЫ!

Знаю, что многие собраты по перу откликнутся на добрый клич журнала «Звезда Востока», — посвятившего этот номер родному Ташкенту.

Эти строки я пишу спустя несколько минут после очередного, семибалльного толчка. По счету сейсмической станции «Ташкент» — пятьсот тринадцатого!

Пятьсот тринадцать больших и малых землетрясений на долю одного города, за несколько недель! Пожалуй, многовато!

А ташкентцы, попривыкнув к толчкам и неохотно вспоминаящие о трагическом утре 26-го апреля, когда все началось, живы и здоровы, расчищают рухнувшие кварталы, закладывают новые, теперь уже более устойчивые дома. Хорошо было сказано о состоянии города на недавнем Пленуме Центрального Комитета партии Узбекистана, обсуждавшем вопрос о возрождении столицы республики:

— Израненный Ташкент не утратил богатырского здоровья...

Хочется добавить к этим верным словам: не утратил и присущей ему жизнерадостности, оптимизма, умения трудиться так, словно ничего и не случилось.

Плодотворных успехов, уютного города, мирной и безоблачной вам жизни, дорогие друзья ташкентцы!

Евг. ПОПОВКИН.

Главный редактор журнала «Москва».

29 июня 1966 г.

1

ИЮНЯ
1966 г.

Начало в 12 час. дня

МОСКОВСКИЙ
ТЕАТР
на ТАГАНКЕВ ФОНД ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ
ТАШКЕНТА, ПЕРЕЖИВШИМ
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

АНДРЕЙ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ

АНТИМИРЬ

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Постановка заслуженных артистов РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Ю. И. Любимова
режиссера — П. Фомина, художника — Э. Станберг, билетеристов — Н. И. Аверинских,
ассистент режиссера — Ю. Добрынина, музыкальное оформление — Б. Хмельницкого, А. Васильева,
Д. ВысоцкогоУчаствуют артисты: В. Болонин, Б. Буинков, А. Васильев, И. Высоцкий, Т. Долгих, Т. Игумов,
Н. Золотухин, Э. Носов, Т. Норунова, С. Писарикова, Т. Лукинова, И. Поповичев, Э. Славина,
В. Снегид, Ю. Смирнов, В. Соболев, Н. Удальцова, Б. Хмельницкий, А. Чернов, Н. Цыганов

Главный режиссер театра — Юрий Любимов

СРЯДА
15
ИЮНЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ

В ФОНД ПОМОЩИ ТАШКЕНТУ

СРЯДА
15
ИЮНЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

ЕВГЕНИЙ

ВЫСТУПАЮТ

АНАТОЛИЙ

ЕВТУШЕНКО

СОФРОНОВ

ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО

СТИХИ

Начало в 19 часов



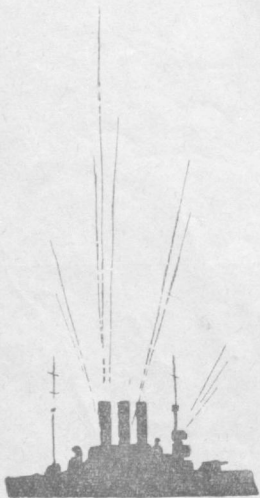
Михаил БУЛГАКОВ

«Записки на манжетах» — характерный образец ранней булгаковской прозы. Это неприязнительные воспоминания писателя о периоде гражданской войны, о послевоенной разрухе, о первых днях строительства новой культуры. Но это одновременно и какой-то этап художнических исканий, попытка уловить бешеные ритмы времени, передать пульсацию авторских настроений, надежд, радостей, печалей.

Касаясь в своих записках проблемы ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ, М. Булгаков, вслед за Горьким, Блоком, Брюсовым, отстаивает высокую роль классического наследия, и делает он это в саркастической манере, столь характерной для его творчества.

«Записки на манжетах» печатались только один раз — в альманахе «Возрождение» (том II, Москва, издательство «Время», 1923), ставшем библиографической редкостью. Отрывки из «Записок на манжетах» присланы для этого номера «Звезды Востока» вдовой писателя Е. С. Булгаковой.

А. ВУЛИС.



СОДЕРЖАНИЕ

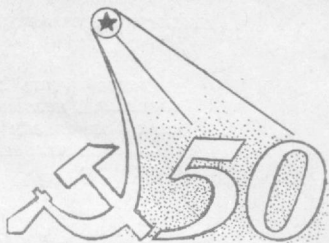
ШАРАФ РАШИДОВ. Большое спасибо, друзья!	5
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. ВЕНИАМИН КАВЕРИН. ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ. В редакцию журнала «Звезда Востока».	6
Евг. ПОПОВКИН. Дорогие друзья ташкентцы!	8
Мих. БУЛГАКОВ. Из «Записок на манжетах».	11
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ. «Я не знаю, как это сделать...» Стихи.	19
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. Баллада о совершенстве. Баллада о смертнике. Белое и черное. Баллада о бочке. Стихи.	20
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ. Сокровища Александра Македонского. Книга первая: «Коконы, сладости, сказки и Андрей Вавилыч Чашин».	28
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА. Озноб. Стихи.	71
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН. В метро. К портрету. Стихи.	75
НИКОЛАИ ПАНЧЕНКО. Баллада о расстрелянном сердце.	77
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Голос отца. Пьеса в одном действии.	80
АЛЕКСАНДР ЖАРОВ. Живой поток. Стихи.	86
ОСИП КОЛЫЧЕВ. Шартрский собор. Воск. Две сестры. Стихи.	87
ЮРИИ КАЗАКОВ. В мае, в счастливую пору. Из 2-й части «Северного дневника».	89
ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. «И я выхожу из пространства...», «Преодолев затверженность природы...», «Татары, узбеки и ненцы...». Из восьмистиший «Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...». Стихи.	97
РАСУЛ ГАМЗАТОВ. «Молодость, куда ты?..». Парень гор. Голова Хаджи-Мурата. Стихи.	99
БУЛАТ ОКУДЖАВА. Размышления возле дома, где жил Тициан Табидзе. «Мгновенно слово...», «Есть армия врагов...». Баллада о пшене. Одна морковь с заброшенного огорода. «Я никогда не витал, не витал...», «Двадцатый век, ты — странный человек!..» Стихи.	102
И. Э. БАБЕЛЬ. Из неопубликованного и забытого. Баграт-Оглы и глаза его быка. Гризук. Мой первый гонорар. Кольвушка.	107





- РИММА КАЗАКОВА. «Не тревожат — и не на-
до...», «Смысл лишь только в отдаче!..», «Жила
б уверенно и густо...» Стихи. 120
- СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ. Истина. Характер. Белый
слон. Стихи. 123
- ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО. На даче. Отрывок из
романа «Необыкновенные москвичи». 127
- ЛЮДМИЛА ТАТЬЯНИЧЕВА. Нулевая отметка.
Камнеломка. «Собираю я по зернышку...».
Стихи. 133
- ИРИНА ОЗЕРОВА. Дождевые капли. Стихи. 135
- ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН. Друзья. Глава из ново-
го романа. 138
- РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Мужа был..
Стихи. 147
- КАМИЛ ИКРАМОВ. Улица Оружейников. По-
весть. Окончание. 149
- ЯКОВ АПУШКИН. Конец старого Фауста. Дра-
матический этюд. 164
- ЮРИЙ КОРИНЕЦ. Малышам. С головы до ног.
Что со мной было. Как я искал свой день.
Стихи. 17
- ЛЕВ КАССИЛЬ. Чудесный фонарь и «курносые».
Из цикла «Пометки и памятки». 163
- ЛИДИЯ БАТЬ. Память о нем — в сердце (Из вос-
поминаний о Хамиде Алимджане). Милый со-
временник (Из воспоминаний о Михаиле Свет-
лове). 189
- КОНСТАНТИН СИМОНОВ. «Я ставлю на Ипполи-
то». (Испанская тема в творчестве Хемингуэя). 194
- ЯКОВ КУМОК. Михозлс. Рассказ. 202
- Н. ПУШКАРСКАЯ. История одной фотографии. 207
- КЛИМЕНТ РЕДЬКО. Из дневника художника. 210
- ДМИТРИЙ САРАБЬЯНОВ. Средняя Азия в твор-
честве Р. Р. Фалька. 216
- Ты слышишь, Ташкент! Песня. Стихи Л. Куксо,
музыка Н. Иллютович. 221
- «ТИПРАТИКОН». Сатирическое приложение, под-
готовленное «КРОКОДИЛОМ». 225





Из „Записок на манжетах“

VIII

Сквозной ветер

Евреинов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется: уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.

Братья-писатели, в вашей судьбе...

Без денег сидел. Вещи украли...

...А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались глазами.

Евреинов находчивый человек:

— А вот «Музыкальные гримасы»...

И немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояле, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и золотом и, наконец, полька.



Через десять минут цех был приведен в состояние полнейшей негодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...

...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!..

Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:

— Вот не доедем, да и только!

Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!

Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.

— В Москве лучше.

Доездили до того, что однажды лег у канавы:

— Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве — и обедом накормил.

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

— В Тифлисе лучше.

Третий — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лако-ничностью:

— Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

— ...но денег не пла... — начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда...

Беллетрист Пильняк. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.

— В Ростове лучше?

— Нет, я отдохнуть!!

Оригинал — золотые очки.



Серафимович — с севера.

Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.

— Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой — платок... Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул — сверху другое поставил. Подумал — еще раз перечеркнул. И так — несколько раз. Но вышла фраза, как кованая.

Теперь пишут... Необыкновенно пишут! Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз — то же. Так и отложишь в сторону...

Местный цех *in corpore* под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее! Уехал Серафимович... Антракт.



IX

История с великими писателями

Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках.

Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка.

Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре — яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Апплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие.

Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал: — Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали и тут голову морочат!..

Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник.

Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки:

— Пиши вторую программу!

Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер».

Любовно с Юрием составляли программу.

— Этот болван не умеет рисовать, — бушевал Слезкин, — отдадим Марии Ивановне!

У меня тут же возникло зловещее предчувствие... По-моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я играть на скрипке... Я решил это сразу,

как только она явилась в Подотдел и заявила, что она ученица самого Н. (Ее немедленно назначили заведующей Изо). Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.

Ровно за полчаса до начала, я вошел в декораторскую и замер.. Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он гроыхнет хохотом и скажет:

— А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!

Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась.

— Вам, по-видимому... э... не нравится?

— Нет. Что вы. Хе-хе! Очень... мило. Мило очень. Только вот... бакенбарды...

— Что?.. Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-ха! Что же, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!

— Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если и играл, то без всяких фокусов!

— Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу, издеваетесь надо мной!

— Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи!

— А-ах... та-ак!

Бросила кисть. От двери:

— Я на вас пожалуюсь в Подотдел!

Что было! Что было!. Лишь только раскрылся занавес и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской»... В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:

— Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!

Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слышал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло *crescendo*... Когда в инсценировке Са-



льери отравил Моцарта — театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Bis!!».

Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию...

Так я и знал!.. На столбе газета, а в ней на четвертой полосе:

ОПЯТЬ ПУШКИН!

Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест!..

О, чертова напудренная кукла Изол!

Кончено. Все кончено!.. Вечера запретили..

..Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?!

Х

Портянка и черная мышь

.....
Голодный, поздним вечером, иду в темноту по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И бормочу:

— Александр Пушкин. *Lumen coeli. Sancta Rosa.*
И как гром его угроза.

Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди...

Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь...

II

Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50,
комната 7.

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем



шестиэтажным зданиям, а вернее не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде—у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдыхался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная—«Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.

Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояля. Мелькнула комната, полная женщин в дыму. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».

— Где Лито? — спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая—не знает. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад.

Открыл одну дверь—ванная. А на другой двери—маленький блок. Прибит косо и край завернулся. Ли.. А! Слава богу. Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: ду-ду-ду...

Закрыв глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там—вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь, вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно... кто? Лито? В Москве? Да Горький Максим! На дне. Мать. Больше кому же? Ду-ду-ду... Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым?..

И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось, и глухо: — Да! Потом опять ду-ду-ду. Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошее начало карьеры—сломал! Опять постучал.—Да! Да!

— Не могу войти! — крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

— Вверните ручку вправо, потом налево, вы нас заперли...

Вправо, влево, дверь мягко поддалась, и...

III

После Горького я — первый человек

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в



глаза его обмотки. Они были белые. В руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой — седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами, был в папахе, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые, и лакированные бальные туфли с бантами.

Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Всё...

Как-то косноязычно:

— Это... Лито?

— Да.

— Нельзя ли видеть заведующего?

Старик ласково ответил:

— Это я.

Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, всыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:

— Нет ли спичечек?

Я машинально чиркнул спичкой, а затем — под ласково-вопросительным взглядом старика — достал из кармана заветную бумажку.

Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть? Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя.

Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением. Я сказал:

— Я хотел бы должность в Лито.

Молодой восхищенно крикнул:

— Великолепно!. Знаете...

Подхватил старика под руку. Загудел шепотом: ду-ду-ду...

Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:

— Пишите заявление.

Заявление было у меня за пазухой. Я подал.

Старик взмахнул ручкой. Она сделала: крак! — и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.

— Нет ли карандашика?

Я вынул карандаш, и заведующий косо написал:

— Прошу назначить секретарем Лито. Подпись.

Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой росчерк.

Молодой дернул меня за рукав:

— Идите наверх, скорей, пока он не уехал! Скорей!

И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и чер-



кнул: Назн. секр. Буква. Заكورючка. Зевнул и сказал: — Вниз.

В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристое сопрано сказало: — Мейерхольд... Октябрь театра...

Молодой бушевал вокруг старого и хохотал:

— Назначил? Прекрасно! Мы устроим! Мы всё устроим!

Тут опять хлопнул меня по плечу:

— Ты не унывай! Все будет.

Я не терплю фамильярности с детства, и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно:

— Но столы... стулья... чернила, наконец!..

Молодой крикнул в азарте:

— Будет! Молодец! Все будет!

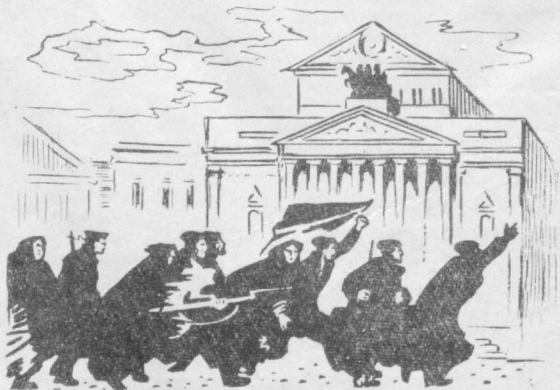
И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:

— Деловой парняга! Как он это про столы сразу! Он нам все наладит!

Назн. секр. Господи! Лито. В Москве. Максим Горький... На дне... Шехерезада... Мать.

Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху.

— Это вам. Четверть пайка.





Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

С дружбой человеческой и творческой. Спасибо.

*Андрей Вознесенский
Москва - 66.*

* * *

Я не знаю, как это сделать,
Но,
товарищи из ЦК,
Уберите Ленина
с денег.
Так цена его высока.

Понимаю, что деньги мера
Человеческого труда.
Но, товарищи, сколько мерзкого
Прилипает к ним иногда!

Я видал, как подлец мусолил
По Владимиру Ильичу,
Пальцы ползали
малосольные
По лицу его, по лицу!

В гастрономовской бакалейной
Он хрипел, от водки пунцов:
«Дорогуша, подай за Ленина
Два пол-литра и огурцов»...

Ленин — самое чистое деяние.
Он не может быть замутнен.
Уберите Ленина с денег.
Он для сердца и для знамен.



Евгений ЕВТУШЕНКО

ТАШКЕНТЦАМ

Замечательно, как мы научились быть героями в борьбе со стихией, даже не замечая подчас сами нашего героизма.

Если бы, исходя из этого опыта, мы бы научились бороться с отвратительной стихией фальши, лицемерия, корыстолюбия, трусости, если бы мы научились бороться с самими собой!

Евгений Евтушенко

Баллада о совершенстве

Памяти Урбанского.

Урбанский Женька, черт зубастый,
меня ручищами сграбастай,
подняв усталого с утра,
весь напряженный, исподобный,
весь и горящий, и спаленный
уже до самого нутра.

В рыбацкой кепке, в грубом свитре
ты появишься, разбойно свистни,
как в нашей юности, когда
без славы жили мы и грошей,
но жизнью все-таки хорошей,
горя, — не то, чтобы копя.

Да, были мы несовершенны,
но в нас кричала оглашенно
по совершенству маета.
Пусть мы шутили, водку дули, —
но яро делали мы дубли,
сгорая так, что дым из рта!

И там, в пустыне азиатской,
на съемке горько-залихватской
среди, как жизнь, зыбучих дюн,
ломаюсь всей кровью, шкурой, шерстью,
как сумасшедший, к совершенству,
ты крикнул: «Плохо! Новый дубль!»

Баллад

Искусство — съемка трюковая,
та трюковая, роковая,
где выжимают полный газ.
От нас, поэтов и актеров,
оно, как Молох, ждет повторов
всё совершенней каждый раз!
И всё смертельней каждый раз!

Пусть незаметна будет дурням
грань между каждым новым дублем,
пусть нам захватывает дух,
пусть мы у пропасти, у края,
но, на последнем погибая,
мы побеждаем первый дубль!

Так ты упал в пустыне, Женька,
как победитель, а не жертва,
и так же вдале — нанкосок —
тянулись руки к совершенству —
к недостижимому блаженству,
хватая пальцами песок...

Баллада о смертнике

И я вздрогну,
и я опомнюсь:
в стол зеленый доктями врыт,
бывший летчик-смертник —
японец
о Раскольникове говорит.
На симпозиуме о романе
он в свои сорок пять —
старик.
Он —
как вежливое рыданье.
Он —
как сдавленный галстуком крик.
И сквозь нас
и куда-то мимо,
сквозь шимозы и тень Лазо
желтым отблеском Хиросимы
проплывает,
кренясь,
лицо.
Ну, а в горле его —
то ли комья слез,
то ли комья кашля.
...Император хотел,
чтоб таким он и рос:
смирным смертником —
камикадзе.
Хорошо по рукам и букетам плыть,
поздравляемым быть перед строем...
Да,
красиво народным героем быть.

Но во имя чего —

героем?!

И бежал из героев он с горсткой друзей,
предпочтя свою славу покинуть,
и остался в живых...

Это было смелей,
чем во имя неправды погибнуть!
Ну, а я —

я слышу, что я смелый,
но о жизни и смерти моей
что я думаю,

грешный и смертный,
среди грешных и смертных людей?
Все мы — смертники.

Все камикадзе.

Ветер смерти свистит в ушах.
Каждый шаг по планете комкастой —
это к смерти невидимой шаг.
Так давайте же думать о смерти,
чтоб неправде ничем не служить,
чтобы только за правду на свете
свою голову в небе сложить!
Пусть я буду разбитым и смятым, —
не за то, что хотел бы тиран,
рычаги

вырывая

с мясом,
я пойду на последний таран.
Но тогда я хотел бы,

потомки,
чтоб сквозь тело истлевшее,
сквозь

моего самолета обломки
что-то доброе к вам прорвалось.
Но как страшно

себе же казаться
погибающим в небе не зря,
а, погибнув уже,
оказаться
обманувшимся смертником зла...

Белое и черное

Баллада, рассказанная мне молодым негритянским поэтом из Южноафриканского Союза о его встрече на фестивале искусства в Дакаре с белой американской девушкой ирландского происхождения по имени Ланни.

1

Сенегал,
я ныряю на самое дно кабаков
без советчиков и стукачей,
в синяках
от чумных,
начиненных нечаянностями ночей.

И ллюю
 на ханжей всего мира надводного —
 этих и тех,
 и плыву
 среди стеблей подводных
 лилово мерцающих тел.
 Голося,
 две мулатки трясутся на сцене
 и падают ниц.
 Их глаза,
 как актинии жадные
 с щупальцами ресниц.
 Но, едва
 колыхаясь в чаду,
 меня тянут к себе сквозь века
 твои два
 карих глаза,
 как два необманных подводных цветка.
 Мы вдвоем,
 дети разных, враждующих, как у Шекспира, семей.
 Белый Дом,
 Серый Дом*,
 мы прорвались друг к другу
 из ваших сетей.
 Мы в бегах,
 а за нами погоня,
 ищейки, сирены и прочий бедлам.
 Мы в ногах
 у единой праматери — вечности, глядящей волосы нам.
 Ланни, —
 лань,
 ты ко мне перепрыгнула
 через ракеты, эсминцы, моря.
 Где же грань,
 где граница меж нами двоими?
 Лишь кожа твоя и моя.
 Так возьмись
 перепрыгнуть и эту границу
 и губы бездонные дай мне до дна.
 Так возьмись
 кожей в кожу,
 и станут они, как одна.
 Ночь,
 визжи!
 В тебе что-то по пьянке опять,
 словно атомный смерч, взорвалось.
 И ножи
 сумасшедшими рыбами скачут
 над водорослями волос.
 Скрежеща,
 стулья в воздух взлетают,
 кастеты врезаются с хрустом под дых.
 Страшно, а?

* Серый Дом — так презрительно называет прогрессивная молодежь Дом Южноафриканского правительства.

Мой ирландыш, прощай навсегда...

Ну, а может?

А вдруг?..

До свиданья...

Твое имя пребудет во мне

и в последний мой час

свято,

Ланни.

Хоть бы раз мы увиделись в жизни еще,

хоть бы раз...

До свиданья!

«Самолет на Париж,

самолет на Париж, господа!»

В каравеллу

чемоданчик плывет,

как по серой реке в никуда,

по конвейеру.

Мы прижались друг к другу

затерянно, как дикари,

в тарараме

спекулянтов —

гашишем,

идеями,

девками

и

даже нами.

Мы бессильны с тобой,

а быть может, мы просто малы

и безвольны?

На руках у меня,

на ногах у меня — кандалы,

лишь —

без звона.

Уступаю тебя,

да и ты уступаешь меня,—

как в бою,

отступая.

Кандалы на руках

и сквозь белую кожу твою

проступают.

Мы — невольники века,

невольники наших правительств и рас.

Всюду —

цуты.

Настоящей свободы —

ее ни у вас, ни у нас.

Лишь —

минуты.

Отпустив на минуту обмякшую жертву,

питон

дальше

душит.

Что любовь?

Это только минута свободы.

Потом

даже

хуже.

лица мертвенны, ислиты,

под кормой — крысиный визг.

А вокруг сплошная каша —

только крики на ветру,

ТОЛЬКО качка,

качка,

качка,

только мерзостно во рту...

Качка!

Бочка прыгает по палубе,

бросаясь на людей.

Эх, ребята, и попали мы.

а все же — не робей!

Вылезайте из кают,

а не то нам всем каюк.

Качка...

А глаза у гарпунера,

чумового горлодера,

напряглись,

и чуб — торчком.

Молча сделав знак матросам,

к бочке мечущейся

с тросом

подбирается бочком.

И бросается, как кошка,

рассекая толчею,

ибо знает, сволочь-качка.

философию твою.

Шкурой вызубрил он, рыжий,

навсегда в башку вдолбя:

или ты на бочку прыгнешь.

или — бочка на тебя.

Качка!

А бочка смирная лежит и не блажит.

Качка!

Погода ясная от нас не убежит.

Качка!

Пусть мы закачаны

и пусть в Глазах темно,—

перекачаем тебя, качка.

все равно...

Северный Ледовитый океан.



Всеволод ИВАНОВ

СОКРОВИЩА АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО

Из неоконченного романа в четырех книгах

В архиве писателя Всеволода Иванова (1895—1963 гг.) большое количество ненапечатанных при его жизни произведений, которые теперь подготавливаются к изданию.

Среди них шесть законченных романов. Вышли в свет пока только два: «Эдесская святыня» (Издательство «Советский писатель» — 1965 г.) и «Вулкан» (Журнал «Сибирские огни», № 6, 1966 г.).

Цикл «фантастических», или, как Всеволод Иванов иногда называл их, «таинственных» рассказов почти целиком опубликован посмертно: рассказ «Сизиф» («Наш Современник», 1964 г.); «Опаловая лента» («Волга», № 1, 1966 г.); «Пасмурный лист» (Библиотечка «Огонька», 1966 г.); «Чудесное происшествие в Теплом переулке» и «Агасфер» (Газета «Звезда Прииртышья», 1964 г. и 1965 г.).

Имеется несколько непохожих один на другой вариантов незаконченного фантастического романа «Сокровища Александра Македонского».

Над этим романом Всеволод Иванов начал размышлять в военные годы.

Место действия первого варианта — Ташкент, где Всеволод Вячеславович провел около года (с декабря 41 года по октябрь 42 г.), работая на Ташкентской киностудии с режиссером Л. Луковым над завершением фильма «Пархоменко». В Ташкенте же Всеволод Иванов закончил до сих пор не опубликованный военный роман «Проспект Ильича».

В основу романа «Сокровища Александра Македонского» положена мысль, что ничто в мире не умирает, что все беспрестанно возрождается в чем-то другом.

Так, легенды и предания никогда не возникают на пустом месте, а непременно являются следствием каких-то реально происходивших событий, действий реально существовавших людей, их поступков и созданных ими произведений искусства и литературы.

Герои романа «Сокровища Александра Македонского» ищут накопленные и спрятанные прославленным полководцем сокровища по следам сопутствующим



Вс. ИВАНОВ.

щих этим сокровищам легенд и народных сказок.

Форма, выбранная писателем в варианте романа, предлагаемом вниманию читателей «Звезды Востока», романтически-сатирическая. Это обусловлено самим замыслом, объединяющим события, происходившие много веков назад, когда сокровища были завоеваны и спрятаны, — с реальными событиями, происходящими в наши дни, когда сокровища эти отыскиваются.

Финал, развязка романа — намечались писателем по-разному.

Трудно на основании имеющихся набросков определить, какой конец был бы — в результате всех его творческих поисков — избран автором.

По одним наброскам сокровища давно похищены, хотя тайник, где они были спрятаны, и обнаружен ценой неимоверных усилий.

По другим — подлинные сокровища исчезли, но заменены фальсифицированными, и предстоит распутать еще один сложный сюжетный узел, кто фальсифицировал? Когда? Зачем?

Намечался и счастливый конец: сокровища найдены и среди них — предметы, считавшиеся во времена Александра Македонского чудодейственными, обладавшие колдовской силой; современные ученые, исследуя «сокровища», находят научную разгадку «чудесам» и обращают их на благо человечеству.

Работая над каким-либо из своих произведений, Всеволод Вячеславович имел обыкновение делать записи, касающиеся не только данного произведения, но и теории литературы в целом.

Некоторые его записи, как группирующиеся вокруг тех или иных его собственных романов, рассказов, пьес, так и чисто теоретические, объединены в книгу «Из дневников и записных книжек», которая должна выйти в нынешнем году в издательстве «Советский писатель».

Роману «Сокровища Александра Македонского» посвящены многие теоретические записи, часть которых приводим ниже.

«Всякое художественное произведение начинается с тайны, то есть с событий, которые уже совершились до поднятия занавеса, до начала романа или рассказа. Уголовная тайна или тайна романа приключений — это тайна, которой в сущности окончен уже роман, нам неизвестная. Уголовный или приключенческий фантастический роман — это раскрытие причин и следствий неизвестного нам события.

Сначала описывается преступление, большая ошибка, бедствие, таинственные события вокруг каких-то предметов. Как? Кто? Где? Второе обычно опускается. Причин происшествия несколько, и все они сомнительны. Попытки скрыть эти причины. Две-три или больше версий причин

свершенных поступков. Вначале появляются намеки на вскрытие причин этих поступков, которые помогут позже распутать всю картину.

Такова несложная схема того рассказа-романа, который так трудно осуществить.

Раньше это называлось рок. Роквое или, если хотите, божеское, веющее к гибели, неотвратимому заблуждению, ко всему тому, что носит теперь название бессознательного, неясного мотива, что влечет за собой, изменяет нормальный строй жизни.

Поиски — вот основная нить в приключенческом или детективном романах, будь то поиски сокровищ или поиски убийцы. Разумеется, эти линии поисков могут быть объединены: замечательно у Стівенсона («Тайна корабля») — искали сокровища, а нашли убийцу.

В начале поисков дается намек на возможность похищения сокровищ или убийцы, что обычно делается появлением убийного.

Вначале мы видим только следствия неизвестного нам романа, не зная причин. Открытие причин — может дать столь же опасные следствия, как и в таком же романе-событии. Ход раскрытия причин по частям может вызывать и соответствующие следствия, тоже по частям, восстанавливая картину неизвестного романа-события, — но может и не вызывать.

Мне кажется, тайна в романе создается просто. Вы вводите читателя в сторону, предлагая ему лживые объяснения происшедшего случая. Чем объяснения эти правдоподобнее, тем больше у вас шансов, что конец будет убедительным. Даже самый нелепый. Можно, конечно, лгуню, открывающему тайну, совершить открытие этой тайны, не давая объяснений, а приберегая их к концу. Но это годится для рассказа, а не для романа.

Волшебника заменил ученый или «миллионер».

Иванушка-дурак, добродушный и неприхотливый, по-прежнему женится на Василисе Прекрасной, а его злые братья остаются в дураках.

По-прежнему есть клады.

По-прежнему человек рвется к счастью и получает его в сказке — полностью.

По-прежнему вознаграждается добро и карается зло. Редко, но зато до конца!

Преодолев уйму препятствий, герой, сохранив здоровье и прямую спину, наслаждается жизнью и довольством.

Если думать, что сейчас все счастливы, то это ложь. Но несомненно, что каждому хоть раз выпадает счастье. Умирать редко кому приятно. Но мы думаем, «не мне, а тебе!» — мысль эгоиста. Умереть за родину и ее идеалы приятно. А так как войны, — при крупных идеалах, — неизбежны, то это счастье доступно многим. Я не говорю буквально о смерти, а о страданиях, которые, пожалуй, будут тяжелее смерти. Но эти страдания, — после того, как они кончились, — кажутся человеку счастьем.

Фантастический роман привлекателен

тем, что он дает возможность оптимистического показа правды жизни.

Для беллетриста тайны — клад! Но я хочу истины, а не тайны. Я хочу показать психологическое состояние своих героев...

Я предупреждаю читателя, что сюжет моего романа вымышленный. Нынешний читатель часто и к сказке предъявляет требования, чтобы она была «на самом деле». Он согласен верить сказке, т. е. вы-

мыслу, в том только случае, если вымысел существовал, то есть он поверит в несуществующее, если сказать, что оно существовало.

Зачем стыдиться вымысла? Вымысел ради доброй цели не может не нести людям добра».

Среди многих набросков предисловий Всеволода Иванова к «фантастике» есть и такое.

Книга первая:

Коконы, сладости, сказки

и

Андрей Вавилыч Чашин

1.

Сегодня по талону «жиры» выдавали голову копченого сига, завертывая ее в обрывки какой-то Утопии.

Андрей Вавилыч заметил:

— Все Утопии кажутся мне малосодержательными. Никогда не найдешь пункта, с которого начинается реальное осуществление указаний по созданию Утопии.

Великая мысль!

Ибо я убежден, что будь у Андрея Вавилыча точные указания выше, он даже жизнь своей семьи устроил бы по образцу первосортной Утопии, несмотря на то, что в числе членов его семьи, кроме постоянно ревуших детей семи, девяти и одиннадцатилетнего возраста, имеется бабка, дающая унижительные советы, дядя-инвалид, точащий портсигары из березового наплыва, и белесая тетка, приспособленная к шитью исподнего.

Покажется странным, что я сожалею о запутанной семейной обстановке Андрея Вавилыча. А как не пожалеть? Умным людям всегда желаешь равнобокого счастья. Ведь Андрей Вавилыч так счастлив в общественно-служебной обстановке!

Что такое счастье служебно-общественной обстановки?

Постараюсь дать исчерпывающие объяснения.

Всему миру известно, что мы строим новое общество. И всему миру также известно, что, когда рубят избу, не каждое бревно ложится в паз. Бревна приходится подтесывать. Тем более понятно, что человек не бревно, и нужно величайшее искусство, чтобы выложить хорошее здание нового общества, соединив людей воедино. Поэтому-то, для наиболее удачного соединения людей и существует множество комиссий, докладов, решений, организаций, музеев, а также отдельных личностей, которые тем или иным способом стремятся сблизить людей, сдружить их, образумить.

Андрей Вавилыч работает в таком учреждении, которое среди перечисленных является не только наипервейшим, но, так сказать, сверкает молнией впереди них. Короче говоря, он занимает пост инструктора финансово-контрольного отдела Наркомата Уловления и Выпрямления Экономических Ошибок.

На крупном лице его и на розовой, сильной,—несмотря на лишения,—широкой шее вы всегда разглядите целеустремленность и начинанность. Он всегда в черном платье, исходя из того, что личность, следящая за порядком в экономических планах человечества, должна испускать черноту и серьезность мыслей.

Разумеется, эти серьезные мысли несравнимы с серьезными мыслями Григория Максимыча, непосредственного начальника над Андреем Вавилычем, но все же... Видите ли, в пишущей машинке существуют клавиши. Каждый из них отбивает одну букву. И сколько вы ни лупите одним клавишем, вы не отобьете постановления. Но вот заиграли все клавиши. Какие серьезные слова! Какие решительные меры! Какие строгие приказания! Поясняю. Григорий Максимыч был и есть один из тех превосходно вычищенных клавишей канцелярской машины, в которые где-то, на недостижимой высоте, постукивал кто-то невидимый.

Позвольте, говорите вы? Нет уж, вы мне позвольте договорить. Да, Григорий Максимыч — клавиш. Да, Андрей Вавилыч подчиняется ему. И мало того, подчиняется, он подражает ему во всем, даже в бритье через день, несмотря на то, что волосища у Андрея Вавилыча ползут, как весенняя трава. И все же во всем этом нет ни капли противоречия! Нет и не будет! Поймите и запомните, что Григорий Максимыч — клавиш государственной машины, а наш Андрей Вавилыч — клавиш машинной учрежденческой. Разница? Ну то-то.

Однажды, в конце 1942 года, в мутно-холодное утро, Григорий Максимыч приказал явиться к нему лучшему инструктору Отдела. Начальник спросил:

— Где данные нашей комиссии о показателях кинематографических организаций в их выполнении плана? О чем вы думаете? Проверить работу комиссии и доложить мне завтра в ноль-ноль десять.

Андрей Вавилыч мгновенно пролетел Москву, ворвался в киноканцелярию. Начальник был прав! Комиссия Наркомата вместо работы просматривала какие-то там недоконченные фильмы. Андрей Вавилыч составил акт и принудил комиссию исполнять ее обязанности, а, кроме того, сам встал рядом. Ясно, что сразу обнаружились недочеты, недохваты, перерасходы. Прибежал сам председатель и с бледным носом стал глядеть на энергичные действия Андрея Вавилыча.

— Запутанность в счетном деле не есть еще запутанность в искусстве,—попробовал он оправдаться.

Андрей Вавилыч сказал:

— Искусство без хорошо налаженной отчетности — ноль.

В обеденный перерыв мы прохаживались по длинному коридору. Множество дверей выходило в него. На каждой двери висела табличка с названием будущего фильма, вроде «Вперед, за Суворовым!» или «Девушка у винтовки». Мы уже знали истинное название этих фильмов. Бесхочайственность,— вот им имя!

Андрей Вавилыч остановился перед табличкой «Александр Македонский». За дверью слышались яростные голоса.

— Александр Македонский?..—вспоминал Андрей Вавилыч.— Кто это? Кажется, он какие-то там стулья ломал...

Вот здесь-то Андрей Вавилыч и показал все наличие своего духа. Он распахнул дверь и вошел в комнату группы «Александр Македонский». Я понял его. Андрей Вавилыч хотел дать бой председателю, показав, что раз в отчетности плохо, то плохо и в искусстве.

Мы знаем, что в культурных организациях редко говорят по существу, но на этом заседании, посвященном производственному вопросу,—ах!.. Попробовали б вы узнать, на сколько процентов заснята картина, но зато вы сразу узнали б, кто такой Александр Македонский и чего ради его снимают.

Прежде всего выяснилось, что это грек и полководец и что этот чертов Александр Македонский, грабя мирное население и сжигая города, прошел вместе со своим, не столь уж многочисленным войском пешком и частично как всадник из ныне оккупированной Греции, через Турцию, Иран, в Туркменскую ССР, задел часть Таджикской ССР, а затем уже вторгся в пределы Узбекской ССР. Здесь его встретили скифы, и дальше он не имел возможности продвинуться, а то бы, через Китай, добрался и до японцев и показал бы им, где греки зимуют...

Длинноногий консультант с лицом столь заросшим, что оно казалось покрытым дерном, лихо орал:

— Утверждаю: сокровища Александра Македонского существуют! Вы спрашиваете: откуда я взял это утверждение? Сообщаю. Демократическая партия в Афинах, антимакедонская партия, вместе со своим вождем Демосфеном...

Тут из-за его спины всплыла белокурая высокая красавица и губительным злобным голосом спросила:

— Так почему же вы, дорогой сценарист, заставили меня говорить какую-то дурацкую речь перед скифскими воинами?

Над красавицей поднялся второй сценарист и голосом еще более злорадным, чем мощный голос красавицы, провопил:

— Да потому, что русское искусство — искусство психологическое и в его рамки не вкладывается авантюрный роман!

Откуда-то из тьмы колдовски крутящегося табачного дыма послышался пискливый вопрос:

— А как же Федор Михалыч Достоевский?

Тут очевидно длинноногий консультант и сценарист решил полностью уничтожить своих противников, наполнить их утробы горечью их же бессмыслия! Он оттолкнул красавицу, опрокинул на нее второго сценариста и, — упав на стол, перед самым лицом председателя собрания, — закричал:

— Достоевский — авантюрный писатель? Только негодяй способен утверждать это! И утверждать при господстве в искусстве достоевщины и, в частности, у нас в кинокомитете... (Невероятный шум. Голоса: «Вздор! Подлец! Замолчите! Дайте слушать!»). И — пропадает пропадом ценный материал! Все сказки среднеазиатских народов наполнены сокровищами Искандера Двурогого! А прочтите «Шахнаме»! А расшифруйте «Александрию»... Спуститесь вместе с нею в подземное царство... (Шум еще более. Вопли: «Спускайся сам! Скотина! Дайте слово! Долой!»...)

Само собой разумеется, что Андрей Вавилыч не мог дальше терпеть это безобразие. Он поднялся и как представитель Наркомата УВЭО попросил дать ему возможность высказаться. Заседание немедленно утихло, и Андрей Вавилыч сказал:

— Насколько мы понимаем, тема «Сокровища Александра Македонского» не входит в тему фильма «Александр Македонский»?

— Попробовали б вы ее всунуть туда! — воскликнул длинноногий консультант и сценарист.

— А между тем, вот уже битых три часа я слушаю ваши споры о наличии сокровищ. Граждане! Если вы ставите фильм о сокровищах недр во времена прошлых греков, — это одно. Но если вы ставите на тему свободолюбивых скифов, восставших против греческого безрассудства, — это другое. Нельзя расходовать время и деньги на праздные разговоры. То и другое — народное, граждане.

— Мы — праздные разговоры? — воскликнул длинноногий. — В искусстве не бывает праздных разговоров! Если сокровища не войдут в фильм, то они войдут в жизнь! Таков закон искусства. Так вошли в жизнь сокровища Тутанхамона, микенский клад, скифские древности...

На лице Андрея Вавилыча появилась скорбь. Она появлялась всегда как признак того, что его противник с минуты на минуту неизбежно исчезнет в пропасти, вызванной им самим же! Андрей Вавилыч сказал:

— Утверждения, вами высказанные, доказывают лишний раз, что сокровищ Александра Македонского — нет. И быть не может.

— Категорически утверждаете?

— Категорически. И нельзя не утверждать, поскольку всякое клдоискательство есть факт капитализма, факт бессистемного, беспланового товарного хозяйства. А у нас хозяйство социалистическое, по плану, мне хорошо известному. И в плане, — торжественно заключил Андрей Вавилыч, — сокровищ Александра Македонского не значится, а поскольку они не значатся, поскольку они не запланированы, их нет, и появление их невозможно!

Как я и предчувствовал — пропасть разверзлась! Все заседавшие замерли, выпучив глаза, а наш Андрей Вавилыч сказал:

— Кто директор группы? — Он взглянул на испуганного человека с седыми волосами и глазами задавленной собаки и добавил: — Вы? Потрудитесь показать мне отчетность группы «Александр Македонский» и, в частности, графу, по которой значатся трехчасовые прения о сокровищах данного полководца...

Когда на другой день, ровно в ноль-ноль десять, Андрей Вавилыч пришел с уничтожающими данными относительно работы киноорганизаций в кабинет начальника, там, небрежно протирая очки, сидел неизвестный. На нем был просторный френч отличного стального цвета и сапоги с короткими голенищами, — дальнейшее Андрей Вавилыч не стал рассматривать, потому что неизвестный был явно личность малозначительная и малоответственная, наверное, из отдаленных родственников Григория Максимыча...

Только, конечно, родственными отношениями объяснишь то, что Григорий Максимыч эти уничтожающие данные подал неизвестному во френче, добавив, что Андрей Вавилыч едва ли не лучший счетно-контрольный работник Наркомата и что, мол, он лично руководил работами командированной в кино комиссии...

Человек в стальном френче, мельком взглянув в данные, спросил — когда же появятся интересные фильмы? Вопрос был обращен к Андрею Вавилычу, но тот, вперив взор в сторону начальника, безмолвствовал. Тогда вопрос человека во френче повторил сам Григорий Максимыч, на что Андрей Вавилыч ответил, указывая на данные:

— Здесь имеются выводы. Фильмы скоро не появятся, поскольку в киноорганизациях занимаются совершенно посторонним делом.

— Каким же посторонним делом? — спросил неизвестный.

И опять Андрей Вавилыч безмолвствовал.

И опять Григорий Максимыч вынужден был повторить вопрос человека в сером и повторить в несколько строгом тоне, так как Андрей Вавилыч совсем не имел желания болтать черт знает перед кем!

Андрей Вавилыч сказал:

— Возьмем хотя бы тему сокровищ Александра Македонского, на среднеазиатском языке Искандера Двурогого...

Человек в стальном, — разумеется, через посредство Григория Максимыча, — начал подробный расспрос. Андрей Вавилыч, глядя на своего начальника, отвечал по мере сил. Концом глаза он видел, как мелькают в воздухе очки неизвестного, который все не хочет их надеть на нос!

Выслушав Андрея Вавилыча, человек в стальном, помахивая очками, углубился в просторное кресло и оттуда мечтательно заговорил:

— А все-таки удивительные и талантливые у нас люди! Идет небывалая, жестокая и страшная война. В один день исчезают целые

города, погибают сотни тысяч людей, мы недосыпаем, часто мы голодны, а все же есть мечтатели, которые думают — о чем? О сокровищах Александра Македонского! И как думают!.. Как убежденные, как знающие, как уверенные в их существовании, так, что невольно кажется, будто сокровища действительно существуют и лежат где-то в песках, или на дне реки, или в пещере, где-нибудь на Памире! Или еще где-нибудь! Что же все это значит? Ну, — что эллинская культура близка нам и мы являемся ее наследниками. И еще, — что мечта неистребима, какие б войны ни посылали на нас фашисты. Мы будем мечтать, — побеждаю мечтающие, провидцы, пророки, апостолы...

«Тоже, апостол нашелся!» — подумал Андрей Вавилыч, искоса глядя, как неизвестный, размахивая очками, быстро вскочил, пожал руку Григорию Максимычу и устремился с рукой к Андрею Вавилычу. «Лезет еще с рукопожатиями», — продолжал думать Андрей Вавилыч, нехотя протягивая человеку во френче три пальца.

После довольно продолжительного отсутствия вернулся Григорий Максимыч, явно довольный тем, что спровадил родственника. Начальник уселся за стол и сказал, потирая руки:

— Умнейшая голова! Меня посетил. Да и вас, Андрей Вавилыч, похвалил. Теперь перед вами, Андрей Вавилыч, дорога открыта. Поздравляю.

— Ни один ваш родственник, Григорий Максимыч, не в состоянии испортить мне дороги, пока вы разрешаете мне стоять на ней.

— Ва, Андрей Вавилыч! Вы не узнали его? Ведь это не мой родственник, а...

И здесь Григорий Максимыч выпалил такую фамилию, при звуке которой все внутренности Андрея Вавилыча покрылись льдом, а язык примерз к губам. Он хотел сказать было, что не узнал из-за снятых очков, но вместо слов что-то похожее на блеяние выскочило из рта его!

Еле волоча ноги, вернулся в кабинет свой Андрей Вавилыч. «Кого не узнал! Чьим рукопожатием брезговал! О ком внутренне отзывался пренебрежительно!» — вот какие мысли скользили, сталкивались и мешались в голове его.

2.

У Андрея Вавилыча много друзей, которые за него — в огонь и воду. И это вполне понятно. Умственный багаж Андрея Вавилыча так велик, что способен обогатить всех, и в то же время так объемён, что от багажа каждого отдельного человека берет себе известную, может быть, даже малополезную для того долю, отчего тот, вышесказанный, радуется.

Прихожу к Андрею Вавилычу вечером достопамятного дня.

Сам — полулежит на диване. Возле — сидит Хоржевский, поодаль — огромная туша Бринзы, — оба наши сотрудники, оба весьма различные и по-разному дружащие с Андреем Вавилычем и по-разному ненавидящие друг друга. Бринза считает, что Андрей Вавилыч слишком много времени отдает обществу и мало — себе и своей пище, так как, по мнению Бринзы, ничто не важно для человека, кроме еды и смежных с нею наслаждений. Хоржевский, наоборот, недоволен общественной деятельностью Андрея Вавилыча. Мало, мало и мало! При чем тут пища, питье или, — тыфу, тыфу! — любовные улады? Именно сейчас подошел тот момент, когда, если удачно помочь обществу, оно сделает неслыханно большой прыжок вперед!.. Бринза рычит, бывало:



— А нам надо прыгать в блины и в пиво, и в паштет! Хватит с нас прыжков в будущее. Подчиним свой живот строгому покрытию потребностей, — и вот оно, счастье!

Хоржевский, — черненький, плотненький, с постоянно выпачканным носом, сливающимся с его усами, похожий на галку, — суетится вокруг огромного Бринзы, притоптывая ножками, возражает:

— Антиобщественник! Мздоимец! Вымогатель! Подкупная крыса! Кто одобрит ваше поведение? Никто! Общество уничтожит вас, уже приближается этот срок.

И тут они, перебивая друг друга, начинают давать советы Андрею Вавилычу, который снисходительно слушает их, так как считает, что в споре всегда возможно найти полезную «среднюю», применив ее, разумеется, к работе нашего учреждения.

Но в этот день Бринза и Хоржевский молчали. Молчал и Андрей Вавилыч. Он лежал на диване, устремив в потолок взор своих желтых, тигровых глаз.

Бринза больше говорит об еде, чем угощает ею других. Наоборот, он предпочитает есть у других. Лишь тем и объясняю, что наш отдел узнал, кто был в кабинете Григория Максимыча, кто жал руку Андрею Вавилычу, — так, что даже Бринза, проникшись небывалым почтением,

принес кое-какую пищу, чтоб совместно угоститься... Андрей Вавилыч отличался всегда неразборчивым, но солидным аппетитом, и не было еще случая, чтобы он, — а особенно в наше время, — отказывался от пищи. Здесь же он сказал:

— Не время. Другие соображения. Прошу посетить на днях. Когда проработаю. И — выскажу. Пока же...

Они поняли его в самом начале, как он открыл рот. Они поднялись и вышли на цыпочках. Когда они стояли на пороге, Андрей Вавилыч сказал:

— Обождите.

Там, где обычный смертный страдает, оплакивая ту или иную оплошность, великий человек только возвышается. Таков и Андрей Вавилыч. Он не сказал, он попал в цель!

— В ближайшие дни будьте ко всему готовы. А пока вы свободны.

Они не вышли, — они выплыли, хотя, повторяю, характеры их абсолютно противоположны.

По их уходе Андрей Вавилыч обратился ко мне. О, чудо! Лицо его просветлело, сладостная шелковая игра мысли виделась на его гладкой поверхности. Он слегка приподнялся на диване и сказал:

— Оскорбление служащего по должности его не есть обида личная. Служащий должен страдать как таковой. И я страдал как таковой! Теперь же я отстрадался. То, что при мне были сняты очки — это намерение, а не случайность. Предполагалось испытать мою решимость и независимость...

— Андрей Вавилыч...

— Не мешайте! Срывается пелена с тайны. Почему он не подверг смею разговоры о сокровищах, хотя их в Плане и нет? Почему он говорил так мечтательно, как люди подобного энергичного склада в жизни не говорят? Почему он одобрил ищущих сокровища, хотя их никто, фактически, не ищет, а произошел глупый разговор, я и докажу вам это немедленно же! Почему меня вызвали в кабинет начальника Отдела?!

— Андрей Вавилыч...

— Не унимайте меня! Слушайте. Там, наверху, ничего зря не говорится, а тем более не делается. Там каждое слово — валюта. И поэтому, когда меня вызвали, то уже намеревались намекнуть мне, а поглядев на меня, — намекнули. Ясно? По-видимому, государство имеет какие-то сведения, которые не желает опубликовать, — кто знает, не по соображениям ли дипломатическим? — но государство желает з н а т ь. И едва лишь оно у з н а е т, как немедленно включит в План, и сокровища Александра поступят в нашу национальную сокровищницу!

Пораженный, ошеломленный, уничтоженный, я спросил:

— Андрей Вавилыч! Неужели?

— Да, — ответил он со всегдашней скромностью, — да, выбор пал на меня. Не грековеды, не археологи, не палеонтологи и не библиографы будут искать сокровища, не профессора и доценты, а я — Андрей Вавилыч Чашин! Кто я? Сын коллежского секретаря из архива Министерства Иностранных Дел! Моя мать — из мелкоторгового класса, с Камер-Коллежского вала. Достопримечательным событием в жизни моего деда, николаевского солдата, был день, когда он стоял на часах возле пушки «Онагр» у главного фасада кремлевских казарм, и мимо шел царь, ныне в бозе почивший, — и чихнул. Вот и все. А я? На какую высоту поднят?! Я встану почти рядом с Александром Великим, Искандером Двурогим! А?!

— Здорово!

— Еще бы не здорово. Надо помнить всегда, старина, что ты песчинка, но вихрь метнет — и вот ты уже ответственная песчинка. Ха-ха-ха!..

Признаюсь, я впервые видел Андрея Вавилыча столь возбужденным, и не скрою, что мне это было приятно. Сила всегда есть сила! Однако он быстро взял себя в руки и уже спокойно проговорил:

— Надевайте калоши.

Час спустя мы сидели в комнате длинного консультанта — Василия Наумыча Ерохина-Массальского. Разнообразие книг и предметов, начиная с научных приборов и кончая детскими игрушками, сначала ошеломяло, а затем настраивало на внимательность и преклонение перед умом хозяина. Но ведь Андрею Вавилычу надо было доказать не ум хозяина, а его глупость. Андрей Вавилыч глядел на всю эту обстановку с презрением, — чем и победил!

— Не узнаете? — сказал он вяло консультанту, хотя тот сразу признал нас. — Что-то наш Комиссариат общественные деятели недолюбливают. И — напрасно. Он стоит на страже, он контролирует, — и больше ничего. Правда, мы заглядываем в закрома, и нет ставня, который бы застил от нас свет... Разрешите присесть?

3.

Недоумение, соболезнующе-сожалеющие вопросы — игра дешевая, и мы с опытными мошенниками редко прибегаем к ней. Однако на людей, мало знакомых с контрольными методами, она действует. Подействовала и на консультанта. Он заерзал перед нами, нервно сплетая длинные ноги и выкатив из волосищ глупые пегие глаза.

Андрей Вавилыч, опасаясь, что дальнейшее давление способно лишить консультанта голоса, перешел на ласковый тон:

— Прошлый раз, многоуважаемый Василий Наумыч, вы изволили доказывать, что сокровища существуют...

Из тьмы волос донесся робкий голос консультанта:

— Не беспокойтесь, я уже написал докладную в Наркомпрос... При таком существовании сокровища просуществуют недолго! Там свинью хранить, и та сдохнет, а ведь это — Третьяковская галерея!

— Простите, мы все еще не достигли взаимопонимания, Василий Наумыч. Я отталкиваюсь в вопросе не от сокровищ наших музеев, увезенных от бомбежки. Они, возможно, сохраняются неряшливо... наш Наркомат примет меры уловления, благодарю вас... я отталкиваюсь от разговора о сокровищах некоего Александра Македонского. Чтоб не было кривотолков, скажу прямо: сокровища Александра Македонского — по общему мнению — миф...

Голос его был строг. Консультант раздвинул и сдвинул длинные ноги, — и все. Он усмирился! Андрей Вавилыч мельком взглянул на меня, но я успел прочесть: «Каково говорю! Миф-де — по общему мнению... А? Общее мнение не есть еще мнение Учреждения! Где там — разыскивают. Кто там осмелится разыскивать без санкции».

И опять смягчив голос, он продолжал:

— Мы просим вас, Василий Наумыч, дать исчерпывающий ответ по другому вопросу. Фильм «Александр Македонский» окончат в текущем 42-43 отчетном году, или он перейдет на времена открытия второго фронта?

Андрей Вавилыч умеет обращаться с работниками искусств! Ведь первоначально бедняга-сценарист предположил, что он в чем-то грешен перед Наркоматом Уловления. Все они такие: либо хвост трубой, либо — под брюхо. От радости, что он безгрешен, консультант пустил по комнате свои длинные ноги и залился соловьем:

— Мечта ли сокровища? Еще бы не мечта! Съешьте, подобно мне,

обед литеры «Б» в Клубе Писателей и попробуйте сказать — не мечта! Э, сокровища! Ну, дорогой мой, скажите по совести, на кой черт и кому ныне нужны какие-то там, хоть самые распромакедонские и распроперсидские сокровища, когда самое главное сокровище — жизнь каждого из нас, — висит на волоске. И на каком волоске, на заячьем!

— Сокровищ, выходит, нет и не будет?..

— Совершенно верно. На что могут опираться поиски? На предание, на легенду, на сказку. В памяти народа ничего не исчезает. Он зашифровывает в сказку то, что, по каким-либо причинам, думает сохранить...

— Так...

— Вы скажете — сказки собраны, есть их списки. Они не годны. Они собирались неряшливо, под другим углом зрения, и то, что ценно для нас, в смысле адреса сокровищ, то собирателями пропускалось как пустая болтовня.

— Так...

— А сказка, тем временем, легенда, предание погибает. На фронте — от пули, в тылу — от усталости беспримерной работы. Где там рассказывать друг другу сказки...

— Верно. Не до сказок нам теперь.

— Допустим же, что сказки существуют. Мало того, — собраны. И — расшифрованы. Допустим. Но кто поедет проверять наличие сокровищ в тех местах, на которые намекает сказка? Кто будет рыться в песках, нырять в воду, лазить в неприступные ущелья, спускаться в бездонные пещеры... кто? Ха-ха-ха! Хотел бы я посмотреть на этого человека!

— Ха-ха-ха!

Это хохотал Андрей Вавилыч. Вот что значит — сильный характер! Попробуйте-ка себя поставить на его место, да похохотать. Надолго ли вас хватит. А наш Андрей Вавилыч хохотал добрых десять минут.

Консультант опять двинул по комнате свои длинные ноги и продолжал:

— Кто докажет людям, что поиски сокровищ, основанные на материале сказки и легенды, реальны? Кто претерпит издевательства, насмешки, надругательства и, кто знает, — ха-ха-ха! — побои. Ха-ха-ха! Кто пырнет в глубины глубин? Они бывают разного сорта! И кто, претерпев все унижения и оскорбления, не откажется, а еще более укрепитя в мысли, что сокровища существуют. Кто? Ха-ха-ха!.. Кто? Оглядываясь на теперешнее, запертое в параграфы, поколение и не вижу!

— Ха-ха-ха! Не видите, значит?..

— Не вижу! Ха-ха-ха-а-а!..

Идиот, он действительно не видел!

А он, этот изумительный и мудрый человек, сидел перед ним в его нетопленной холодной норе, вежливо слушая его. На человеке была потертая черная пара, меховой жилет и резиновые калоши многожды залитые. С ног его все еще не стоял снег улицы.

4.

В Средней Азии, как вам, наверное, известно, строится крупнейшее Соединение по выплавке и плавке металла и орудий. Несмотря на войну, наш Наркомат согласился повысить сметные ассигнования по культурному обслуживанию Соединения.

Мы ответственны. Над нами тоже возвышается контроль. И по-

нятно беспокойство Григория Максимыча в конце года: каково-то расходуют деньги на тех, правда, немногочисленных объектах, где смета на культнужды повышена?

Перечисляя объекты, Андрей Вавилыч положил палец на Соединение и сказал своему начальнику:

— Сюда не мешало б командировать дельных товарищей.

— А почему бы не поехать вам, Андрей Вавилыч? Возглавьте комиссию. Наметим членов комиссии? Со своей стороны попрошу вас привезти мне оттуда пачечки две-три табачку...

Каждый вечер обычно хоть на десять минут, но я заверну к Андрею Вавилычу, — если он не работает в учреждении.

Андрей Вавилыч окружен толпою книг, — и все по истории Греции. Среди книг: список его друзей. Я запустил один глазок в список. Впереди мое имя. Спасибо. Андрей Вавилыч придвигает мне список:

— Кого еще? Бринзу?

— У Бринзы, — говорю я, — в Средней Азии неблагополучно. Пять лет назад он обольстил и объел там женщину. Восточные дамы мстительны. Хорошо, если она его ножом будет резать, а если из револьвера, да впепит не в него, а в вас, извините, Андрей Вавилыч.

— Хоржевского?

— И у того плохо со Средней. Какое-то общественное пятно, а чем сильнее свет, тем пятно виднее. Я перед Средней Азией чист, и, помо-ему, надо выбрать бы других...

— Всякое предприятие имеет свои неприятности, — высказал Андрей Вавилыч одну из своих великих мыслей. — Без неприятностей и гриб не произрастает. Поедут с нами и Бринза и Хоржевский. А сейчас я хочу вас ввести в курс дела.

И, придвинув к себе несколько стопочек выписок из книг, он поделился со мной своими впечатлениями относительно Греции и Александра Македонского. Постараюсь вкратце передать вам замечательные выводы, к которым пришел Андрей Вавилыч. Насколько я знаю, к подобным ценным выводам не приходил еще никто, тем более, что они основаны не на голых измышлениях, а на изучении подлинных актов и записок современников, вроде Адриана, Птолемея, недавно обнаруженного письма Нерха, не говоря уже о Плутархе или Квинте Курции.

Бесспорно, как выразился Н. В. Гоголь, Александр Македонский великий человек. И, однако, давайте говорить правду. Разве бы он мог вполне проявить свое величие, если б в персидской империи Дария лучше были поставлены отчетность и делопроизводство, а главное — контроль над всем этим, потому что даже самое крепкое делопроизводство на глиняных таблицах ничего не стоит без контроля! Отсутствие делового и хорошо налаженного контроля со стороны государственных органов и, как следствие этого, полный произвол председателей, по-тогдашнему «сатрапов» — вот что погубило мощную империю царя Дария, простиравшуюся от Средиземного моря до Гималаев и от Африканской пустыни до Китая!

Плохой контроль погубил Дария и облегчил все завоевания македонцам.

Судите сами. Древняя Македония, из которой вышли войска Александра, размером с небольшой наш район. Не спорю, что македонские войска были отлично натренированы, в особенности альпийские части, привыкшие к скалам; что фаланги Александра несли в себе известное тактическое новшество; что осадные орудия македонцев более совершенны и модернизированы; что инженеры у него превосходные, — все это так, но нельзя одними военными частностями объяснить победы при Гарнике, Иссе, Гангамелле, Тире, а тем более разгром превосходно вооруженных и оснащенных армий индийского царя Пора.

Ведь в Индию с Александром шли из Средней Азии уже не греко-македонские фаланги, а, кроме них, множество скифо-персидских войск.

Повторяю. Взятничество, растраты, казнокрадство, отсутствие контроля,— вот что погубило и разрушило персидскую империю Дария и великое царство индийского царя Пора! Финансово-счетный контроль их гнил, тогда как греко-македонцы, разделенные на тысячи автономных кружков, могли развивать и совершенствовать свой контроль. Правда, и у них появились растраты и казнокрадство. Но когда? Тогда, когда руководящие круги их насквозь пропитались тенденциями персидских сатрапов...

Вслушав с огромным вниманием слова Андрея Вавилыча и тщательно записав их, я осмелился спросить его мнение касательно возможности обнаружения сокровищ Александра Македонского.

— Сокровища спрятаны в Республике, носившей в древности название Согдианы. Я скажу вам точные обоснования моего утверждения, но пока попрошу не записывать их. Дело пока совершенно секретное.

Он придвинул к себе горку выписок и начал:

— Прежде всего — размер сокровищ, а затем уже причины, как они могли оказаться в Согдиане, далекой провинции персидской империи. Размер. По средним подсчетам осведомленных историков, войска Александра, вернее его правящая верхушка, при разгроме персидской империи захватили в казнохранилищах Вавилона, Суз-Персополя, Пасаргад, Эктабана,— от 300.000 до 400.000 талантов. Будем считать триста тысяч талантов... Вы помните, сколько стоил талант?

Где мне помнить. Я развел руками.

— По выводам новейших метрологов, «талант», наивысшая весовая единица в таблице греческих мер, во времена Александра равнялся 25.903 килограммам. В переводе на нашу единицу талант равнялся бы 17.577 золотым рублям. Итак, триста тысяч талантов. Сколько это весит? В среднем,—7.800 тонн. Сколько это золотых рублей? Пять миллиардов двести семьдесят три миллиона сто тысяч золотых рублей. Год войны с немцами, немного больше, немного меньше...

— Однако!

— Да из-за одного рубля мне бы не стали намекать и почти мгновенно соглашаться на мое бегло высказанное предложение послать комиссию в Среднюю Азию!..

— Поразительно тонкий ум у вас, Андрей Вавилыч.

— Я отношу все тонкости моего ума, если они есть, за счет правильно поставленной воспитательно-учебной работы в нашем Наркомате под руководством уважаемого Григория Максимыча... Хотя и он часто бывает ослом,—неожиданно добавил Андрей Вавилыч.

Горды, горды люди! Погибли б они от гордыни, кабы не передовые, которые умеют свою гордыню сдерживать. Бросит бегло «осел»,—и успокоится, и трудится, и просвещает других.

Андрей Вавилыч продолжал:

— Сейчас мы перейдем ко второму пункту наших исследований — причины, по которой сокровища оказались в Согдиане. Когда вы узнаете, что сокровища весили семь тысяч восемьсот тонн, а тогдашняя транспортная единица — верблюд — поднимала четверть тонны, и, следовательно, для перевозки сокровищ требовалось свыше тридцати тысяч верблюдов, у вас, естественно, возникает мысль: а для какой цели Александру таскать с собой сокровища? Разве он не мог их отвезти в Грецию?

— Вопрос!

— Именно, вопрос. И вопрос естественный. Раз Грекомакедония родина, вези на родину все захваченное. Однако все историки, без исключения, говорят, что Александр на родину посылал весьма малые суммы.

5.

Говорят, ум характеризуется всегда свежей и многоусваивающей памятью. Не одно это! Кроме памяти, необходимо умение направлять эту память на единый объект, сосредоточивать на нем внимание. Вот что такое творческий ум. Именно таким умом обладал Андрей Вавилыч.

Моя память не столь огромна, и, поневоле, я не могу передать дословно все то, что услышал в тот исторический вечер от Андрея Вавилыча. Постараюсь сообщить выводы его конспективно.

Александр, действительно, не очень отваливал грекам из персидских сокровищ. Да и для чего? Хотите разбогатеть на персах, — идите ко мне в армию! Вот каков был его основной лозунг. В начале персидского похода, после победы при Гарнике, он послал матери своей, сварливой Олимпиаде, пятьдесят золотых кубков и столько же пурпуровых шелковых ковров. Не богато! Тогда же храму Паллады-Афины он подарил триста полных вооружений персидских воинов. И все. Если б он послал больше, греческие историки, пользовавшиеся любым предлогом для восхвалений Александра, немедленно сообщили бы потомкам о его щедрости. Но историки молчат. Изредка напишут они — получили, мол, горстку талантов, две-три статуи, да кое-какую церковную утварь. С чего бы такая немилость!..

Но вот историки торжественно сообщают, что Александр направил в Грецию транспорт в три тысячи серебряных талантов. Кого они хотят обмануть? Транспорт отправили после индийского похода, когда утомленная почти девятилетней войной армия потребовала возвращения на родину и когда на родине возрастало направленное против бессмысленных завоеваний возмущение, когда одно из греческих государств — Спарта, — восстало открыто, а бурливые Афины готовы были присоединиться к Спарте. Надо было заткнуть рот волновавшимся! Надо было завербовать войска в основную армию Александра, стоявшую тогда в Вавилоне. Три тысячи талантов серебра. Сумма, казалось бы, огромная, но лишь для тех, кто не знает, что золото в аттические времена ценилось в десять раз выше серебра.

В Греции, которой Александр не доверял, сокровища не могли храниться. Не хранились они в Вавилоне и Сузах, ибо после смерти Александра военачальники его тщетно рылись в сундуках. Может, все-таки Александр возил их с собой во время походов? Но тут появляется осложнение. Вся армия Александра состояла из 50.000 человек. В походе на Индию он, мол, вел и сто двадцать тысяч, но это маловероятно. Ну, ладно. Посчитаем даже — в среднем семьдесят тысяч, имея в виду, что сюда входят не только склады оружия, провианта или фуража, но и лазареты, а также техники, жрецы, ученые, посланники, гетеры, интенданты, а также сильная контрольно-счетная часть. Где же тут таскать около восьми тысяч тонн груза, для которого требуется свыше тридцати тысяч верблюдов?! Погонщиков и то надо, на худой конец, тысяч десять. А фураж. А коммуникации.

Полная неразбериха!

Неразбериха получается и во времени. Пять лет потребовалось Александру, чтобы разгромить персидскую империю, и два года, чтобы

торчать в Согдиане, окраине империи, где персидских войск почти не было. Что такое?

А то, что у «скифов», как греки называли тогдашних обитателей Средней Азии, была первоклассно налаженная счетно-контрольная часть в то время, как у греков, под влиянием персов, она стала приходить в упадок, а сам Александр проявлял тенденции сатрапов.

Два года он боролся со «скифами», и здесь-то его стратегия и тактика дали осечку. Александр был человек умный, подумал и пошел на компромисс. Предлог нашелся быстро. Захватывает он Роксану, дочь скифского военачальника Оксиарта. Женится на ней. Он, видите ли, не мог себе найти невесты в течение шести лет!

Немедленно после свадьбы Оксиарт заключает мир с Александром, и они совместно разрабатывают план похода на Индию, так как македонцам надо прикрыть фланги своей империи, упирающиеся в индийские владения. Мне представляется такой разговор между Александром и Оксиартом:

— Мне необходимы воины-скифы,— говорит Александр,— мои солдаты поизносились, а там, в Индии, говорят, жарко-таки.

— Пожалуйста,— говорит Оксиарт,— мы, скифы, любим воевать и умеем воевать. Но какая гарантия, что вы, ваше величество, не погубите моей армии. Я стар и не имею сил, дабы сопровождать вас.

— Какая гарантия? Со мной, в Индию, едет ваша дочь, Роксана.

— Не женское дело,— говорит Оксиарт,— путаться в военные предприятия. У меня есть предложение: соберите-ка вы всю вашу казну, разбросанную в разных пунктах, в единый центр и поставьте меня в качестве контролера. Разумеется, вы оставляете в городах Согдианы греческие гарнизоны...

— Надо подумать,— говорит Александр.

А, по правде сказать, он уже давно думает над своими сокровищами. Понемногу, в течение двух лет, которые он живет в Согдиане, он стянул сокровища к себе поближе. Но куда их девать? С собой в Индию не возьмешь. Поход предстоит трудный, в тропических условиях, которые македонцам, как жителям гор, малознакомы. Горные переходы, тропические леса, реки, топкие долины, усталое войско... Тыл — в Греции, Вавилоне, Сузах, Тире — колеблется. Оставить сокровища — кому, Оксиарту? Упаси боже!

Александр усиливает сосредоточение власти. Возле него — группа верных. С этой группой он однажды отъединяется на несколько дней — и прячет наиболее ценные вещи и слитки золота в месте, только ему одному известном. Оксиарту оставляет кое-что. Войско уходит в индийский поход, предполагая вернуться тем же путем, каким вышло. Но мятеж македонцев заставил Александра изменить маршрут похода, — он поплыл вниз по Инду и вернулся в Персию берегом моря.

В роскошном Вавилоне Александр благословлял свою дальновидность. Ведь будь при нем его сокровища, едва ли бы он отделался так дешево при бунте македонцев. А тут он сказал прямо — вознаграждение ждет вас в Персии, со мной ничего нет. Убьете меня — шиш получите!

Он потребовал в Вавилоне от Оксиарта свое имущество. Получил. И тотчас же, — имея женой Роксану, вдобавок беременную, — женился на Статире, дочери персидского царя. Знай Роксана, куда он спрятал в Согдиане свои сокровища, вряд ли она разрешила бы ему жениться, да и он сам подумал бы. Закрепив свой тыл женитьбой на Статире, Александр стал готовиться к новому походу в Среднюю Азию, объясняя его тем, что, мол, желает разгромить скифов, которые обитают за Каспием. Говоря проще, он подбирал транспорт, чтобы пойти к своему старому знакомцу Оксиарту и захватить там все свои сокровища, спрятанные достаточно искусно, если в течение почти двух с половиной

тысячелетий их не могут обнаружить. Смерть помешала осуществлению замысла Александра.

Вскоре после его кончины среди маршалов, поделивших его царство, начались препирательства. Спрашивают: «Где же казна, навоевано же кое-что!» Понятно, кинулись к жене его, Роксане. Она им, естественно, и говорит: «Если вы не могли наладить над ним контроль и он беспрепятственно спрятал неизвестно куда свои деньги, то мне, женщине Востока, откуда знать замыслы мужа». Ответ понятный, но все же не хотел бы я присутствовать при той беседе! Особенно орала Статира, вторая жена Александра. Она-то, дочь персидского царя, имеет право требовать свои фамильные драгоценности! Вопли и притязания Статирь так надоели Роксане, что та, при содействии маршала Пердикки, прикончила навязчивую дочь персидского царя и отправилась отдохнуть в Македонию, к матери покойного полководца, уважаемой Олимпиаде.

Казалось бы, чего ей забираться в какую-то там Македонию, когда у ней самой, в Согдиане, горы не хуже. Но, вдумавшись, вы поймете. Ее отец, известный уже вам Оксиарт Согдианский, тоже способен был потребовать от нее открытия местонахождения сокровищ Александра! Вот она и предпочла Македонию и, как история показывает, совершенно напрасно. Хотя ее отец и был грубый скиф, но — отец есть отец. Поворчал бы на ее бестолковость и неумение организовать дворцовую слежку за мужем, да и успокоился бы. А в Македонии ее ждала участь похуже.

Какой-то вояка Касандр, — спустя почти одиннадцать лет после упокоения ее мужа, — захватил ее в плен и отрубил голову и ей, и ее сыну. Впрочем, к сокровищам ее казнь уже прямого отношения не имеет, поскольку она казнена в результате временного мира между диадохами. Это всегда бывает. Война кончится, а головы, по инерции, еще полетывают.

6.

Измученные и значительно обуженные мы вылезли, наконец, из поезда, доставившего нас в эту страну охристо-лососевого оттенка.

Мы остановились на перроне, не столько ослепленные характерными красками и решительным солнцем, — наши скромные огородные цвета более близки нашему сердцу, — сколько изумительным размахом строительства Полиметаллического Соединения, которое чувствовалось на каждом сантиметре, хотя само Соединение находилось километрах в ста от Города Двух Улиц.

По рельсам, степью, арыками, по шоссе и проселкам, через горы, долины и барханы, — крича ругательства, ржа, шепча молитвы, давая свистки, молчаливо спотыкаясь, ревя в жердеподобные трубы, жуя хлеб, глотая водку, соперничая, не уступая дороги, судясь в передвижных судах, женись, любя и разлюбляя, хворая и выздоравливая, толстая и худея, — стремились в одном направлении: дымчатые ослики с широкими спинами и тонкими ножками, алые вагоны, серые халаты, круглые и цилиндрические цистерны, высокие и низкие автомобили, арбы с колесами, почти задевающими за облака, босоногие мальчишки, лопаты-кирки-экскаваторы-ложки, украинно-молдавские волю...

— Вот здесь, наверное, поедим! — сказал Бринза, нащупывая в кармане ложку, с которой он никогда не расставался.

— Да, здесь нечто организуется принципиально новое, есть где применить себя, — отозвался Хоржевский.

— И запишем кое-что в дневничок, — заключил я.

Андрей Вавилыч умеет бдеть! В то время, как мы зевали на окраску и звуки первостепенного зрелища, он уже высмотрел.

В толпе, задевая всех своими невероятно длинными ногами, лохматый, как чертополох, шел с мешком на спине известный вам консультант. Значит, и он прибыл в нашем поезде.

— Пчела собирает пищу через воск, человек — через путешествие, — сказал по этому поводу Бринза.

— Он лишь указательный столб нового общественного движения, которое я могу возглавить! — воскликнул Хоржевский.

— Да, вижу, мы на большой волне, — заключил я, — а с нее всегда виднее море истории.

Но всегда реальнейший Андрей Вавилыч сказал нам:

— Вы мыслите плоско, а здесь более чем где-либо надо мыслить в глубину. Поэтому поспешим с устройством комнаты и продовольствия.

Пока мы добивались до гостиницы, пока добились номера, пока хлопотали о насыщении, Андрей Вавилыч пребывал в задумчивом молчании. Раза два он отводил коридорного в сторону, и они о чем-то совещались, звонил по телефону какой-то Дандуковой. Фамилия знакомая. Я пытался вспомнить. А-а! Ведь это фамилия главного инженера на Соединении. Инженер еще понятно, но при чем тут «жена»?..

Внизу, в столовой за обедом, настолько выдрессированным, что суп, действительно, казался супом, а каша — кашей, Андрей Вавилыч как бы соизволил предложить нам часть беспокойства. Он спросил:

— Помните Всеобщую Смету на 1935-й?

— Да, да, — хором ответили мы.

— Что представляет собой раздел —8, графа —2?

— ...мы...ы-ы...

Вопрос повторен. Мычание наше повторено. Он объясняет:

— Смета на Среднеазиатский Институт Сказки.

— Да, да!

— В последующие годы эти ассигнования исчезли.

— Кажется, да.

— Почему же они исчезли?

—

— Ассигнования на Институт Сказки не исчезли, а, снятые с общегосударственного бюджета, перенесены на республиканский. Есть основание думать, что Институт Сказки существует и поныне. Тогда, в первую очередь, нам следует проверить его работу, поскольку Аврора Николаевна Дандукова — бывший директор Института Сказки.

— А ныне кто она такая? — спрашивает Бринза. — Хороша собой по-прежнему?

Понятно! Андрей Вавилыч не желает затруднять себя личным сбором сказок, если для этого были созданы Институты. Возьмем себе папки и будем расшифровывать.

Хоржевский, как всегда, оберегая интересы коллектива, заявляет:

— Простите, Андрей Вавилыч, но я не вижу связи. Мы направлены в Поли-Соединение, а не в Институт Сказки!..

Андрей Вавилыч сухо обрывает:

— Прежде всего... Прежде всего, вы направлены в мое распоряжение и подчиняетесь мне, и потрудитесь исполнять мои приказания. Но не подумайте, что я канцелярская крыса и меня затрудняет дать вам пояснения. Я их вам даю, если вы их поймете. Аврора Николаевна Дандукова — ныне начальник кулътбазы Поли-Соединения. Главный инженер Поли-Соединения Тимофей Лукич Дандуков — ее муж. Все ясно.

— Ничего не ясно, — сказал Хоржевский.

— Значит, вы будете сидеть в номере и ждать меня. Я же в сопровождении секретаря иду к Дандуковым. Нас ждут.

Мы идем по городу...

Прямая, как доказательство наркоматовского отчета, улица, обсажена тополями прямыми, как восклицательный знак. За тополями, разнообразясь только ростом, стоят прямые дома с прямыми стеклами, за которыми, несомненно, должны жить только прямые души. Здесь и там, так и сяк,— всюду прямота и порядок, так что, если б не благодетельная манера номеровать дома, мы бы долго искали жилище инженера Дандукова, славящегося крупным талантом и вспыльчивым характером.

Стены его комнат разрисованы цветами, птицами рыжеватой масти, указывающими, между прочим, что художник из искусств все же предпочитал геометрию.

Аврора Николаевна — женщина не из мелких. Своей свежей и русой вершиной она почти упирается в потолок. Муж ее вполне мог бы гнездиться у нее на ладони.

Верткий, маленький, с огромным голосом, которым можно было б колоть бревна, он выскочил нам навстречу, размахивая списком людей, которые уже приезжали ревизовать.

— Вы — шестидесятая комиссия болванов, предполагающих, что они ускорят ход строительства нашего Соединения!

— Торопитесь,— спокойно говорит Андрей Вавилыч.— Сколько же минут вы уделите нам?

— Шестнадцать!

— Нам хватит и двух. Дело в том, что мне с вами разговаривать не о чем. Мы приехали ревизовать культработу, а не то, что делает главный инженер.

— Главный инженер делает следующее. По его письменному предложению директор Соединения все суммы, ассигнованные вами на культработу, перевел на наши нужды. Я купил на эти суммы саксаул. Вы знаете, что такое саксаул? Не знаете! Так скоро узнаете, потому что отдадите меня под суд, а суд вам скажет, что Дандуков поступил правильно! Войне нужны не кино и концерты, а руда, металл, пушки! Я, батенька, срыл три горы, каждая по пятьсот метров вышины, и еще обязан срыть восемь.

— И ройте себе с богом!

— С богом — да, не с вами!

Андрей Вавилыч сделан из прочного и устойчивого материала. Его водометом слов не вымочишь. Непроницаемый, как желоб, сидит он на прямом стуле перед инженером Дандуковым и отвечает тому с непреодолимой, железной логикой нашего учреждения.

Дандуков груб. Андрей Вавилыч указывает, что напрасно он, инженер, презирует концерты и кино. Ведь артисты и фильмы воспевают строительство, и как отдельный объект, при известных условиях, они воспели б его строительство и тем самым продвинули задачи, осуществляемые им, в массы. Инженер же говорит:

— Вот и отлично, что не было концертов. Благодаря этому я имею сейчас возможность видеть перед собой чучело, поющее о строительстве.

Андрей Вавилыч выразил опасения, что подобные действия добром не кончатся. Инженер же сказал:

— Не много добра и в том, что некоторые рты умеют жрать и переваривать сожранное лишь в глупости.

Андрей Вавилыч резонно заметил, что рот — жует, а переваривает желудок. Инженер сказал:

— Какой у вас желудок! У вас — исходящая.

Все же Андрей Вавилыч победил и победил тем, что оказался по

ту сторону брани. В конце концов инженер захохотал и сказал, что Андрей Вавилыч нравится ему. В нем есть что-то от охладителя — прибора для замораживания воды. Но, к сожалению, он спешит...

С нами остается его жена. Большая и легкая в одно и то же время, — как судно без груза. Она скучает и ждет, когда мы уйдем: ведь условлено, что завтра начнется ревизия!

— До Поли-Соединения вы где работали, Аврора Николаевна?

— Директором Института Сказки.

— Как там было с питанием?

— До войны питание здесь вообще было хорошее. Видите, это все на мне еще довоенного уровня.

— Институт Сказки существует с...

— С 1935-го. Но был перерыв... — Она зевает. — Одно время он переименовался. В 1936 он назывался Институт Преданий Прошлого.

— Как интересно!

— Разве? — Она зевает пошире. — А в 1937 году его переименовали в Институт лже-Преданий лже-Прошлого. В 1938 году его назвали Институт Этнографии и Фольклора, а в 1939-м опять Институт Сказки...

— Что поделаешь, Аврора Николаевна. Жизнь для большинства индивидуумов и учреждений, — перипетия. Большой архив был?

Она смотрит на нас умирающими от скуки глазами и думает: «Да скоро вы уйдете, будь вы прокляты!» Андрей Вавилыч понимает ее настроение, но тянет: человек засыпающий иногда наскочит такого, что затем никогда и не вспомнит! Ему во что бы то ни стало надо создать впечатление, что беседует между прочим.

— Архив? Перед тем, как Институт распустыли, у него в архиве... — Она зевает своим большим, как ведро, ртом и говорит: — Было около полумиллиона сказок.

— Ого!

Наконец-то. Еще — адрес архива, и мы свободны.

Но до адреса куда труднее добраться, чем до количества сказок. Она вспоминает какие-то вздорные пустяки, а сказать, что сделали с архивом и где он — не в состоянии. Читатель, пожалуй, возразит: а что, Андрей Вавилыч разве не мог справиться просто в Наркомпросе? Не мог! Наша первейшая обязанность — подойти и взглянуть в сказку незаметно, как бы невзначай. Мы приехали по другому делу!

Она вспоминает, вспоминает, вспоминает... В 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 1927... ух!..

Нам уже известна вся ее жизнь, но адрес архива — нет!

Несколько лет тому назад ее впервые увидел Тимофей Лукич. Он тотчас же расцеловал ее здоровенные щеки и сказал: «Ну, теперь мы заживем лихо!» — и не будь у него характера, благодаря которому он относился к жизни так неожиданно, подобно наводнению, он бы со скуки давно возле нее сломал ноги или вывихнул челюсти, зевая. Сластена, с силой, которой хватило бы плечом вытолкнуть застрявшую в грязи трехтонку, она поднимала бумажку, являя собой невыносимое горе и невероятный труд! Впрочем, трудовой список ее в порядке. Это она умеет. Ее даже чем-то и когда-то премировали, да разве и ее муж — не премия!..

7.

Мы выходим на улицу. Андрей Вавилыч говорит:

— Хотел бы я иметь такую жену в качестве коня, который повезет мой прах на кладбище.

— Жаль, адрес архива не достали...

— Не достали,— ухмыляется Андрей Вавилыч.— А это что?— И он показывает конверт. Сбрасывая пепел с папиросы, он зашел за спину Авроры Николаевны и там, на столике, увидел письмо, покрытое едва ли не двухгодичной пылью. Письмо адресовано в Архив Института Сказки. Андрей Вавилыч вынимает письмо. Аврора просит какую-то Женю прислать ей письма Вали, а то... многоточия. Туда же, тыфу!

Андрей Вавилыч бросает клочки письма в канаву и переписывает в книжку адрес архива. Он говорит, и я понимаю его:

— Впервые в жизни пошел на преступление, украл чужое письмо. Ослабел. Пот замучал. Да и длинная дорога. Но, по-моему, говорить час с подобной бабой тяжелее, чем вымостить путь от центральной нашей столицы досюда.

— Да, с этой женщины все вопросы, как с клеенки вода. Она не живет, а существует. Она к миру относится, как постоялец к плохой гостинице, где отовсюду дует и отовсюду воняет.

— Иванов, не бросайтесь в уподобления. Держитесь цифр и фактов. А это — изорванное письмо. Нет, не скажите. В ней есть что-то такое... я бы сказал... от восточной сказки... И не будь я, черт побери, сухим исследователем...

Все мы — люди. Андрей Вавилыч — тоже. Но там, где обыватель из низкого чувства способен сделать плетень на всю жизнь, огораживающий его душу, Андрей Вавилыч возьмет лишь веточку, чтобы отмахнуть мух воображения!

— Ну, теперь соснем, Андрей Вавилыч.

— До сна ли, когда у нас в руках адрес архива! Я хочу сегодня же читать сказки!

Прямая улица, однако, действует на него, как итог в составленной смете. Небо напоминает нам, что все-таки еще зимние месяцы. Оно напрягло, как зоб, и вдруг оттуда начинает сыпаться на наши головы нечто среднее между снегом и помоями. Лоб, брови, щеки и весь низ лица мокры, а нос и бока слегка помечены белым. Под ногами обнажается земля такая мягкая, как после отлива моря.

Мы входим в гостиницу.

Бринза спит, грызя во сне местный лук, сладкий и воспламеняющий воображение. Хоржевский глядит на него с ненавистью. Он и нас ненавидит, как будто пять лет тому назад мы помогли ему крутить роман с этой Авророй Николаевной! Андрею Вавилычу плевать на сон и на строение своих подчиненных. Он велит им сопровождать его в старый распорядок Города Двух Улиц.

Мы проходим Ботанический сад. Крепость, железный мостик, и перед нами такая неразбериха домишек, сараюшек, клетушек, лавчонок, что хочется убежать отсюда возможно дальше...

— Не отставать!— говорит Андрей Вавилыч.

Мы поднимаемся на холм.

Мы спускаемся со второго, шестого, сорок восьмого холма.

Переходим пятидесятый, сто сорок второй арык...

— Здесь архив Института Сказки?

Некто в халате... наполняется весельем и услужливостью.

— Какой сказка? Есть разный сказка. Есть бабушкин сказка, есть девочкин сказка.

Он перечисляет всех своих родственников, которые имеют каждый по собственной сказке...

— Еще есть сказка чужая. Есть сказка у моего друга...

Мы узнаем, что архив Института Сказки переехал и нам надо идти теперь еще через сто восемьдесят семь переулков, пятнадцать площадей... и сто один огород!

Мы — подчиненные. Мы тупо смотрим на Андрея Вавилыча и ждем его приказаний.

Он же: указывая на груды бумажного пепла, спрашивает:

— А это что такое?

Веселый сын Азии растягивает свое широкое лицо в улыбку:

— Удобрение,— говорит он.

... Покинув этот голос, заслуживающий полной веры, мы устремились дальше.

Улицы по-прежнему плохо содействовали нашему движению.

Внезапно, перемахнув какой-то железный мостик, мы очутились возле Ботанического сада. Прямая улица опять простиралась перед нами.

И удивительно. В этом городе было не только два распорядка домов. Здесь даже было два климата. Здесь, на прямой улице, светило уже полное солнце, взметывалась пыль.

Ветер жесткой воли Андрея Вавилыча, как бичом, гнал нас. Пробежавши машинально несколько кварталов, мимо раструбов радио, усердно доставляющих нам скорбные напевы, шел рослый молодой мужчина с прямым носом и русыми кудрями. На голове его,— слегка наклоненной влево,— обволакивая кудри сиянием, сверкал поразительно красивый шлем. Бляхи, аккуратно соединенные, волной спускались по его туловищу, так что оно походило на чемодан, обитый свежими медными пластинками. Его толстые икры овивали ленты, начиная от самых сандалий, которыми он усердно печатал асфальт тротуара.

Среди толпы эвакуированных и здесь рожденных, среди мальчишек, продававших папиросы и марки с портретами Навои, среди костылей, тряпок, перманентов и губной помады, мимо раструбов радио, усердно доставляющих нам скорбные напевы, шел рослый молодой мужчина с прямым носом и русыми кудрями. На голове его,— слегка наклоненной влево,— обволакивая кудри сиянием, сверкал поразительно красивый шлем. Бляхи, аккуратно соединенные, волной спускались по его туловищу, так что оно походило на чемодан, обитый свежими медными пластинками. Его толстые икры овивали ленты, начиная от самых сандалий, которыми он усердно печатал асфальт тротуара.

Я впервые видел такого красивого дурака. Но толпе, должно быть, он был уже не в диковинку. Только два-три мальчишки крикнули ему что-то не очень лестное.

Андрей Вавилыч схватил меня за руку:

— Мы бредим. Галлюцинация.

Бринза сказал:

— По-моему, это новая форма для поваров, чтобы проголодавшиеся бойцы видели их издали.

— По-моему, скорее для агитаторов,— возразил Хоржевский.

Я же высказал соображение, что это вообще новая форма для некоей формирующейся ударной армии.

Андрей Вавилыч судорожно разжал губы. Я, право, затрудняюсь подобрать соотносящиеся определения, которые бы вполне передавали выражение его лица. Боюсь сказать, но там читались и растерянность, и недоумение, и радость. Он было двинулся вперед, к тому медному дяде, но опомнился:

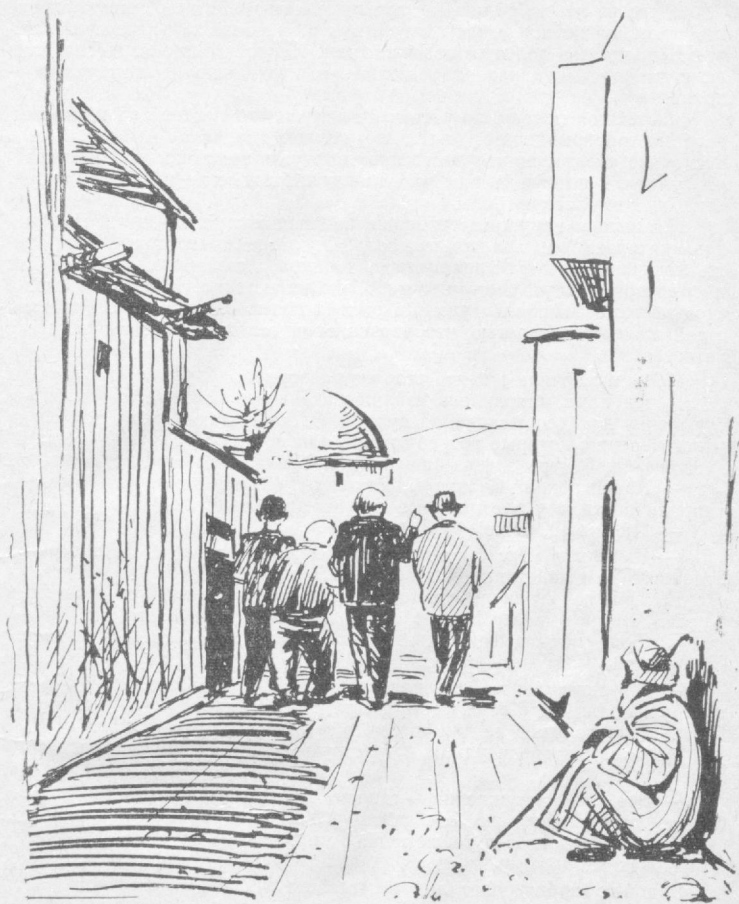
— Сворачивайте,— сказал он сурово.

У самого поворота в переулок мы встретили еще подобного типа. В одной руке он держал круглую штуку, по объему раз в десять больше сковородки, а в другой руке у него была палка с длинным наколочником.

— Сворачивайте!— уже совсем не своим голосом закричал Андрей Вавилыч.— Сворачивайте, пока мы не сошли с ума.

И вот опять эти домишки, кривые, горбатые, рваные, начали отсрочивать нашу встречу с желаемым архивом.

Излив достаточно энергии и ругани, мы выскочили на площадку.



Мы увидели мечеть, похожую на фазана. Здесь должны храниться сказки. Где же они?

Вышел мулла, чрезмерной худобы и испуга. Дергая себя за длинный красный нос, он сказал, что да, архив был здесь, но так как завтра приезжает имам для проповеди на оборонную тему, то архив перевезли в чайхану, в другую сторону города. Были ли у него полномочия сжечь архив? Нет, как возможно. Он так уважает архивы нашей страны, — ведь это архивы социалистического общества, перестраивающего мир, архивы правды... Хоржевский выразил желание объясниться с муллой на эту тему, но Андрей Вавилыч выгнал нас из мечети, как труба изгоняет из себя пар.

Подсохло. Пыль еще не поднялась, и твердый лесс способствовал нашей скачке по старому распорядку.

К вечеру мы добрались до указанной нам чайханы. Жители, словно цементом скрепленные чаем с полом и с мисками, которые они называют «пиалами», долго не отвечали нам. Наконец они засвидетельствовали, что под ними находится подвал, а в нем,— кто в этом уверен,— архив.

Чистейшая правда, но у этого таинственного архива нет определенного местопребывания! Кое-где на стенках подвала мы разглядели несколько расплывшихся листочков, да в углу таяло кое-что похожее и на бумагу, и на снег, и на какие-то замысловатые инфузории, а может быть, и на головную боль.

Мы вышли наружу и спросили чайханщика: не имеет ли он обыкновения разжигать архивом самовар. Он ответил, что правильное движение тепла зависит от правильного топлива, а там написано такое, что и самовары тухнут! Я твердо знаю, что он не лгал. И спросил его: а сколько же автомобилей увозило отсюда архив Института. Он ответил с той же достоверностью, что увозил один ослик, да и тот вез телегу не потяя.

... Мы выскочили в центр старого распорядка.

Перед нами находилось изящное зданье, похожее на разбитую бутылочку для вспыскивания духами. Здесь выдают набор той сотни удостоверений, которые потребуются в вашей жизни. Вернее,— выдавали когда-то. Теперь здесь — швейная фабрика. Она строчит, строчит...

— Какой архив? Сказки? Местком потребовал их увоза. Там одни неприличности, а у нас молодые девушки работают...

— Где же он, боже!

— Да никак местком его на Курсы Акробатического Мастерства отправил. Там подстилка для прыжков нужна...

Потеряв все столичное достоинство, мы центрально устремились к Курсам. Вот и вывеска Курсов с буквами вишневого цвета.

— Сюда нельзя, граждане. Здесь — лазарет и никаких архивов.

— Дайте нам коменданта!

— Я — комендант. Что вы орете! Архив? Архив затребован в Шейхантаур. Гражданин, если вы не знаете, где Шейхантаур, то я кормовое довольствие получаю не для того, чтобы вам указывать таковой.

Мы стоим посреди улицы и чувствуем себя достойными всяческого порицания.

— Все мои рассуждения,— говорит Андрей Вавилыч,— сводятся к следующему заключению. Шейхантаур! Там, по старинному преданию, вышел, закончив свое путешествие по подземному царству, Александр Македонский...

Какой-то прохожий с лицом матовым и словно бы навощенным остановился возле нас и решил,— почему, не знаю,— соблюсти приличия. Он сказал:

— Вы ищете «Александра Македонского?» А вон же он, в Шейхантауре! Повернете направо и уткнетесь в Шейхантаур!

И он пошел от нас. И ветер мотал его шинель, по всем признакам уже трижды пропитую своими владельцами.

— Ба-а!— воскликнул Андрей Вавилыч.— Да он говорит о кинофабрике, где снимается «Александр Македонский». И сюда же ехал длинноногий консультант!..

— И оттуда же вышел,— подхватил я,— тот красавец в золотом шлеме, которого мы встретили. Это просто актер, играющий роль великого полководца, обнашивает свой костюм!

Глинобитная стена с проходной будкой и зеленой низенькой дверью охраняла высокие замыслы знаменитых кинематографистов. Мы вошли в проходную, но оказалось, что нас никто не вызывал, и, значит, на

фабрике нам делать нечего. Мы согласились с проходным сторожем и пошли дальше.

Под куполом мечети был проход. Из него пахло шашлыком, резиной, протухшей водой, заграничным коверкотом. Мы вошли в проход и сделали несколько шагов. Шашлык жарили в крошечной лавочке, но выдавали его по большим специальным ордерам Наркомата Пищи и Вина. Резиной несло от сапожника, который расположился возле озера, величиной с письменный стол. Озеро, разумеется, пахло водой. Что касается материи, то возле озера находилась дирекция кинофабрики, куда можно было войти и без пропуска и без надобности.

Андрей Вавилыч приказал нам ждать и вошел в дирекцию один. Он вернулся быстро.

Мы обогнули здание дирекции и уперлись во что-то фанерное, являющееся, по-видимому, частью древнего замка. Андрей Вавилыч провел пальцем по фанере, и сквозь толстый слой краски мы разглядели строчки. Андрей Вавилыч прочел вслух:

— «И здесь Искандер Двурогий сказал жене своей Роксане...»

Затем Андрей Вавилыч сказал:

— Вот и все, что осталось от архива Сказки. Архив оказался бесхозным, и им оклеили фанеру декораций.

8.

Наверное, я буду вечно изумляться Андрею Вавилычу.

Мы, войдя в номер, от усталости свалились где попало, а он сел за письменный стол и стал что-то вычислять. Немного спустя он сказал:

— Откиньте смущение, если недоумеваете и плохо разбираетесь в моих действиях. Вы еще слабо доверились мне, и я замечаю у вас колебание. Возьмем Хоржевского. Что я в нем замечаю? Он считает себя выше меня и думает, что без меня больше принесет пользы обществу. Но он должен понять, — и поймет! — что его интеллект давно подавлен моим. Все, что он будет теперь делать самостоятельно, — обречено на гибель. То же самое с Бринзой. Вера в целесообразность моей воли требует послушания и полного подчинения мне. Когда у вас явится такая вера, вы спасены! Все мои предостережения будут вам на пользу, и вы процветете.

Правильно! Вопрос поставлен в лоб, умело и вовремя. Хоржевский пропихивал что-то вроде того, что, мол, для послушания мы целый день гоняли по грязи, разыскивая архив, который никакого отношения к нашей командировке не имеет... Бринза осмелился подхватить:

— И еще кормясь такой пищей, которая живот не наполняет, а наоборот, так сказать, лишь окуривает.

После Бринзы и я осмелился высказать несколько слов. Я сказал, что, по-моему, — хотя я еще не понимаю, в чем, — но Андрей Вавилыч прав!.. Андрей Вавилыч наградил меня ценным похлопыванием по плечу и вернулся к письменному столу.

— Не понимаете, зачем бегали? — спросил он. — Да вам и совершенно незачем понимать. Разве веревка коловорота понимает, что она сверлит дыру? Разве катыш, камень, понимает церемонию, с которой несется по своей орбите земная сфера? — И он обратился к Хоржевскому. — Вы, кажется, сказали, что Институт Сказки не имеет отношения к нашей задаче? А не в результате ли сегодняшних поисков вам прояснился характер Авроры Николаевны Дандуковой, если бы даже раньше вы ее и в глаза не видели? Если сотни и тысячи сказок разбазарены, а огромные народные средства буквально превращены в дым,

вы имеете основание думать, что она ценный работник на Поли-Соединении? И когда,—теперь, когда ответственность каждого из нас утроилась и удесетерилась? Будете спорить с тем положением, что на основе архива Института Сказки вы априори выведете заключение о роли Авроры Николаевны на строительстве?

— Что ж тут спорить,—сказал припертый к стене Хоржевский.

— Аврора Николаевна знает,—сказал я,—восточные языки и давно живет здесь, с детства...

— Недостаточно знает, недостаточно долго живет здесь! Ведь Институт закрыли, а сказок нету, и добиться невозможно, почему закрыли и почему разбазарили сказки!..

Хоржевский сдался еще больше:

— По-вашему, Андрей Вавилыч, нас в Соединении ждут трудности и загадки.

Андрей Вавилыч выразил мнение, что загадки людям, вооруженным методом Наркома УИВЭО, не страшны, а трудности—преодолимы. После этого он сказал, что хочет поискать папирос и предлагает мне пойти с ним, а остальные должны отдыхать. Когда мы вдвоем оказались на улице, я спросил:

— А не кажется ли вам, Андрей Вавилыч, что вы вскрыли для них одну сторону дела?

Андрей Вавилыч ответил:

— Подчиненный тем и определяется, что знает одну сторону дела. Если он будет знать все, он еще вознамерится иметь свое суждение, а это совершенно не для чего. Зачем кому бы то ни было знать, что я ишу сокровища Александра Македонского!..

— Но я-то знаю.

— Вы—историк и как таковой умеете хранить тайну. Но, направляя течение вашей истории, я все же и вам не все открываю. Что поделаешь! Война есть война. Она требует системы неограниченного правления. А я веду какую-то часть военных замыслов. Вы уж извините мои недомолвки, они неизбежны.

Он шел обычным своим шагом, методическим и придающим ему большое значение. Были сумерки. На лице его читалось, что мысли внутри его всё приумножаются. Словно полноводная река, текли они, в одном месте создавая промоины, в другом нанося землю. То ли отягощенный естественным приростом мыслей, то ли желая подкрепить доказательство, но Андрей Вавилыч сказал:

— Начаты съемки фильма «Александр Македонский». Оказана доверенность, открыт кредит. После прошлого нашего нагоняя найден хороший счетовод. Отчетность в порядке. Казалось бы, осуществляя замысел, зритель ждет. А фильм не снимается и не будет сниматься. Чего ради? А того ради, что некому и нечего снимать.

— Андрей Вавилыч, что я слышу!

— Вы слышите голос истины, дружище. Я был у директора фабрики. Он там человек новый,—впрочем, там всегда новые люди,—и он был крайне удивлен недоразумением, благодаря которому уничтожили архив сказки. Он родом из этих мест, и фантазия его народа близка его фантазии. Благодаря этому обстоятельству мы быстро нашли общий язык, и он разрешил мне посмотреть трудовые списки постановщиков и актеров фильма. Режиссер—бывший дипломат, проходивший Высшее Училище Дипломатии, между прочим, вместе с инженером Дандуковым...

— Разве инженер Дандуков...

— Обождите, к нему мы еще вернемся. Дальше. Актер, играющий роль Александра Македонского—по специальности геолог. Актриса в роли Роксаны,—помните, красавица?—инженер, специалист тяжелого

машиностроения. В роли военачальника Пердикки — автомобилист, гонщик, пробежавший полтора миллиона километров. В роли Спитамена, вождя восставших бактрианцев, — знаток туранских наречий, личность, окончившая бывший Лазаревский институт! Кроме того, там есть летчики, железнодорожники, биржевые маклера, раввины, водолазы, альпинисты, но людей со специальным актерским и кинематографическим образованием нет! Мало того, сценарист, уже известный вам длинноногий консультант, — археолог, знаток Древней Греции, написавший о новейших раскопках пять опубликованных работ и десять приготовленных к печати, — общим тоннажем в сто двенадцать печатных листов...

— Андрей Вавилыч! Вы потрясли меня. Объясните скорее!

— Все уже объяснено, когда я сказал, что фильм не снимается и не снимется. Они, подобно нам, — ищут сокровища Александра Македонского!

— Они?!

— Да, они. Причем они, как видите, оснащены и подготовлены гораздо лучше нас. Подготовку к экспедиции они вели годами, для чего все перешли в кинематографию, — ничто так не способствует передвижению по нашей стране, как кинематография.

— Но задание, чье у них задание, Андрей Вавилыч?

Мой начальник безмолвствовал.

Мы встали в очередь. Вечером в учреждении люди более снисходительны, и нам быстро выдали крупный ордер на папиросы. Благодаря тому, что Город Двух Улиц отстоял далеко от фронта, все окна в нем светились приятным желтым светом и, минуя возлежащих, целующихся, спорящих, мы довольно быстро нашли склад табака, получили искомое и повернули к гостинице. Выкурив две папиросы, Андрей Вавилыч заговорил:

— Я сделал подробное исследование о моих словах — не заблуждаюсь ли я? Разве я глуп? Подождите, подождите... По всем основаниям и удостоверениям моей личности — в глупости не замечен. Выгода, прибыль от заблуждений? Какая же? Ведь обнаружив врагов, я, естественно, должен буду с ними бороться, а их много, и они все крупные специалисты, со связями, с доброжелательным отношением, как и ко всем специалистам... Борьба предстоит упорная, и я — не откажусь, ибо я уверен в своей правоте.

— Андрей Вавилыч, но если, боюсь сказать, смежное задание?..

— Никогда!

— Тогда они ради чего же?

— Я не берусь еще утверждать, но не исключена возможность, что по заданию другой стороны...

— Другой?

— Да.

— Фа-а...

— Именно. Надеюсь, вы примете во внимание то, что Аврора Николаевна тоже обучалась в Высшем Училище Дипломатии!..

— Она?

— Восток.

— Значит, вы имеете в виду, что и Дандуковы и люди, создающие фильм «Александр Македонский», одного и того же...

— Боюсь утверждать. Будем собирать материалы, делать сводки, а там доберемся и до выводов. Кто знает, может быть, и не нам даже придется делать заключительные выводы, — добавил он со скромностью, ему всегда присущей.

— Значит, архив Института Сказки уничтожен умышленно? Они, подобно пчелам, изъяли мед из цветка и покинули его?

— Боюсь утверждать. Но всякому покажется странным, что от многих тысяч разнообразнейших сказок осталась, словно в насмешку, одна строка... «И тут сказал Искандер Двурогий жене своей Роксане». Что он ей сказал? Может быть, шифр сокровищ, а она, дура, не поняла.

Андрей Вавилыч справедливо разделил папиросы, мы выкурили по одной и легли спать, каждый по-разному вспомнив Главную Столицу и каждый подумав, что не скоро туда вернется. Андрей Вавилыч заснул быстро, а я стал засыпать, уже когда брезжил рассвет. Меня разбудило легкое подергивание за руку. Я раскрыл глаза. Рассвет едва ли умножился вдвое. Перед моей кроватью, на корточках, в нижнем белье сидел Хоржевский и рядом с ним, завернувшись в одеяло, толстомордый Бринза.

— Тсс... — сказал шепотом Хоржевский. — Не будите начальника. Он вас держит при себе, а мы имеем к вам совершенно конфиденциальный разговор во имя блага общества.

— И вашего желудка, — добавил Бринза.

— Слушайте! Вы знаете, что мы проблемы взаимоотношений индивидуума и коллектива решаем в сторону коллектива, ради которого готовы на все?..

— Чтобы насытиться любовью и продовольствием, — добавил Бринза.

Тут — шепотом они сцепились спорить, а я и уснул.

Прежде чем сон развернулся, Хоржевский опять разбудил меня. Я видел перед собой его бледное лицо. Он, видите ли, мучается и полностью не подчиняется Андрею Вавилычу из-за отсутствия масс! Андрей Вавилыч понимает массы, и массы его понимают, — где же инициатива, где руководство?.. Я сказал со злостью:

— Шесть часов утра, черт возьми! Дайте мне возможность уснуть.

— Какой же тут сон, если отныне я решил быть самостоятельным, и меня не запугаешь разными там измышлениями!

Тут я ему сказал, что если уж он так хочет быть самостоятельным, то пусть разбудит Андрея Вавилыча и передаст ему свое решение. Посмотрим тогда, долго ли удержится на Хоржевском наркоматовская «броня». Хоржевский задумался, а я, завернув голову одеялом, уснул.

9.

Сострадательный голос, словно боясь привести нас в отчаяние, говорит нам, что подана машина. Мы выходим. Утреннее солнце, как услужливый носильщик, освещает наши чемоданы. Перед подъездом гостиницы машина и шофер. Шофера зовут Груша. На ногах у нее нечто, зафрахтованное еще в ином веке в качестве ботинок. Это сооружение лопалось и портилось каждую минуту, так что непонятно — машину ли она чинит или ботинки.

Смешивая ужасающий грохот с шипящим трением, окропляя прохожих комками грязи, мы долго имели впереди себя испуганные дома города, опасаящиеся пожара или взрыва от нашего движения. С прискорбием отпустив город на волю, мы выбрались в степь и здесь, согласно старому обычаю, свалились в канаву.

— Дела еще идут! — воскликнул шофер и, подмигивая нам, начал производить расследование своей машины.

Мы с боязнью и удовольствием оставили ее позади себя и сели на краю канавы. Андрей Вавилыч спросил, кто следует за нами и нельзя ли попросить, чтобы нас подвезли. Бринза, самый крупный из нас, и пострадал крупнее: одна щека у него была сворочена в сторону, левая

рука в крови. И все же он желал ехать на этой машине сызнова! Он нас утешил тем, что нам ведь не вздыхать о богатстве, поскольку мы люди все служащие. Высказав всю правду, он отправился помогать шоферу, который заклеивал лопнувшую камеру. Шофер встретил его улыбкой, видимо, имеющей для Бринзы такой вид, при котором Бринзе хотелось встать к ней на самое короткое расстояние.

Настолько же, насколько Бринза преисполнился надежд и благоволения к людям, настолько Хоржевский был печален и уныл, словно внутри его вырастали шипы.

— Не к добру,— сказал он пронзительным своим голосом,— что-то нас ждет плохое...

Время позволяло ему впустить достаточное количество этих мрачных мыслей. Шофер, повернув к нам веснушчатое лицо, восклицал, что «дела еще идут», и тотчас же машина его делала скачок в сторону и с некоторым жеманством упиралась во что-нибудь такое, к чему добрая машина не должна прислоняться ни в коем случае. Один раз мы въехали в кучу навоза, другой — в побитые бутылки, а третий — в казармы, где нас часовой встретил выстрелом. Тут всякий начинал говорить под влиянием своих чувств, а попозже Андрей Вавилыч заключил:

— Я не в состоянии так много расходовать средств жизни.

К счастью, благодаря помощи Бринзы, который вдруг проявил недюжинные способности автомобильного мастера, мы имели полную возможность отдыхать сколько нам хочется.

В середине вторых суток Бринза совсем, — от восторга перед дарованиями шофера, — превратился в знак восклицательный. С трогательной чувствительностью он рассказывал собравшимся возле нас, которые тоже отправлялись на строительство Соединения, но никак не могли доехать и дойти, — какие превратности судьбы пережил он, Бринза, и как из запутанностей быта он переходит сейчас к полному перевороту. И, охватив руками толстые щеки, он глядел на увесистого шофера с таким видом, как будто мог испортить его своим дуновением.

Странно, что и Хоржевский прилаживался к ней и так и сяк. Он объяснял это тем, что Груша обладает большим количеством знакомых, а его в таких случаях интересуют качества людей: к чему они готовят-ся, что измышляют.

Людей, действительно, подходило много, но то ли наша машина не внушала им доверия, то ли они не торопились и встречные чайханы вполне удовлетворяли их как дорожные приюты, — ни один из них не просил подвезти его, хотя с Грушей они любезничали напрадую. Вслушаться в их разговоры, то становилось понятным, что они не торопятся. Куда там! Прописка, продкарточки, отсутствие жилья, топлива, воровство, утеря знакомых по дороге... Они сокрушенно охают, приводят друг друга в отчаяние, проливают слезы...

Андрей Вавилыч записывает. По-моему, труд напрасный. Здесь столько несчастий, что, как столетиями запущенный сад не расчистить, так и тут не поможешь. Впрочем, памятуя его намеки, что подчиненному известны не все замыслы начальства, я безмолвствовал.

В начале третьего дня, когда у нас вышли продукты и Андрей Вавилыч заполнил жалобами шестую записную книжку, он сказал:

— Я более чем когда-либо расположен к мнению, что мы присутствуем при попрании справедливости и при появлении веры, что ее, справедливость, необходимо реставрировать! Здесь это тем легче, что творения философов и художников подняли значение строительства Соединения, а успехи научной мысли закрепили его. Следовательно, стремящиеся туда на работу, измученные разными невзгодами, тем самым стремятся к восстановлению своих прав. Вижу, что если уничто-

жить сопротивление негодяев соответствующим инструкциям и резолюциям, бросив искру истинного инструктажа, произойдет великое очищение воздуха. Не сомневаюсь в трудностях, но...

В степи торчали курганы, похожие на нарыв в углу глаза. Говорят, летом возле них летают комары с жалом величины ужаснейшей. Машина, должно быть, напуганная комарами, долго кружила без толку возле каждого кургана.

Учтиво расставшись с последним курганом, мы вступили в хмурую пустынную область, пересекаемую рядом холодных горных речек, заваленных грудами галек и валунов. Воды в речках мало...

Вид валунов внушал нашему шоферу головокружение. Он раза три ткнулся в них, помял капот, а затем, как сумасшедший, разбрасывая гальку и щебень, ринулся вверх, вдоль русла реки.

Покинув валунное и галечное русло, мы, неизвестно для чего, стали помогаться другого, и оно с приветливостью ада раскинулось перед нами.

Эта река имела к нам особое расположение. Она не только обладала основным руслом, но имела еще штук двадцать притоков, каждый из которых не прочь был вступить в интрижку с нашей машиной, бросая ей под ноги валуны и гальки.

Мало того, река и ее притоки, очевидно, расположенные к нам необыкновенно, решили побаловать нас невиданным зрелищем. Специально для нас, думаю, потому что никто более не смотрел на это, — река и ее милые дети глубоко врезались в плато и образовали величественное мрачное ущелье со скалами, имеющими вид неотполированных колонн. Скажу прямо — колонны хороши на вновь отстроенных домах, но они отвратительны, когда вы в ущелье и вдобавок голодны, и голова ваша болит от выхлопных газов и качки, непрестанной, все увеличивающейся.

Наш шофер вздумал проявить знания, приобретенные им в средней школе с краеведческим уклоном. Он объявил, что река носит древнее название «Река кузнецов» и что здесь много находок древнего кузнечного железа. Андрей Вавилыч, памятуя о своем любимце Александре, которого он совал всюду, как мамаша нежно любимого сына, немедленно решил проверить древнее кузнечное дело.

Мы стояли у правого высокого берега, украшенного великолепной вертикальной стеной из местной пыли, должно быть, ожидающей ветерка, чтобы подняться вверх. Кузнецы работали на той стороне реки, и туда-то направился Андрей Вавилыч. Хоржевский пошел было за ним, но остановился.

Бринза решил проверить качество лессовой стены. Как измерительный прибор он взял снова лопнувшую камеру. Шофер, не споря, решил сопроводить его в этих исканиях.

— Нам же сюда, — сказал Хоржевский, указывая на Андрея Вавилыча, который, сняв сапоги, босиком прыгал по холодным камням, переправляясь на ту сторону реки. — Бринза, нам сюда!..

— Вам туда, а мне сюда, — ответил, смеясь, Бринза. — Мне кажется, что эти отложения похожи на муку, хочется проверить. Я давно слышал, что этот лесс едят.

Андрей Вавилыч окликнул Хоржевского. Кузнецы — масса, а работа масс кому более известна, как не Хоржевскому. Но тому хочется тоже попробовать — съедобен ли лесс, хотя, с другой стороны, он знает цену наркоматовской «брони». Он вздыхает и идет за Андреем Вавилычем.

Тишина. Я караулю машину и наслаждаюсь отсутствием движения. Всякий, кто много ездит в теперешнее время, способен определить степень вины и наказания, которые испытывает человечество.

Понятен становится лозунг — любите друг друга и меньше двигайтесь!..

В разрезе лессовой стены слышались аплодисменты. Я удивленно поднял голову. Это гигантская стая диких голубей вылетела из ответвления каньона. Что могло испугать их? Я вспомнил, что туда ушел Бринза. Не успел я осмыслить обстоятельства, при которых голуби могли быть встревожены по всему каньону, как земля подо мной заколебалась, кто-то словно ткнул мне в ноги, — и в ста метрах от меня часть лессовой стены, как будто лишенная подпора, рухнула в реку, которая немедленно забурилась и, потеряв равновесие, начала вздвигаться.

Волны, цвета шалфея, подкатывались уже к машине. Волны ворочали валуны. Я человек не робкий, но стихия на меня действует. Кожа у меня стала гусиной, и дрожащим голосом я воззвал к Андрею Вавилычу и к шоферу.

На вершине обрушившейся стены появились Бринза и шофер. На одной руке у него повисла девушка, на другой — камера, по-прежнему не заклеенная. У них такие умильные лица, как будто они способствовали человечеству в чем-то совершенно для него необходимым и важным.

— Машину унесет! — крикнул я.

— Дела еще идут, — отозвался шофер своей обычной поговоркой, и мы начали толкать машину вверх, в то время как волны толкали наши ноги, а на той стороне подталкивал наше напряжение Андрей Вавилыч, державший в объятьях тяжелый кусок древнего шлака, взятый, видимо, им как свидетельство, что здесь побывал Александр Македонский.

Спустя несколько времени мы вкатили машину на пригорочек и стали любоваться зрелищем, как Андрей Вавилыч переправляется через реку по валунам, балансируя глыбой шлака и хватаясь за Хоржевского, который кричал, что это не входит в его служебные обязанности. Впрочем, если они падали в реку, то более или менее благополучно.

Девушка села за руль, расставив части своего тела с той тщательностью, с какой хвастливый хозяин расставляет свои вещи, когда ожидает дорогих гостей. Но прошедшим было не до нее. Хоржевский дрожал, как воздушное растение под ветром, и с него лилась вода, и он, по всей вероятности, не сомневался, что уже не сможет быть полезным для коллектива. Андрей Вавилыч рассказывал об остатках древнего металлургического центра. Куча древних шлаков диаметром в 336 шагов и высотой до 8 метров. А, подумайте! Дальше ваш глаз встречает вторую грудку шлака... Для чего им нужно было так много металла? Какое они сооружение делали? Своды для какой камеры?..

— Для хранения ручного багажа! — сказала со смехом девушка, давая гудок.

Мы спустились вниз.

Вдали показались опять курганы и что-то плоское бурое, похожее на заклинание. Девушка сказала, что это степь перед большой рекой, а за цепью курганов мы увидим Соединение. Мысль о расставании дурно повлияла на нее. Вертя баранку одной рукой, она достала кисет и свернула папироску.

— Вы даже и представить себе не можете, сколько правды в ваших словах относительно ручного багажа, — сказал Андрей Вавилыч многозначительно.

Девушка поняла его по-своему. Она сказала:



— Да ведь как же неправда, когда он меня оставил в ручном багаже. Я ему за такую проделку все кишки выпущу!

Усталость уничтожила в нас расположение к слушанию воспоминаний, сколь бы они ни казались заманчивыми. Мы молчали. Однако девушка не унималась. Пожимая одной ногой рычаг, а другой — Бринзу, она погрузилась в тяжелые воспоминания:

— Три года, а то и меньше мне было. Мы тогда москвичи были. Он у меня служил в учреждении, счетоводом. Отец мой! У него приметы есть три, я их вспомню... я для них нож точу...

Она полезла куда-то и достала длинный нож, источенный наполовину. Сверкнув им в воздухе, она положила его рядом с собой и скорбным голосом продолжала:

— Он меня сажит в корзинку и говорит: «Ты, Груша, сиди в корзинке и не пикни», и сдал меня на хранение. Он меня сверху прикрыл материей, а я была ростом маленькая тогда, и сижу в корзинке, а он пошел с матерью насчет такси торговаться, потому что с корзиной в такси могли взять дороже. Он торгуется и говорит матери: «Я сторговался, а ты поди принеси корзинку с живой птицей». И сел в такси, а мама пошла за корзинкой, а он на том такси на другой вокзал и уехал навсегда, потому что получил предписание уехать в командировку длительную, на год, и взял для этого случая новую жену. Мать помирает и говорит мне: «Груша, жизнь, она сталкивает. Она столкнет. Когда будешь резать, так старайся наклонить его голову к корзинке, чтоб туда она, злодейская, упала». Вот я и корзинку вожу и нож точку...

Андрей Вавилыч спросил, и голос его, как мне показалось, был несколько стесненный:

— И давно вы его точите?

10.

Девушка сказала с раздражением, словно Андрей Вавилыч оспаривал у ней право на месть ее сбжавшему и подлому отцу:

— Я точу достаточно. Он — острый. Хотите попробовать?

— Кто же пробует ножи во время движения автомобиля, — сказал Андрей Вавилыч. — Да и напрасно вы с ножами ходите. Присутствие ножа приводит в ажиотаж.

— Нет, у меня стаж этих страданий достаточный, — сказала задорно девушка и опять выхватила нож. — Хватит, сгруппировали обиды и огорчения! Теперь мне пора! Никакие лекарства ему рану не заживлят, никакие хирурги не зашьют, хватит.

— Совокупность ваших обид мне вполне понятна, — сказал Андрей Вавилыч, — но возможность встречи с вашим отцом, мне думается, преувеличена...

— Как же преувеличена, если мне был факт, видение, — воскликнула девушка, оглябая какой-то столб с воем и лязганьем всего железа, которое только имелось в нашей машине. — Мне было предчувствие.

Она вытерла рукавом Бринзы слезы на больших выпуклых глазах и продолжала:

— Было третьего дня видение. Входит это моя покойная матушка, как сейчас вижу. В руках полотенце, и говорит: «Груша, у тебя нож твой готов и также корзина?» «Ах, — говорю, — матушка, все готово, а только скажи, где его встречу и какие окончательные приметы». «А такие, — говорит, — ах, дочка, приметы, что он придет опять в командировку и в руках портфель, и шея красная, толстая, а на правой руке есть мизинец, и на том мизинце конец расплюсчен в железнодорожной катастрофе...»

Андрей Вавилыч судорожно схватил меня за руку. Он глядел на меня, разиня рот и выпуча глаза. Затем поспешно натянул на руку перчатку. Боже мой, я вспомнил, что мизинец у него на руке действительно смят и действительно в железнодорожной катастрофе несколько лет тому назад! Приведенный в крайнее удивление, я в ужасе ждал дальнейших слов шофера.

Но случилось так, что Бринза вдруг почувствовал к ней неожиданный прилив нежности и положил ей свою большую руку на колено. Она вся содрогнулась и потеряла третью примету. Мы же не имели



сил спросить. Когда сила сцепления несколько ослабла, девушка продолжала:

«И встретишь его,—говорит,—ты в полдень при цветенье урюка, когда каркнет свинья». И я так понимаю, что не узнаю отца и битва произойдет инкогнито. Вот, рассказывают, девушек скоро будут мобилизовывать, а он, наверное, уже у немцев, и там мне его придется резать!

Андрей Вавилыч, закутывая шею шарфом, сказал с усилием:

— Глупости все это. Промерзли, вот и верится. Вы бы, товарищ шофер, увеличили скорость машины. Нельзя же трое суток ехать!..

Хоржевский, весь посиневший от холода и еще более синев от притесняющих его воспоминаний, сказал:

— Извините, не глупости. Что мы видим на противоположной стороне? Весьма малое. Значит, предчувствия есть. Ну, вот, например, какой я посеренный, чтобы на меня распространялось предчувствие, а, тем не менее, я обуреваем предсказанием Юлия Цезаря. Чего смеетесь? Мой отец преподавал в средней школе историю и математику, и однажды, когда мой отец был холост, к нему во сне явился Юлий Цезарь и говорит: «За антимарксистское преподавание истории ты будешь наказан. Твой сын убьет твоего брата». Сон глупый, понимаю, но было в нем какое-то звучное сочетание слов, и отец поверил. Не пожелал жениться. Но течение сложилось так, что ему пришлось жениться. «А, вот как вы! — говорит мой отец. — Так я женюсь, но с ней сволотой, лично жить не буду!»

— Разве это возможно для человека? — в удивлении спросил Бринза.

— Мой отец был превыше человека. Это был, так сказать, наконецник в человеческом роде. Если он горел желанием, если он метил, — он исполнял! И что же вы думаете. Моя мать однажды на празднике поела квашеной капусты и с этого забеременела...

— Я не хочу оскорблять памяти вашей матери, — сказал Бринза, — но мне принцип дороже всего. При всяких возможностях можно забеременеть, но при квашеной капусте...

Андрей Вавилыч сказал встревоженно:

— Нет, я что-то слышал в таком роде, какой-то медицинский светил цитировал. Продолжайте, Хоржевский.

Хоржевский продолжал:

— Родила она. Тогда отец сказал: «Предсказание Цезаря исполняется. Но поскольку Муссолини и римляне в своей политике засыпались, я предполагаю обмануть Цезаря». И он взял да и переименовал фамилию, имя и отчество. Жил в Москве, а переехал в Самару. Но и этим он не удовлетворялся. Он из Самары отправился в Мурманск и здесь опять переименовал вывеску. Кроме того, насколько мне известно, он менял ее в Перми, Хабаровске и, последний раз, в Харькове, так что тени Цезаря не отыскать меня и не толкнуть мою руку, когда мой дядя будет чистить картошку в полдень, при цветении урюка, согласно программе, намеченной Цезарем моему отцу...

В разговор вступил Бринза.

— Любопытно, что во всех предсказаниях обстоятельства наши упираются в урюк и в родственников. Мне было такое пророчество. Оно возникло при юбилейном обеде в честь Григория Максимыча. Я лежал под столом, не потому, что напился или мне вообще нравилось лежать под столом, а оттого, что туда скатилась хорошая бутылка портвейна и я посчитал более удобным выпить ее под столом, нежели на столе. Ну, как бы там ни было, лежу я под столом, и вдруг поднимается скатерть, и я вижу лицо председателя нашего райпищестреста. Он говорит: «Там, где цветет сладость и зреет кокон, имеется дикий бык невероятной силы. Лягнет, — и трехтонка в сторону! Твой брат

там». «Да,—говорю,—он там занимается разведением быков». «Вот тут-то и заковыка. Я приказал моему брату заколоть этого дикого быка, а брат удержал его в своем стаде, надеясь на приплод бизонов, что ли. Не заколол. Бык, опираясь на безрассудство, вошел в полную ярость и произвел опустошения... Бринза! Я поручил поймать этого быка второму моему брату, но он соблазнился какой-то бабой и перешел в другую организацию. Бринза, ты поедешь, поймаешь его и, когда зацветет в полдень урюк...»

Андрей Вавилыч вмешался. Он сказал строгим голосом, ставя, как всегда, противников своих в тупик:

— С первого взгляда, все ваши предсказания производят кое-какое впечатление. Но приглядитесь. Лихорадочное состояние, вызванное тяжелой дорогой, объяснит все. Вы все разные, но почему-то у вас у всех одна установка — на урюк. При чем тут урюк? — думаешь ты тревожно. Вдумаешься. Все становится по местам. Урюк тут при том, что, вследствие отсутствия сладости, появляется раздражение, сопровождаемое видениями, конец которых упирается в урюк. Так что прицеливание ножом Груши, или попытка к уничтожению дяди, опираясь при этом на авторитет Юлия Цезаря, или же ваш бессмысленный бык, Бринза, который не может существовать в наш век автоматов и гранат, все это признаки хвораго, нездорового состояния... Вы потеряли самое важное для человека: способность идти против ветра, не испытывая тревожного ощущения. Смотрите на меня. Я — бодр, весел, здоров, воодушевлен желанием работы. А разве я не мог бы распуститься, разве у меня не было намеков...

Здесь нас подбросило и стукнуло головами о железную перекладину, поддерживающую брезент. Андрей Вавилыч замолчал, — и клучшему. Все-таки он ослабел, иначе чем объяснить, что он пустился в намеки, которые могли навредить ему. Дело в том, что ни Бринза, ни Хоржевский не знали досконально жизнь Андрея Вавилыча, как знал ее я. Наша жизнь прекрасна, против этого кто спорит. Но все же жизнь не поле, возделанное агрикультурой, где нет ни одного репейника. В настоящей жизни репейничек, хоть самый малюсенький, а прильнет к вам, если вы идете по жизненному полю бесстрашно.

Такие репейнички случалось подцеплять и Андрею Вавилычу. В ранней молодости он покинул жену и — с дочерью. Он потерял их из виду, — и не очень стремился найти. Имел он и брата, который был постарше и служил у графа Румянцева-Задунайского швейцаром, за что и претерпевал и даже, вынужденный скрыться, переменял фамилию, и даже раза два... короче говоря: неприятные и отвратительные намеки! Чем они вызваны? Откуда появились? Кто во что метит, кто чего домогается? Неприятнейший враждебный зачин, — и от кого он идет... Боль, едкая как от ногтоеда, терзала Андрея Вавилыча, но он молчал и любезно начальнически улыбался.

Степь волновалась. Туман и снег ходили по ее бурому пространству, закрывая от нас полосу могучей реки цвета незрелого винограда. Растительность, окаймлявшая ее, придавала движению реки решительное выражение.

Дорога расширилась и улучшилась.

На развилке возвышался искусно разрисованный фанерный щит с надписью, опережавшей все ваши выводы:

«ДАВНО ЛИ ЭТО МЕСТО БЫЛО БЕЛЫМ ПЯТНОМ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ, А ТЕПЕРЬ...»

Дух возбужденного времени наполнил нас. Мы забыли все, — дорогу, предзнаменования, вздохи. Не поездка, а проветривание!

Мы с удовольствием глядели, как мимо нас мелькают дома, лаза-
реты, вывески, ворота, беженцы, машины, электропоезда, скверы, где
деревья ушли погулять... Машина, радуясь веселости пассажиров, ле-
тела как на крыльях.

11.

Дандуков смотрел так, будто к нему приехал единокровный брат.
— Ну, Аврора, высунься из алькова! — кричал он своей жене, раз-
махивая широкими рукавами брезентового пальто. — Гости приехали.
Я готов всеми своими кореньями бухнуться перед вами, — приятно!..
Поди, с ног валитесь от усталости.

Андрей Вавилыч сказал:

— Горим, как факелы, желанием узнать строительство Соеди-
нения.

— Приятно, приятно! Насколько злюсь, когда в городе тревожат,
настолько радуюсь здесь всем инструкторам и контролерам. Значит,
не отдыхая, проводим прямую черту через все строительство, — и сра-
зу: итог.

— Одного мнения, — сказал Андрей Вавилыч.

— Люблю резвых и по кружке пива и по вторичному вызову на
суд. Ха-ха-ха!.. Аврора, ты с нами. Смотрите, моя газель идет с нами.
Руль под ветер!

И, подбоченясь, живой, веселый, ветреный, инженер Дандуков по-
вел нас по строительству. Он, казалось, был наполнен рвением распах-
нуть перед нами все двери, но я убежден, что они все оставались по-
луотворенными.

Андрей Вавилыч еще более, чем я, был настороже. Чем крылатее,
увлеченнее делался Дандуков, тем ниже прижимался к земле Ан-
дрей Вавилыч, тем сильнее отчуждался он.

— А, смекаете! Каково это предохранительное средство против
фашистского яда! — вопил инженер.

Андрей Вавилыч сухой и в то же время многозначительный, как
безводный спирт, сказал:

— Да, трудноато на невооруженный глаз провести прямую черту
через все строительство Соединения...

— Ну, бросьте! Мы поднимемся на гору, пока ее не снесли! Ха-ха-
ха! Три горы снесли, четвертую начали, поднимемся на пятую. Где
ваша машина? Впрочем, туда дорогу прокладывают, и надо на тележ-
ке. У меня есть великолепнейшая таратайка. В ней Иван Гончаров
возил свое белковое вещество и сохранил его! Садитесь. Хорошо? Ну,
еще бы. А ты, Аврора? Садись. Трогай. Ура!..

Мы проехали здание Лаборатории Академии Наук. Здесь, в от-
дельных комнатах, превращают горные породы в пыль, а затем раз-
глядывают в микроскоп. Что-то они там разглядели, я не знаю, но по-
пытка Андрея Вавилыча узнать о прошлом, — и, конечно, по намекам
и о том, сколько Александр Македонский добывал в этих местах желе-
за, — не увенчалась успехом. Служащие показали нам Библиотеку От-
четов, но это были не отчеты, а бесполезные распространители тревож-
ных для нас слухов.

Таратайка поднялась в гору. Раздался выстрел. Дандуков успокоил
нас, сказав, что это «вестовой», для того, дабы на соседней горе не
очень-то закладывали большие заряды для взрыва породы.

На горе было зябко. Мы подняли воротники пальто.

— Смотрите, как мало людей работает на Соединении!

— И людям бывает холодно,— сказал Хоржевский, стуча зубами. Дандуков сказал:

— Не в этом дело! Особенность строительства Соединения в том, что и снятие породы, и добыча руды, и плавка ее, и обработка металла производятся по самому последнему слову техники! Все технологические процессы от начала до конца механизированы. Хотите увидеть? Сейчас.

Он взглянул на часы.

— На соседней горе обурен забой и в воздух поднимется от 30.000 до 50.000 тонн породы. Внимание, через полминуты...

Хоржевский сказал:

— Вон я вижу навес. Здесь дует. Пойдемте туда.

— Кто же из-под навеса смотрит взнос породы! — воскликнул пыльный инженер. — Останемся здесь.

Но наш Хоржевский, несмотря на свою шуплость и бледность, умеет отстаивать интересы коллектива. Он уперся, или, вернее, мы не упирались, когда он, схватив нас за что попало, потащил под навес.

И — надо было идти!

Только мы там остановились, как почва под нами заколебалась, в голове загудело, как в часах с будильником, а на глазах появились бельма. Что-то ударило в нашу крышу, и весь навес словно бы углубился в землю.

Мы вставали, отряхивались.

Таратайку проскользнувшим сюда куском породы превратило в щепки, а лошади как и не было, порода словно проглотила ее. Хорошо, что на месте оказались столичные контролеры, которые и удостоверили этот редкостный факт пропажи, а то трудно было бы вывести его по акту.

— Прекрасно! — вскричал инженер Дандуков. — Приятное зрелище. Сто тысяч тонн подняли, не меньше. Это по случаю вашего приезда, товарищи!

— Странно, что, встречая, им захотелось одновременно проводить нас туда, откуда не возвращаются... — сказал Андрей Вавилыч.

Для инженера взрыв был какой-то отдушиной, где он глотнул самого живительного кислорода. Он сказал, приплясывая:

— А теперь — смотрите! Экскаватор начал вычерпывать вырванную породу. Гора уменьшается! А кто ее уменьшает? Единственный человек на этой машине: машинист. Аварий и перебоев у нас нет! Он уже вычерпал 7.885.964 тонны породы...

У горы бдительно наблюдали за нашими радостями и не желали нас лишать их. Раздался внезапно, без всякого вестового выстрела, новый взрыв. Нас перевернуло в воздухе столько же раз, сколько вычерпал тонн своим ковшом экскаваторщик.

Андрей Вавилыч со стоном приподнялся с земли и поглядел с надеждой на экскаватор. Он удирал от горы!

Андрей Вавилыч сказал:

— Поскольку экскаватор начерпался, мы пойдем обратно.

И у подножия он спросил:

— Если у вас такое тревожное место возле пустой породы, то что же делается у вас возле руды?

Инженер ответил:

— Здесь пока вообще черпают пустую породу, покрывающую богатейшее полиметаллическое тело, которое в состоянии будет обеспечить сырьем полностью все гигантское Соединение в течение 753 лет.

— Руды еще нет?

— Я повторяю вам: снимают породу! С минуты на минуту мы достигнем основного рудного тела...



- Сколько нужно снять породы?
- Около, порядка 293.000.000 тонн...
- Ориентировочно, в какой срок?
- Порядка от семнадцати до двадцати семи лет. Это — по оптимальному плану. Мы же дали обещание снять всю породу в семь месяцев.

Делалось все холоднее и холоднее, хотя заметных изменений в природе не наблюдалось. Мы еще не совсем спустились с горы, задержались на каком-то холме с множеством пробуровленных дырочек. Инженер показывал на постройки, краны, рельсы, а мне хотелось спать и есть, но я чувствовал, что все это от меня очень далеко.

Инженер с проворством шинкаря указывал всюду.

— Видите, — горы, дороги, курганы. Всюду — полиметалл. Что такое полиметаллические руды? Многометалльные! Свинцовый блеск — руда на свинец. Цинковая обманка — руда на цинк. Медный колчедан — руда на медь. Кварцевая жила — руда на золото. Но есть руды, которые, как любвеобильная женщина, дают все металлы сразу! Так вот, все что здесь лежит — руда, в которой одновременно заключается и железо, и олово, и медь, и молибден,

и свинец, и платина, и цинк, и вольфрам... Смотрите скорее, спешите, пока не опустился туман!

Он дал Андрею Вавилычу бинокль.

Но Андрей Вавилыч направил его не туда, куда указывал инженер, а в степь, куда медленно опускался иней.

Он смотрел долго.

Когда он опустил бинокль, я бы назвал лицо Андрея Вавилыча поучительным.

— Взгляните,— сказал он мне, подавая бинокль и указывая на один малоприметный пункт в степи.

Инженер заинтересовался:

— Разведывательные партии разглядываете?

Андрей Вавилыч сказал:

— Нет. Он охотник, а там стайка зайчиков резвится... Теперь разрешите задать вам вопрос о домнах. Вот вы предполагаете их строить не ввысь, а вниз, шахтой...

Пока инженер распространялся о новом проекте — домна, она же шахта,— я мог рассмотреть то, на что Андрей Вавилыч рекомендовал мне обратить внимание.

Несколько в сторону от Соединения, ближе к реке, на большом и почти ровном возвышении, я разглядел геометрические фигуры. Что это такое? Волшебный чертежник, что ли, вычертил их магической линейкой и циркулем белой чертой по коричневому фону равнины...

Раскинутая схема древнего города напомнила мне план Додоны в книге Ш. Дилия «По Греции», недавно показанный мне Андреем Вавилычем. Пропилен? Театр? Акрополь? Просветительные памятники? Строения, предназначенные для Оракула? Храм Зевса? Квадраты белых линий изображают дома? Толстая белая кайма — след крепостной стены?

И разве все это — не след «Александрии Крайней, Александрии на Танаисе, построенной 2271 год тому назад войсками Александра Македонского?..»

...Выглянуло солнце. Пригрело. «Это солнце,— подумал я не без гордости,— светило и ему, и светит теперь нам». Мысль взволновала меня. Я закурил папироску. Опять прилип к биноклю.

Что такое? Какой зубоскал, словно проведя огромной губкой по бурой доске степи, некстати стер меловые фигуры?

Я понял. Город давно уничтожен до основания, но сохранились каменные фундаменты зданий, и, когда иней покрывает равнину, он раньше всего ложится на камни более холодные, и тогда-то выступает контраст между белым инеем и коричневой землей! Но стоит лучам растопить иней, как все исчезает.

— Вечером техническая конференция? — слышится сдержанный голос Андрея Вавилыча. — Хотелось бы нам на ней присутствовать. Если уже знакомиться с техникой строительства и производства, то вплотную...

Во что значит — великий человек. Он увидел ни более ни менее как мечту. Он увидел Александрию на Танаисе! Для него из тьмы веков поднялась она, сверкая белыми линиями! Кого такое обстоятельство не привело бы в беспорядок. А он? Он не только сдержал себя, а и продолжал выщелачивать в щелочи своего контрольно-инструкторского поручения то, что ему подобало выщелочить, отделить от посторонних примесей, возвести в степень, или по стремительной кривой низвергнуть в ничтожество.

За обедом мы выпили по двести, да после обеда — по двести граммов водки, так что оно и набежало.

От водки люди впадают в задумчивость, разверзаясь во внешнее пространство, как лепестки цветка. Андрей Вавилыч — наоборот. Он если и трепетал лепестками воображения, то завивая их внутрь себя, становясь, во всех смыслах, неуязвимым. Любя просвещать умы, он после водки на вопросы просветительного характера склонен был отвечать с раздражением.

В глубине моей души мне очень хотелось узнать, что думает Андрей Вавилыч по поводу наших встреч и событий с нами с того момента, как мы покинули Город Двух Улиц. Именно поэтому я не стал приставать к нему с расспросами, надеясь, что в свое время беспокойство мое уляжется, разумеется, с его помощью. Я устремил свое любопытство на Бринзу, Хоржевского, Аврору Николаевну и Грушу, которая по просьбе Андрея Вавилыча была приглашена пообедать вместе с нами в столовой ГИТР — главных инженерно-технических работников. Между упомянутыми людьми развивались, на мой взгляд, не радужные, а, наоборот, досадные отношения, способные обеспокоить Андрея Вавилыча, а ему ли надо причинять огорчение сейчас, когда он занят напряженной умышленной работой!

Началось с того, что, — тупая на понимание, — Аврора Николаевна, хлобыстнув двести, одернула свое шелковое, затканное яркими фигурами облачение и устремила, как ей думалось, неотвержимый лучезарный взор на моего начальника. Кроме того, под столом она привела в действие свои ножки, предполагая очевидно перемешать их с черным шевитом, в который были облачены ноги Андрея Вавилыча.

Не тут-то было! Андрей Вавилыч немедленно сковал ее цепями своей логики, тонкой, но прочной, как полосовое железо. Он сказал:

— Профессор Эдгар Нептун сделал расчет, что если человечество будет удваиваться каждые пятьдесят лет, как оно удваивается теперь, то через семь тысяч лет от одной пары разведется людей столько, что, если бы их тесно прижать плечо с плечом по всему земному шару, то поместится на всем земном шаре только одна двадцать седьмая часть всех людей! Чтобы этого не было, похотливое стремление должно быть строго введено в рамки регламента, из расчета трудолюбия! (Голоса: «Браво, бис!») И недаром профессор Эдгар Нептун утверждает, что неиспорченному человеку всегда бывает и отвратительно и стыдно думать, а тем более говорить о половых отношениях. (Голоса: «Верно!» «Что? Повторите громче!»).

Аврора Николаевна, сверх ожидания, не умилилась этим словом, а разгневалась, отчего и, со всей искренностью, устремилась к Бринзе, мощное и ковкае тело которого, как известно, не обнесено стеной воздержания.

— Аврора Николаевна! Никак вы созвали нынче людей на совещание по вопросам культработы. Андрей Вавилыч, дорогой! Женка — лозинка: когда хочешь — похилишь. Не будем срывать ее работы, переносить совещание на завтра, но поскольку вы лично не сможете на нем сегодня присутствовать, ибо дали согласие быть на технической конференции, направим к Авроре Николаевне меня, я буду присутствовать...

— Дело — ответственное, коллективное, — сказал Хоржевский. — Одного — мало. Надо направить еще товарища...

— Вот вы оба и пойдете, — сказал Андрей Вавилыч.

Так как дальше произошли события, соединившие нас воедино,

как электросварка соединяет разнородные части, то я считаю необходимым пояснить кое-какие черты характера Бринзы и Хоржевского. Хоржевский, действительно, умея быстро контролировать наличие материального капитала и обороты его, мог вдобавок учить, как улучшить эти обороты, ибо, повторяю, мы не только контрольные работники, но и инструктора. Скажите же, мало этого? А вот Хоржевский был уверен, что мало. Ему, видите ли, мало учить, ему еще надо уметь и убеждать, а между учением и способностью убеждать — большая разница. Убедить других можно и в глупости, а учить глупости — труднее. Бринза — работник другого типа. Дарование его посредственно, знания — слабы, способность учить вяло развита. Это весьма обыкновенный человек, возможно, слегка повышенного телосложения. Правда, у него есть одно достоинство — он способен убеждать, но, к сожалению, в данное время это достоинство граничит с недостатком, так как он убеждает действовать людей в той области, которая в силу военных условий требует самого строгого отсутствия действий.

Когда возле них находится Андрей Вавилыч, который именно им доставлял полезные сведения, убеждал в их разумности, учил их, все шло хорошо, Бринза и Хоржевский были на месте; приросшие, так сказать, к нему, они действовали соразмерно направлению. Но стоило им взять инициативу в свои руки, как все скрепления ослабевали, и дотоле благосклонное лицо жизни искривлялось в непоправимой гримасе.

Так оно случилось и на этот раз. Бринза и Хоржевский, если и не срыли узкий перешеек, отделявший наше существование от материка существования всего коллектива, то, во всяком случае, сильно, почти непоправимо испортили его. Но начну по порядку.

Предчувствуя неприятности, я просил Андрея Вавилыча разрешить мне направиться вместе с Бринзой и Хоржевским на совещание культработников. Однако Андрей Вавилыч, увлеченный и заросший своими идеями, сказал мне, чтобы я не трещал у него под ухом, а шел вместе с ним, ибо я как историк должен идти туда, куда идет история.

На исходе дня началась конференция стахановцев и командиров Соединения, то есть: рудников, будущих домен и мартенов, будущих инструментальных, механических, кузнечных, сварочных и прочих цехов, станки которых уже стояли на подставках из бетона, под открытым небом, потому что зачем стены, когда скоро выйдет солнце, блистающее полгода в безоблачном небе. Все слегка опоздали, — из-за обеда и потому, что, придавая значение конференции, переодевались и брились бритвами не безупречной остроты, отчего речи, критические замечания и предложения ораторов шли слегка в замедленном темпе и в заикании, ибо, как известно, бритвенные порезы, особенно, если они глубоки, способствуют уменьшению крови, а значит, и ораторского жара. Впрочем, мы понимали и одобряли то, чего желали ораторы: добиться высокой, подлинно социалистической культуры в работе всех звеньев, всех творческих людей Поли-Соединения.

Я плохо слушал ораторов. Мысли мои витали там, — с Бринзой и Хоржевским:

А там произошло следующее.

Хоржевский пьет мало, и не знаю, какое возбуждение заставило его, помимо узаконенных четырехсот, влить в себя еще двести пятьдесят. Отсюда и все движения его получались без определенного намерения, во всяком случае, когда они вышли из столовой ГИТР. Он, не желая показаться равносильным Бринзе, начал командовать, — Бринза, по всегдашнему чувству надежды, — поверил ему.

— Направо! Еще раз направо. Куда, Бринза! Зачем вы коверкаете дорогу! Направо. И еще разик направо-о-о...

Он поднялся из канавы, вытер мокрое лицо и залепетал:

— Слушайте меня и процветете!.. Хорошая вещь сама говорит за себя. На-а-аправо и ... при частой перемене местопребывания всегда рекомендую вам идти направо... и вы всегда... ик, ик! всегда... ик, ик... Чертова икота!.. всегда найдете дорогу. А, что я вам говорил!

Они увидели приземистое здание, усердно впускающее в себя людей. Светящийся шарик, возвышающийся на конце столба, казалось, хотел потянуться по силе света с солнцем. Хоржевский любовался на мощь человеческого гения, прислонившись головой к столбу, и, затем, не без горести оторвавшись от него, вошел в клуб.

Хотя Аврора Николаевна еще не пришла, собрание уже открылось. Отложив основное течение своих мыслей до прихода Авроры Николаевны, какой-то дюжий мужчина говорил о каких-то заготовках колбасы, надо думать, для буфетов культучреждений. Прислушавшись к речам дюжего мужчины, Бринза почувствовал, что он совсем недавно понес какую-то невознаградимую потерю. Станным образом чувства эти относились и к нему самому, и к дюжему мужчине. Они разрешились в поцелуе, которым Бринза внезапно решил обменяться с этим мужчиной, изомерным с ним, Бринзой, по составу, но различного свойства:

— От имени комиссии, приехавшей из центра, — сказал Бринза, отодвигая оратора в сторону и сам становясь на его место, от имени Андрея Вавилыча как возглавителя благодарю вас за проделанную работу. Товарищи, награда близка, поскольку дело идет о чести, о чести нашей, которым поручен выпуск в обращение честных людей...

Аплодисменты. Бринза поклонился. Собрание ему понравилось. Во-первых, все как на подбор, гренадеры. Лица не лица, шеи не шеи, ноги не ноги, а сплошной разлив неукротимой мощи. Вот эти люди едят так едят! Вот эти люди наслаждаются так наслаждаются! Ура этим людям. Бринза поклонился им еще раз и сказал со всем нанисправнейшим доброжелательством, на которое он был только способен:

— Ура вам, товарищи! Задавайте вопросы.

От этой манеры оратора, служащей введением во что-то грандиозное, собрание оторопело, и только самый маленький, спичечный голосок осмелился вторгнуться в эту, казалось бы, неразрушимую тишину:

— Разрешите задать вопрос, на ваш высокий взгляд, может быть, и маловажного значения, но крайне важный для нас. Что нам преимущественно заготавливать?

Бринза задумался. Ему было приятно думать, глядя на это тесное помещение, заполненное милыми, прямыми и безукоризненно чест-



Вс. ИВАНОВ.

ными людьми, которые с такой безупречностью задают ему вопрос, где готовы ему подчиниться.

И Бринза сказал:

— Товарищ спрашивает: что вам преимущественно заготовлять. Я отвечаю. Заготовляйте — блины. Да, блины. Я вижу у вас мало блинов, а кто в нашей стране не любит это скромное и всем доступное яство? Кто, спрашиваю я вас, кто откажется, если добавить к блинам литр ЕЕ, настоящей на почках черно-красной смородины, кто?

Он скромно отклонил от себя бурю аплодисментов, переходящих в овацию, стер со щек следы ирригации, которую там пытались навести его беспокойные глаза, и продолжал:

— Товарищ, быть может, спросит: какие блины, и этот вопрос, обращенный ко мне, как к центральному работнику, я считаю вполне уместным и даже необходимым. Блин бывает обыкновенный, бывает и гречневый, но я рекомендовал бы вам обращаться преимущественно к услугам молочного блина, на сущности которого и останавлиюсь. Что такое — молочный блин? Откуда такое игривое название? Для того, чтобы разгадать эту загадку, над которой бились много математиков и тригонометров, мы разложим блин на составные части. Как он готовится? Ты отнимаешь у десятка яиц белки и отводишь их в сторону, а что касается желтков, то ты их кладешь в кастрюлю, куда и прибавляешь полкило круписчатой муки и четверть кило сливочного масла. Все это ты растираешь и разводишь в пропорции со сливками, откуда блины и получили название молочных, ибо сливки идея молока, символ его! Здесь ты берешься за белки.. нет, они не пропали, отнюдь! Ты эти белки ввергаешь в скатанное тесто, прибавляешь туда корицы и померанцевой цедры и пекешь, пекешь на сковородке, ого-о! Сковородка у тебя с ручкой, ты поворачиваешь, все стороны подрумянились, и ты кричишь сынишке: «Митька, сукин сын, наливай стопку водки в сто грамм!»

Мертвенную тишину зала прорезал упойтельно сладкий голос:

— Сто грамм не оросит, двести.

Публикация Т. В. ИВАНОВОЙ.



Белла АХМАДУЛИНА

О з н о б

Хвораю, что ли,— третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.

Надменный мой сосед по этажу
и тот вскричал:

— Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Станный ваш недуг
колеблет стены и сквозит повсюду.

Моих детей он воспаляет дух
и по ночам звенит в мою посуду.

Ему я отвечала:

— Я дрожу
все более без умысла худого.

А впрочем, передайте этажу,
что вечером я ухожу из дома.

Но этот трепет так меня трепал,
в мои слова вставлял свои ошибки,
моей ногой прилясывал, мешал
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролет,
следил за мной брезгливо, но без
фальши.

Его я обнадежила:
— Пролог

вы наблюдали. Что-то будет дальше?!
Моей болезни не скучал сюжет!
В себе я различала, с чувством
скорбным,

мельканье диких и чужих существ,
как в капельке воды под микроскопом.
Все тяжелей меня хлестала дрожь,
вбивала в кожу острые гвоздочки.
Так по осине ударяет дождь,
наказывая все её листочки.
Я думала: «Как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и резвятся!
Мое же тело, свергнув власть мою,
ведет себя свободно и развязно.
Оно все дальше от меня! И вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?»
Все это мне не нравилось.

Врачу
сказала я, хоть перед ним робела:
— Я, знаете, горда и не хочу
сносить и впредь непослушанье тела.
Врач объяснил:

— Ваша болезнь проста.
Она была б и вовсе безобидна,
но ваших колебаний частота
препятствует осмотру — вас не видно.
Вот так, когда вибрирует предмет
и велика его движений малость,
он зрительно почти сведен на нет
и выглядит, как слабая туманность.
Врач подключил свой золотой прибор
к моим приметам неопределённым,
и острый электрический прибор
охолодил меня огнем зелёным.
И ужаснулись стрелка и шкала!
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
Последовал предсмертный всплеск

стекла,
и кровь из пальцев высекли осколки.
Встревожься, добрый доктор, оглянись!
Но он, не озадаченный нимало,
провозгласил:

— Ваш бедный организм
сейчас функционирует нормально.
Мне стало грустно. Знала я сама
свою причастность к этой высшей
норме.

Не умещааясь в узости ума,
плыл надо мной её чрезмерный номер.

И, многозначной цифрою мытарств
наученная, нервная система,
пробившись, как пружины сквозь

матрац,
рвала мне кожу и вокруг свистела.
Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.

В конце концов казалось: к черту!

пусть
им захлебнусь, как Петербург Невою!
А по ночам — мозг наострится, ждет.
Слух так открыт, так взвинчен

тишиною,
что скрипнет дверь иль книга упадет,
и — взрыв! и — все! и — кончено

со мною!
Да, я не смела укротить зверей,
в меня вселённых, жрущих кровь

из мяса.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча вдруг, вспыхнув,
гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.

Я — всё собою портила! Я — рай
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,
и с мудростью, цветущей в человеке,
как музыку по потным запятым,
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом
целебным поцелуем валерьяны,
и медицина мятым языком
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд
он поздравлял меня с выздоровленьем
через своих детей и, говорят,
меня хвалил пред домоуправленьем.

Я отдала визиты и долги,
ответила на письма. Я гуляю,
особо, с пользой делая круги.

Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души,
и стол мой умер и под пылью скрылся.

Уставили во тьму карандаши
тухие и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,
мой каждый шаг медлителен,

стреножен.

Все хорошо! Но по ночам меня
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,

но зря ему я голову морочу,

ведь всё, что он лелеял и лечил,

я разом обожгу иль обморожу.

Я, как улитка в костяном гробу,
спасаюсь слепотой и тишиною,
но, поболев, пощекотав во лбу,
рога антенн воспрянут надо мною.
О, звездопад всех точек и тире,
зову тебя, осыпья! Пусть я сгину,
подрагивая в чистом серебре
русалочьих мурашек, жгущих спину!
Ударь в меня, как в бубен, не жалея,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я — балерина музыки твоей!
Щенок озябший твоего мороза!
Пока еще я не дрожу, о нет,
сейчас о том не может быть и речи.
Но мой предусмотрительный сосед
уже со мною холоден при встрече.



Константин ВАНШЕНКИН

Посылаю, как обещал, два стихотворения для номера, гонорар за который пойдет на восстановление Ташкента.

Радуюсь вашей бодрости душевной и телесной, радуюсь вдвойне, потому что эти качества, конечно, особенно важны в вашей теперешней многотрудной жизни.

К. Ваншенкин

30.8.66.



В метро

Стояли как бы среди сна,
Ограждены подземным гулом,
С сиренью крупной она
И он с потрепанным баулом.

Из мрака поезд шел, змеясь,
Но словно не было им дела,
Открыто плача и смеясь,
Она в лицо ему глядела.



Николай ПАНЧЕНКО



Ташкент Братская 29
Редакция Звезда Востока
Печатайте безгонорарном номере мою балладу

Панченко Н

Баллада о расстрелянном сердце

Я сотни верст войной протопал.
С винтовкой пил,
С винтовкой спал.
Спущу курок, и пуля — в штопор,
и кто-то замертво упал.

А я тряхну кудрявым чубом,
иду, подковками звеня,
и так владею этим чудом,
что нет управы на меня.
Лежат фашисты в поле чистом,
торчат крестами на восток.
Иду на запад по фашистам,
как танк, железен и жесток.
На них — кресты
и тень Христа.
На мне — ни бога, ни креста!
«Убей его!» —

и убиваю.
Хожу, подковками звеня.
Я знаю: сердцем убываю,
И вот — нет сердца у меня!..

А пули дулом сердце ищут.
А пули-дуры свищут, свищут...

Ах, где найду его потом я,
исполнив воинский обет?
В моих подсумках и котомках
для сердца места даже нет.
Куплю плацкарт
и скорым — к маме,
к какой-нибудь несчастной Мане,
к вдове, к обманутой жене:
— Подайте сердца!
Мне хоть малость! —
ударюсь лбом,
но скажут мне:



Оно — с твоим, под Стрыем, в Истре,
на польских шляхах рой песок:
на свист свинца — в свой каждый
выстрел
ты сердца вкладывал кусок!
Ты растерял его, солдат.
Ты расстрелял его, солдат.
И так владел ты этим чудом,
что выдюжил, повергнув рать!..

Я долго, долго буду чуждым
ходить и сердце собирать.
— Подайте сердца инвалиду!
Я землю спас, отвел беду! —
Я с просьбой этой, как с молитвой,
живым распятием иду.
— Подайте сердца! — стукну в сенцы.
— Подайте сердца! — крикну в дверь.
— Поймите: человек без сердца
куда страшней, чем с сердцем зверь.

Меня «Мосторг» переоденет,
И где-то денег даст кассир.
Большой и загнанный, как Демон,
в пустынности избытка сил,
я буду кем-то успокоен:

— Какой уж есть, таким живи...
И будет много шатких коек
скрипеть под шаткостью любви.
И, верно, в чьей-нибудь квартире
мне скажут:

— Милый, нет чудес!
В скупом послевоенном мире
всем сердца выдано в обрез...





Андрей ПЛАТОНОВ

ГОЛОС ОТЦА

Пьеса в одном действии

Писательская судьба Андрея Платонова оказалась на редкость трудной: слишком многое из написанного им пришло и приходит к читателям с великим запозданием, годы спустя после его смерти. И все же Платонов-прозаик вошел в историю советской литературы давно и прочно; как драматург, однако, он остается почти вовсе неизвестным. Между тем он пытался сотрудничать с театром неоднократно — в его архиве сохранилось несколько пьес, созданных в разные годы. Интерес к драматургии не оставлял его никогда. Среди вещей, над которыми он работал в последние месяцы жизни, тоже есть пьеса — незаконченная сатирическая комедия «Ноев ковчег»...

Драматургическое наследие Андрея Платонова включает три одноактные пьесы. Одну из них, любезно предоставленную для этого номера нашего журнала вдовой писателя Марией Александровной Платоновой, мы предлагаем вниманию читателей.

Небольшая вещь эта для Платонова очень типична. Вероятно, ее нелегко сыграть на сцене: большая часть пьесы — не что иное, как монолог, вернее, диалог человека с самим собою, со своей памятью, своей совестью, своим собственным внутренним голосом, вынесенным, как говорят в кино, «за кадр»...

Кто-то назвал платоновскую прозу прикосновением к обнаженному сердцу. Это хорошо сказано, и именно «обнажение сердца» составляет сущность платоновского художественного метода. Тут нет разделения на видимое и домысливаемое, на внешнее действие и внутреннюю жизнь: эта внутренняя жизнь — перед нами, и как раз здесь кроется секрет платоновского стиля, непохожего ни на какой другой. Это ведь не просто то, что принято называть «сказом», не стилистическая подмена автора персонажем, хотя бы частичная; иначе говоря, это не просто прямой разговор человека с другими людьми. Нет, это разговор человека с самим собой.

Но обнаженное человеческое сердце нуждается в особой защите. И отсюда возникает вторая стихия платоновского творчества. Мощное сатирическое дарование Платонова — это продолжение его пронзительной любви к людям, естественная ненависть ко всему, что мешает человеку жить на земле, мешает ему строить свое прекрасное завтра. Это диалектическое «люблю-ненавижу» раскрывается в творчестве Платонова с редкой полнотой и откровенностью, и маленькая пьеса «Голос отца», которую прочтет читатель, весьма в этом смысле характерна.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

1. Яков.
2. Бывший служащий.
3. Милиционер.

Кладбище. Железная низкая решетка. За решеткой — у изголовья могилы — вертикально поставленный тесаный камень с надписью: «Александр Спиридонович Титов. Инженер. Продолжатель дела Уатта и Дизеля. Скончался в 1925 году, жития его было 33 лет и 3 месяца. Мир праху твоему, великий труженик для облегчения участи людей».

У могилы — старое дерево. На могиле несколько жалких жестяных цветов, издавна оставленных здесь. На втором плане видны такие же надмогильные камни и деревья. Вечернее время. Кладбище пусто.

Появляется Яков, юноша лет девятнадцати-двадцати. Он входит за решетку, на могилу отца. Молчание.

(В дальнейшем идет диалог между сыном, Яковым, и отцом его, говорящим через сердце Якова, — голосом, однако, того же сына; то есть, Яков говорит, спрашивает и отвечает сам себе, но в голосе сына и отца есть все же разница, хотя эти два голоса и принадлежат одному реальному человеку — Якову, и «голос отца» по существу голос того же Якова. Играть на сцене «голос отца» другому актеру не следует, потому что это будет грубой художественной ошибкой, которая придаст сцене мистический оттенок, тогда как эта сцена должна быть совершенно реалистической. Впрочем, может быть, «голос отца» как раз следует играть другому актеру).

ЯКОВ. Отец, зачем ты умер? Зачем ты лежишь здесь один в могиле? Все равно ведь я люблю тебя!

Краткое молчание.

ГОЛОС ОТЦА. Меня здесь нет, дорогой мой. Могила под тобой пуста.

ЯКОВ. А где же ты? Я к тебе пришел...

ГОЛОС ОТЦА. В могиле никого нет — в ней земля, и что в нее входит — тоже становится землей. Но земля обращается в цветы и в деревья — и уходит через них на свет из темноты могил.

ЯКОВ. Но где же ты теперь, отец?

ГОЛОС ОТЦА. Я в твоём сердце и в твоём воспоминании, — больше меня нигде нет. И ты — моя жизнь и надежда, а без тебя я ничтожней того праха, который лежит под этим могильным камнем, без тебя я мертв навсегда и не помню, что был живым.

ЯКОВ. Папа, а как ты будешь жить, если я тоже умру когда-нибудь, как ты?

ГОЛОС ОТЦА. Тогда я исчезну вместе с тобой. Без тебя я существовать не могу.

ЯКОВ. Но я часто забываю тебя, отец, и мое сердце бывает пустым, — где ты тогда живешь?

ГОЛОС ОТЦА. Я живу тогда в твоём забвении и ожидаю твоего воспоминания обо мне.

Краткое молчание.

ЯКОВ. Папа! А зачем тебе еще жить, когда ты уже умер? Раз ты умер, больше тебе ничего не надо... Значит, ты опять хочешь жить?

ГОЛОС ОТЦА. Нет, жизнь моя окончена. Больше я жить не могу и не буду — я умер. Но я хочу остаться в тебе памятью и слабым теплом, чтобы ты думал иногда обо мне и утешался, когда тебе бывает трудно.

ЯКОВ. А зачем тебе так жить, — тебе разве нужно?

ГОЛОС ОТЦА. Мне ничего не нужно... Но я хочу сберечь тебя от горя, от ненужного отчаяния и от ранней гибели, — от всех бедствий жизни, которые с тобой могут случиться. Поэтому я живу тебе на помощь.

ЯКОВ. Ты живешь не сам для себя, ты из-за меня?..

ГОЛОС ОТЦА. Я ради тебя томлюсь, чтобы ты не изменил мне. ЯКОВ. Папа, как же я могу изменить тебе? Ты уже умер, а я жив.

ГОЛОС ОТЦА. Это верно. Но ты можешь мне изменить, и твоя измена будет самой страшной для меня, потому что я мертв и беспомощен, я уже не могу бороться, я лишь слабый свет в тебе.

ЯКОВ. Я чувствую тебя, я знаю этот далекий смутный свет, когда думаю и тоскую о тебе. Но я не могу тебе изменить.

ГОЛОС ОТЦА. Нет, можешь.

ЯКОВ. Почему, отец?

ГОЛОС ОТЦА. Посмотри вокруг себя. Здесь одни могилы. И в них люди. Все они,— и тот, кто умер уже старым и кто молодым,— все они умерли, не узнав истинной жизни. Все они, мертвые, что лежат в этой земле под тобою, умерли не потому, что тело их утомилось от счастья, а ум от истины и сердце от славы жизни. Не потому. Нет, мы не знали ни счастья, ни истинного удовлетворения от своей работы и от своих страданий. Но мы тоже хотели создать великий мир благородного человечества, и мы чувствовали себя достойными его. Мы спешили работать, мы воевали, мучились и болели, мы устали и умерли...

ЯКОВ. Я все знаю это, папа...

ГОЛОС ОТЦА. Мы верили в прекрасную душу человека. Мы жили на свете, как больные, как в бреду. Мы собирались друг с другом и согревались один от другого. Жили мы или нет? Я не помню. Все прошло слишком быстро, как в детском сновидении, я помню лишь свою муку, однако и ее теперь забыл и простил... Но мы сделали кое-что в жизни: мало, но сделали. Мы верили в лучшего человека,— не в самих себя, но в будущего человека, ради которого можно вынести любое мучение. И мы передаем вам, своим детям, эту надежду, больше нам некому ее передать. А вы не должны изменить нам. А если и вы нам измените, тогда сравняете наши могилы.

ЯКОВ (*улыбаясь*). Папа! Ты умер давно. Ты не знаешь, что теперь на свете. Твоя работа по экономии топлива в машинах сэкономила миллионы тонн мазута, и мама получает пенсию. Если бы ты был живым, ты был бы счастливым...

ГОЛОС ОТЦА. Не знаю, был бы я счастливым... Твоя мать говорила, наверное, тебе, как это было трудно сделать,— мало сжигать топлива и получать много энергии... Нет, сделать это было легко, даже весело. Я хочу сказать, что не природа враг человека,— разгадать ее, использовать ее свойства на добро для человека нетрудно. Но как было мне мучительно доказывать людям, где их выгода, как трудно облегчить участь людей! Я в тюрьме сидел за это.

ЯКОВ. Кто же враг человеку?

ГОЛОС ОТЦА. Другой человек.

ЯКОВ. А кто друг?

ГОЛОС ОТЦА. Тоже человек. Вот в чем тягость и печаль жизни. Если бы против людей стояла одна природа, тогда бы осталась одна простая и легкая задача.

ЯКОВ. Мама мне говорила, как тебе было тяжело работать. Я это знаю.

ГОЛОС ОТЦА. Я был идеалистом — я думал, что людям будет лучше, если на одну лошадиную силу в час потребуется всего полтора-ста граммов мазута.

ЯКОВ. Людям стало лучше, ты думал правильно.

ГОЛОС ОТЦА. Не знаю, как у вас теперь. Но я знаю, что я думал неправильно, я ошибался. В руках зверя и негодяя самая высокая техника будет лишь оружием против человека.

ЯКОВ (*в волнении*). Ты прав, отец! Так делают теперь враги лю-

дей, но мы их раздавим, потому что самая лучшая техника — это высший человек, а высший человек живет у нас, в Советском Союзе.

ГОЛОС ОТЦА. Высший прекрасный человек — вот в чем тайна, которую мы не могли открыть и поэтому мы умерли в тоске...

Краткое молчание.

ГОЛОС ОТЦА. Мой отец родил меня и велел быть только добрым и терпеливым. А я хотел, чтобы ты стал знающим и смелым. Но ты должен теперь стать мудрым и счастливым. Ты должен быть моим идеалом! Но кто поможет тебе быть таким человеком и будет ли это так? Ведь я, твой отец, мертв и бессилен...

ЯКОВ (*встает на ноги*). Так будет отец! Если даже мне придется бороться со всем миром, — если люди устанут, озвереют, одичают и в злобе вопьются друг в друга, если они позабудут свой смысл в жизни, — я один встану против них всех, я один буду защищать тебя и самого себя!

ГОЛОС ОТЦА. Ты погибнешь тогда, мой мальчик.

ЯКОВ. Но ведь ты тоже погиб!.. Что тут страшного — умереть? Посмотри — сколько лежит вас, мертвых, здесь! Вы ведь все вытерпели смерть.

ГОЛОС ОТЦА. Умереть не страшно. Ты не бойся смерти: это не больно.

ЯКОВ. Я знаю.

ГОЛОС ОТЦА. Ты не знаешь, ты еще не умирал.

ЯКОВ. А я все равно знаю, потому что не боюсь смерти.

ГОЛОС ОТЦА. Ты прав, мой сын. Я люблю тебя сейчас еще больше. Уходи с моей могилы и живи, я буду теперь навсегда мертвым и спокойным. Ты не изменишь мне никогда, и в этом будет моя вечная жизнь.

ЯКОВ. Спи, отец, вечно в земле. Прощай.

Яков склоняется к могиле и целует землю.

В это время на соседней могиле появляется человек — бывший служащий стройразбортреста; этот служащий слегка подкапывает надмогильный камень лопатой, сворачивает камень и кладет его на землю; затем он раскачивает железную решетку — ограду. Яков молча наблюдает за этим служащим. Служащий оставляет решетку соседней могилы, перелезает на могилу отца Якова и начинает подкапывать лопатой надмогильный камень-памятник.

ЯКОВ. Брось лопату! Что ты делаешь? Здесь мой отец лежит!

СЛУЖАЩИЙ. Тут покойник. Я его не достану, он мне ни к чему.

ЯКОВ. Зачем вы это делаете?

СЛУЖАЩИЙ. Так велели. Камень и железо в утиль, деревья на корчевку, могилы сравнять в ничто, а сверху потом парк устроят — карусели, фруктовая вода, на баянах заиграют, девки придут и лодыри с ними — на отдых, и ты приходи тогда, — чего на могиле торчишь? — а сейчас ступай отсюда прочь, дай нам управиться!

ЯКОВ (*в недоумении*). А зачем на кладбище парк культуры устраивать? Кругом же пустая степь, там свежая земля!.. Там и надо парк делать.

СЛУЖАЩИЙ (*трудясь с лопатой*). Стало быть, что вот как раз так надобно, что именно тут, там в степи неинтересно, там взять нечего, а тут — и железо, и камень, и деревья, и венки из жести — всякий инвентарь.

ЯКОВ. Ну и что ж такое, что железо! А оно ведь ржавое все, а камни ничего не стоят, а деревья — на дрова только, они старые и кривые...

СЛУЖАЩИЙ. А все-таки нашему государству и тут доход... Чего тут железу и камням зря находиться! Покойники в земле давно со-

прели, родня их — какая выросла, какая сама скончалась, — и уж считай, что про мертвых забыла...

ЯКОВ. А я не забыл вот!..

СЛУЖАЩИЙ. Ну ладно — не забыл! Памятливый какой! Дай кладбище уберем, и ты все позабудешь: места тогда, где сейчас стоишь, не найдешь: тут ферверок будет иль квас по кружке отпускать — от жажды... А родня покойников, которая жива еще, сама придет плясать сюда, — кому тут плакать, кого помнить!.. Понял теперь?

ЯКОВ (*удивленно*). Нет!

СЛУЖАЩИЙ. Потом поймешь, когда привыкнешь — не враз!.. (*Ворочает надмогильный камень, слабо сдвигая его с места.*) Ишь ты, дьявол, неподатливый какой! Смешно и забавно тут будет! Мороженое, компот в чашках, двор смеха в загородке. Я в Туле бывал и все видел... И тут же силомер и труба на звезды глядеть: где, что и как там, отчего все произошло и куда потом денется; оказывается, мы все из тумана явились — так выходит по науке, — да пускай из тумана, нам одинаково! А дальше (*Служащий оставил на время работу и жестикулирует, полный воображения будущего*), дальше — вон видишь где — буфет откроют; харчи, напитки, вафли, простокваша, блины — что хочешь! Тут целый парад красоты будет, тут прелесть что такое начнется! А ты что стоишь? Говори — хорошо ведь получится?

ЯКОВ (*заслушавшись — в изумлении*). Хорошо.

СЛУЖАЩИЙ (*принимаясь за работу*). А камень этот в фундамент пойдет, железо в переплавку, — глядь и фабрика новая стоит. Ну, конечно, если сырья не хватит, то она работать не будет. Неважно — мы подождем и потерпим... (*Валит на землю надмогильный камень.*) А я здесь силомером буду заведовать, либо конфеты в бумажки заворачивать — легкая чистая работа! Туда-сюда, и день прошел, и не уморился, и деньги заработал, и сыт по горло: везде же знакомство: и на кухне, и в буфете — где пирожок возьмешь, где жамку, где шей похлебаешь... Так и жизнь проживешь — незаметно, а приятно, в полный аппетит, культурно, с удовольствием! (*Поет и приплясывает.*) Ту-ру-ру, ту-ру-ру!.. (*Останавливается.*) Чего еще надо? Ничего. Достаточно.

ЯКОВ (*ожесточившись*). Пошел прочь отсюда!

СЛУЖАЩИЙ. Чего?

ЯКОВ. Ничего. Достаточно. Прочь отсюда — с могилы моего отца!

Яков выхватывает лопату из рук Служащего и бросает ее в сторону.

СЛУЖАЩИЙ. Не трожь мой инвентарь. Ответишь!

Он вынимает из бокового наружного кармана свисток и свистит в него, вращаясь во все стороны.

Тогда Яков берет этого человека поперек и кидает его вон через железную ограду вместе со свистком, не переставшим свистеть. Исчезнув со сцены, человек со свистком свистит еще некоторое время, потом умолкает.

Яков — один.

ЯКОВ (*в землю*). Отец!

Молчание.

ЯКОВ. Я буду жить один — ради вас всех, мертвых.

В земле — молчание.

Приходит милиционер.

МИЛИЦИОНЕР. Кто здесь сигналы подавал?

ЯКОВ (*в сторону исчезнувшего Служащего*). Вот тот человек. Он здесь сначала могилы хотел сравнять с землей, а потом в свисток засвистел.

Милиционер уходит в сторону, затем возвращается обратно со Служащим.

МИЛИЦИОНЕР (*к Служащему*). Это вы тут памятники валяли навзничь?

СЛУЖАЩИЙ. Это мы. Это мы ради культуры, товарищ начальник, мы сперва разбираем все негодное, собираем сырье, а затем уж строим.

МИЛИЦИОНЕР. Вон как. А это не вы в пригородном районе кузницу сломали, а из кузницы баню построили? А потом увидели, что кузница тоже нужна,—тогда разобрали баню и опять построили кузницу? И так разбирали и строили,—то баню, то кузницу, пока весь материал у вас не истратился в промежутках, и тогда бросили строить—не из чего стало. Это вы были, ваша организация?

СЛУЖАЩИЙ. Все может быть, товарищ начальник: это мы. Мы любим строить красоту и пользу из утиля!

ЯКОВ (*к Служащему*). Кто вы такой—дурак или вредитель?

СЛУЖАЩИЙ. Дураков нету, товарищ родственник покойного, есть пережитки сознания капиталистического периода в головах отдельных честных граждан, а это не вредительство. Это не считается. Не смей клеветать на меня! А то ответишь! Вы сами ударили меня недавно моим больным телом о землю!

МИЛИЦИОНЕР. Свидетелей не было, доказать нельзя... Кто вам поручил разрушать кладбище?

СЛУЖАЩИЙ. Не разрушать, а постепенно, исподволь подготавливать его территорию на предмет будущей утилизации под парк культуры, искусства и отдыха, где бы люди, отдыхая, приобретали себе неутомимость...

МИЛИЦИОНЕР. Кто вас заставил это делать? Ваше учреждение?

СЛУЖАЩИЙ. Отнюдь нет, товарищ начальник...

МИЛИЦИОНЕР. Я не начальник...

СЛУЖАЩИЙ. Я вижу по вашим способностям, что вы не простой милиционер,—нечего вводить меня в кажущееся заблуждение. Стыдно, товарищ милиционер... Я сейчас временно нигде не служу и директив не получаю, я вроде как в отпуске, но я организовал местную общественность своего треста с целью проявить инициативу, так как я не устал. И наша общественность поручила мне озаботиться обследованием кладбища, а также нежилых оврагов и пустошей—для вышеуказанной цели...

МИЛИЦИОНЕР. Сколько у вас общественности?

СЛУЖАЩИЙ. Инициативной общественности по данному вопросу у нас двое, а я из них самый первый. Мы постановили между собой украсить наш город.

МИЛИЦИОНЕР. Хорошо. Завтра вы посадите живые цветы на этих могилах своими силами и за свой счет. А сейчас—подымите все памятники, которые вы повалили, и оправьте могилы, которые вы топтали.

СЛУЖАЩИЙ (*с полным, мгновенным усердием*). Есть, товарищ начальник! Сейчас же все будет сделано в самые сокращенные сроки!.. Я полагаю теперь, что здесь навсегда должно остаться кладбище, а парк культуры и отдыха мы планируем на пустоши.

Служащий с яростной работоспособностью принимается за восстановление повергнутых им памятников.

ЯКОВ (*милиционеру*). Отправьте его куда-нибудь на пустошь навсегда.

МИЛИЦИОНЕР. Го! А после него и пустоши не будет!

ЯКОВ. Ну, в тюрьму!

МИЛИЦИОНЕР. Тоже не годится. После него тюрьму придется ремонтировать.

ЯКОВ. А куда же его?

МИЛИЦИОНЕР. Сам износится в своей суете. Чадам изойдет и исчезнет. Ведь не каждый гражданин бывает человеком, товарищ! До свиданья!



Живой поток

В Москве —
в который раз за долгий срок! —
мы самый главный праздник отмечаем...
Течет по Красной площади поток,
течет, течет — широк и нескончаем.
Волна проходит следом за волной,
единством ритма радуя до дрожи
тех,
чьи виски покрыты сединой,
и тех,
кто на десятки лет моложе.
В пути мы не бросали якоря,
мы шли вперед, Отчизна дорогая,
прославленному стягу Октября
и партии
на верность присягая...
Народному потоку нет конца,
он движется, знаменами алея, —
несет он благодарные сердца
к стене Кремля,
к трибуне Мавзолея.
Течет из городов и деревень
живой поток бессмертного народа,
благословляя незабвенный день,
осенний день
Семнадцатого года.

A. Zharov
25/XI. 66.

Осип КОЛЫЧЕВ

По поводу участия в безгонорарном номере.

Обе руки поднимаю, я — за!

За это участие!

Посылаю Вам большой лирический цикл, отберите то, что Вас заинтересует. Гонорар отдаю в фонд восстановления Ташкента.

О. Колычев

15 октября 66.



ШАРТРСКИЙ СОБОР

Здесь строился собор

в средневековой мгле...

«Что делаете вы?» —

строителей спросили...

Один сказал:

«Мы роемся в земле,

Мы утопаем

в океане пыли...»

Другой сказал:

«За несколько монет

Мы мучимся:

была б семье опора...»

А третий гордо произнес:

«О нет!

Мы строим стены

Шартрского собора!»

Пусть равнодушный,

чопорно суров,

Не устает просчеты наши

числить —

Мы строим коммунизм!..

Величаем этих слов

И наши дни

мне хочется осмыслить.

BOOK

Ты не хвастайся твердостью,
греческий мрамор,
Бронза римская,
прочностью ты не кичись!
Что пред вами
пчелиная нежная рама,—
А меж тем, у нее,
у нее поучись!
Сколько раз мрамор падал
и бронза кололась,
Когда сгустками молний
сверкал небосвод,
А в фонограф
записанный лепинский голос
В слабом, тающем воске
живет и живет!

ДВЕ СЕСТРЫ

Ты на розинку посмотри,
Хотя б на листья земляники,
И со слезинкою сравни-ка:
Они —
как две родных сестры.

Прозрачна и кругла одна,
В ней солнца зыблется сиянье.
Другая же обречена
Людские преломлять страданья.

Еще владычествует страх
И голод правит на планете...
Полчеловечества в цепях
И в рабстве изнывают дети...

И вдовы плачут в нищете,
Тюремный камень жжет слезинка,
А рядом —
на сквозном листе
В своей беспечной красоте
Переливается росинка.

И ты, поэт, изобрази,
Когда подходит час грозовый,
Не мир росы,
а мир слезы,
Неумолимый
и суровый!

Желаю вам всего самого доброго и никаких толчков!

Ю. Казаков
40 лет. Ав. Таруса

В мае, в счастливую пору...

(Из 2-й части „Северного дневника“)

А ночь все длилась, длилась... Вдруг я увидел метрах в ста, за частоколом леса тень, которая мне в первое мгновение показалась длинной, как веретено, от быстрого полета. Тень пропадала и появлялась, описывала гигантскую кривую и, переместившись с востока на север, туда, где небо было еще цвета шафрана, села, успокоилась, замерла на одной из сосен. А через секунду к нам донеслось мощное тугое лопотанье крыльев при посадке.

Так появился первый глухарь. Потом я услышал такое же лопотанье и значительно ближе с другой стороны, но тени на этот раз не видел. И потом еще в течение получаса то там, то здесь шумели крылья садящихся птиц. Мне вдруг стало холодно, озноб волнами пошел по телу. Я не знал, слетаются ли каждый раз все новые глухари или уже севшие снова перелетают.

Уже в совсем смутном свете ночи я заметил краем глаза какое-то движение над землей, низко, повернулся и увидел, как хозяин молча махал мне рукой, что надо идти назад. Тогда я отделился от дерева и осторожно пошел, уже ничего не слыша, а видя только смутные фигуры сходящихся людей.

Метров через двести мы пошли смелее, стали переговариваться вполголоса, а когда пришли опять в буреломное место, обходя поваленные деревья, и нашли свой чайник, хлеб и сахар — стали совсем уже смело ломать сучья для костра.

Тогда, в начале мая, еще не было белых ночей. А был жидкий сумрак, рассеянный в лесу, и все коряги, стволы, сучья стали похожи на притаившиеся живые существа. Костерчик наш весело трещал, ярко полыхал, дымил, когда мы совали в него обомшелую сухую кору. Дым синим столбом поднимался вверх, потом растекался по лесу, и я подумал, что дым этот далеко можно учуять.

— А как глухари? Не спугнет их дым? — спросил я.

— Что ты! — сказали мне. — Ни одна птица дыму не боится.

Было часов одиннадцать, глухари начинали токовать в час ночи — два часа надо было просидеть нам у костра. И мы устроились кто как хотел. Один сел на ствол, другой на кочку, третий — на корточках, палкой в костре ворошил, и искры взлетали вверх. Хозяин наш покашливал, сильно дул в кружку с чаем, громко прихлебывал. А проводник все похохатывал, весело ему было жить, сидеть у костра в предвкушении охоты, и вообще был он какой-то хищный на своих гнутых ногах, крепкий, жилистый, молодой еще, с раскрытой грудью...

— Это вам повезло, повезло вам, ребята, — говорил он, — глухарь тут есть, есть, это я вам точно говорю! Точно! Много ли, мало — а штук тридцать на току имеется, правда я говорю? — обращался он к хозяину.

— Тут у нас и бобры есть, — рассеянно сказал хозяин. — Пониже по реке хатки у них... Река тут глухая, жилья нигде нету. Они это любят, бобры-то.

Вдалеке, в разных местах токовали тетерева.

— А весна! — громко сказал проводник, и ухо поставил, послушал, как наигрывают тетерева. И мы все послушали.

— И комаров, чертей, нету! — с удовольствием выговорил хозяин, шапку снял, утерся. Волосы у него взмокли от испарины, от горячего чая, и видно было, что хорошо ему.

— Здорово вы тут живете, — сказал я, думая о бобрах и об охоте. И о хозяине подумал, как он тут живет, один на всю округу, лыжи у него, собака, как зимой он тут ходит — птицы, зверя много. Не знаю, почему-то о зиме, о снеге мне подумалось.

— Хорошо, не хорошо — вольно!

— Что вольно. то вольно, это ты верно! — поддержал проводник. — Ты ведь тут давно? Я на работу поступил, ты ведь тут уж был?

— Я тут шестнадцать годов, вскоре после войны, — как отвоевался, домой приехал, бабу забрал (в Архангельске она у мене жила), — так и суда поступил.

Помолчали. Сильно пахло мхом, сладкий это был запах, весенний, сырой, тянуло еще черникой, клюквой, талой снежной водой из ямок, из-под выворотней. Когда мы шли сюда, нам все мыши попадались, шныряли по мху и мокрые были, даже на спинках шерсть торчком стояла мокрая. Они и сейчас бегали озабоченно вокруг нас, попискивали, выгнала их всех вода. А может, и не вода, а весеннее беспокойство.

Ах, время-то какое было, май — и этот север, эта глушь, робкий холод по ночам, костерчик, дымок, чай распаренный в черном жестяном чайнике, мужики эги с нами, и мы там, в том лесу, а вокруг нас чутко дремали глухари по соснам, а еще дальше на лесной речке выходили в эту минуту из воды бобры.

— Сам-то ты из Архангельска? — спросил проводник хозяина.

— Нет, я северный, с Куи, слышал?

— Это что на Белом море?
 — Нет, под Нарьян-Маром...
 — Ого! Чего ж ты оттуда подался?
 — Да я там, в Куе-то, почти и не жил.
 — А где же?
 — А на берегу океана, на промыслах сёмги да песка.
 — Это в коем же месте?
 — От Печоры поправее будет.
 — А сюда чего перебрался?
 Хозяин наш помолчал, потом неуверенно:

— Летом там беспокойно жить. А зимой ночи долгие, дня не видать. Да я и так до самой войны почти отрубил. А попал я туда мальчонкой совсем, в двадцатом годе.

— Один, что ли, или как?
 — А так вот, что время было голодное, нужда заставила. Батя мой договор заключил.

— Пстой!— перебил мой приятель.— Ты сказал, летом беспокойно жить—в каком смысле?

— Солнце не садится, днем и ночью светит, спать совсем неохота, и усталость сильная от этого происходит. А еще сказать—как-то оно все грезится тебе чего-то...

-- Грезится?

— Ну да, тянет тебя всёего как-то, места себе не находишь, беспокойство, словом...

Хозяин стал закуривать, пыхнул раза два дымком, закашлялся, поглядел в сторону тока, спросил:

-- Время-то сколько?

— Полдвенадцатого,— сказал мой приятель, приглядевшись к треугольным своим швейцарским часам.

— А!— протяжно выговорил хозяин и опять пыхнул раза два дымком.— Дак вот... О чем это мы?

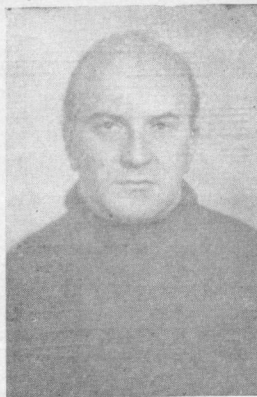
— Насчет грезится,— быстро сказал проводник и хохотнул почему-то, завозился.

— Да! Вот так, значит, мы и снарядились. Батя мой всю семью с собой взял, а еще сосед был с нами—Артемий Кожевин—тот сына только взял. Договор заключили на лов сёмги и поехали. Мой, значит, батя с нами да Артемий с сыном. А поехали из Куи на боту, поехали на мыс Горелка. Высадили нас, кругом ни души, тундра одна, снег под берегом, а дело в июле, смекаешь? Свезли нам карбаса на берег, сети, барахлишко наше какое-никакое, а на берегу хибара такая стояла, развалуха совсем, бревенчатая такая, тоня, одним словом. Отец печь слепил, стенку пристроил, баньку там сделал, чтобы помывться было когда. Так и зажили, все лето сёмгу ловили, стали муку получать, сахар, масло—это авансом за рыбу. Артемий-то с нами жил в одной избе, ему там не понравилось, не стал строиться. «До осени побуду,—говорит,—и уеду, ну ее к дьяволу!» Скучно ему там показалось, жилье-то в одну сторону на двадцать пять, в другую на сорок пять километров.

Вот он сезон отловил, а осенью стал это, значит, домой подаваться. А бота к нам не приворачивали, бота заходили только на фактории. И вот в сторону Печоры стояла такая фактория, Дресвянка по имени.

— Погоди!—перебил проводник.—Это где Болванская губа, что ли?

— Во-во... А ты дак бывал там?



Ю. КАЗАКОВ



— Я там в Носовой бывал. Ух и попали же мы там с ненцами! Как раз они кочевали, в Носовую завернули, а там уж знают! Сейчас спирт этот, НЗ это сейчас в магазин забросили — и пошло! Это в шестьдесят было...

Проводник даже заерзал от сладких воспоминаний.

— Ну, это... — хозяин сморщился. — Не уважаю я, когда ненцы пьют... Они, понимаешь, (он повернулся к нам) в тундре месяцами живут, а потом как дорвутся, пьют до того, что уж и ползать не могут. Право слово! Сперва песни затянут, потом разденутся, сядут друг против друга и почнут плевать, кто, значит, другого переплюет, потом на снег лягут, ползают, потом уж и головы не подымет, а все *шпирту* ему еще давай... Нет, я бы им вообще спирту не продавал. Не уважаю я так-то пить.

— Ну, а про факторию-то, — напомнил я.

— Дак что ж про факторию? Отправились это, значит, мы на эту самую Дресвянку втроем. Батя меня пустил, собачонка с нами, мне двенадцать лет, а сыну Артемия, Петькой звали, тому лет тринадцать, постарше меня был. Это я вам все к тому, чтобы понятней было, как там зимой жить. Хотя так-то сказать, кто там не зимовал, все равно не поймет... Страшно! В бурю, в пургу страшно, а когда тихо, еще того хуже. Снег белеет, а ты один в тундре!

(И тут возник некто за моим плечом, в глухом свете северного леса, и задышал мне холодом в затылок, и глухо зашептал:

— Небеса и земля погружены в вечный покой. Нигде ни одного признака жизни, ни одного воспоминания о ней. Ум ни над чем не работает, ни на чем не отдыхает. Бесконечные созвездия не могут уронить ни одной радостной искорки в эту мертвую атмосферу. Холодные безжизненные звезды ничего не говорят сердцу. Глаза устают смотреть на них и снова обращаются к земле, ухо чутко прислушивается, не нарушит ли хоть малейший шум это подавляющее молча-

ние, — но нет, не раздается ни одного человеческого шага, ни одного живого голоса. Не слышно даже слабого крика птиц, даже легкого шелеста снастей, колеблемых ветром. В этой беспредельной пустоте я слышу только биение собственного сердца; кровь, бьющая в моих артериях, утомляет меня своими сильными ударами. Молчание перестает быть отрицательным понятием, оно наделяется положительными качествами. Я его слышу и вижу и чувствую. Страшным призраком встает оно передо мною, возвещая конец всему существующему, наполняя мою душу чувством смерти. Я не могу больше выносить этого. Я сбегая со скалы, я начинаю ходить, сильно стуча сапогами, заставляя скрипеть снег, чтобы прогнать этот призрак смерти...)

Хозяин почему-то прислушивался — слышал? Проводник наш вдруг клонул носом, очнулся, посмеялся немного и стал по-собачьи ворочаться вокруг себя, укладываться.

— Давай, давай, — приговаривал он. — Это мне все знакомо, я там бывал, в Амдерме бывал, везде, это ты верно говоришь, вот им, московским, это в диковинку, а нам... Слушаю, слушаю, давай, давай...

А сам уж улегся, ямку во мху утоптал, сучки какие-то из-под себя повыгреб, глаза прикрыл.

— Давай, давай, слушаю...

— Заморился, — сказал хозяин. — Ну вот, а Артемию — тому тогда лет сорок было, молодой. Взяли мы чунки, санки такие, узенькие и низкие...

— Вроде нарт?

— Не-е, нарты — те высокие, а эти низенькие, узенькие. А батя наказывал мне там кое-что взять, на фактории, порошу там, дрови, соли и всякого припасу. Ну, лямку через плечо, надеты на нас малицы были, но малички такие пробивные, одна мездра. Километров двадцать прошли, а идти томно, день короткий, темный, слева тундра, холмы такие плоские, снег, справа море, припай уж возле берега, торосы, куда ни поглядишь, одно и то же, скучно было идти. Разговаривали между собой маленько, да и то нечасто, друг за другом шли, неспособно было говорить, да уж и переговорено все было, когда вместе жили.

И вот прошли это, значит, километров двадцать, смотрим — что такое? Смотрим, погода захужела. Сделали привал, покушали немного, слушаем тундру, как она погуливать начинает. А уж и стемнело почти совсем. Так все в глазах что-то змется, ползет, переливается, и уж понизу вроде как туман бежит, а это снег, пурга! Мы скорей идем и уж давно сбились бы, да только справа нам все море кажется, темнеет, вот так и идем — справа море, слева тундра. Вскоре и пурга настоящая началась, так завывало, замело, не знамо, где небо, где земля.

Дошли мы до речки Дресвянки, а фактория стояла отступая от моря, на этой самой речке. Завернули в глубь земли, в тундру. Идем, идем, а фактории все нету. Заблудились мы, одним словом, решили ночевать. Речка небольшая была, берега низкие, снегом все перемело, не понять — по речке идем или уж давно сбились, тундру меряем. А я маленький тогда был, шибко забоялся и Петька забоялся, идем, плачем. Только Артемий держится, а сам тоже в сомнение впал, помирать-то кому охота?

Вырыли мы тогда яму, легли прямо в снег. Маличка у меня, я уж говорил, совсем никакая, холодно, дует. Подремлем, потом все проснемся, из ямы своей выстанем, начинаем другую яму копать.

— Зачем другую-то?

— А все нам кажется, что, может, в другом месте потише будет.

Вот так-то рыли, рыли, устали совсем, сморились, сон нас взял. Не помню, как и заснул совсем, а проснулся, чую тяжесть на себе, ни рукой, ни ногой двинуть не могу. Закричал я тогда. Петька проснулся, тоже заорал, отца распахал, Артемий выстал и раскопал нас. А ветер так и рвет, на пять метров никуда не видно. Видим мы, плохо наше дело, нельзя нам под снегом спастись, стали соображать. А так дуло, что снег вокруг следов обметало, след это, значит, наружу вылезал. Стали мы ходить все вместе, следы руками да ногами шупать, думаем, может, какие следы на факторию найдем, ходят же вокруг нее люди, ездят... Ходим, шушаем, только все нам наши следы попадают, вдруг Петька как заорет: «Волк!» А это была бочка! Потом, — шага два прошли, — вешала! Это жерди такие, на столбы положены, — сети сушить. Стали мы дальше искать, глядим — сугроб, а из сугроба труба торчит, из трубы дым и искры. И тепло дует. Вот она, фактория! Залезли мы на сугроб, стали орать в трубу, хозяев звать. Хозяева нас услышали, начали снизу раскапываться, а мы им и помочь не можем, лопаты у нас нет, понимаешь, какая вещь. Ну, хозяева скоро все ж таки откопались, свет снизу блеснул, залезли мы, как в траншею, и в дом попали.

А потом, понимаешь, шесть дней мы там жили. Как ни послушаем — гудят наверху, нельзя выйти. Шесть дней!

Я представил себе эти шесть дней в духоте, в сне до одурения, в сумрачном свете копилки, а наверху — пляшущие космы снега, потом вспомнил все белые ночи, какие я видел, в какие не спал, неясно думая о чем-то, вообразил и тот далекий берег, где жил когда-то наш хозяин, и сказал, слабо надеясь на поэзию:

— Зато летом, наверно, хорошо было?

— Как тебе сказать...— подумавши, ответил хозяин. — Там и летом несладко. И спать не спишь, и комаров в тундре — никуда не пойдешь, и цинга приступает. Да вот тогда же после той зимы, мы там чуть все не помёрли... Сколько время-то?

— Двенадцать, — сказал приятель, блеснув своими швейцарскими.

— А-а... Через час пойдем, не ране. Тогда слушайте дальше. Зимовали мы неплохо, семья у нас большая была, не скучали. Продуктов питания, припасов всяких тоже хватало. Да промысел-то, видишь ты, не совсем хорош был. Шестьдесят девять песцов всего взяли. Батя-то зачем остался зимовать? Думал на песце хорошо заработать, чтобы это, значит, года на три вперед обеспечить нас, а весной — и домой подаваться. В тех местах тогда хорошие промыслы были. Сейчас-то не знаю, теперь, слышал я, мало песка стало, распугали. А тогда в иную зиму поболее трехсот штук один промышленник добывал.

Сигарета у него погасла, он ее стал раскуривать опять от уголька, и, пока раскуривал, видно, мысль какая-то пришла ему в голову. постороннее соображение, потому что, затаившись, он вдруг быстро и другим совсем голосом сказал:

— Вообще-то жить там можно, да и привычные мы были. Ведь у нас в Куе-то то же самое, и тундра, и пуржит зимой, и тоже летом солнце всё, а зимой тьма. Да, видишь ты, у нас-то все же деревня, поселение, народ там всякий, братья, сваты, в гости ездят, праздники там разные, весело... И на сёмгу артельно собирались, и всяко работали вместе же, общество, одним словом, понимаешь ты. А там, на этой Горелке-то, там, братцы, ни в кую сторону никого, ненцев и тех не слышать было, откочевали.

— А сюда-то почему забрался? — спросил я. — Ведь и тут одиноко.

— Что ты! Тут много народу ездит. Летом из Архангельска приезжают на охоту, рыбки половить, научные работники всякие. И зимой... Лошадь у меня, зимой на станцию поедешь, лошадь оставишь, в город

съездишь, там очумеешь—и назад. Да и по привычке я теперь-то, считай, всю жизнь в одиночку жил.

А тогда... Первое ведь зимовье наше было. Ну вот, думал батя разбогатеть на песце, да не по евоно вышло. Песца мало добыл, с чем в деревню ворочаться? Вот батя и говорит как-то матери. «А! — говорит. — Не останется ли нам на летний промысел сёмги? Уж летом заработаем, тогда и домой». И порешили родители мои летовать.

Весна приходит, распутица началась, лед должен скоро по Печоре пойти, припай от берега тоже скоро должен был отойти. А у бати на фактории Черной карбас был, он туда его еще осенью согнал, думал, не понадобится больше. Вот он это, значит, дождался распутицы да по обтаявшему и ушел на факторию, а нам наказал ждать. Решил он на фактории припасов всяких на лето авансом попросить да назад уж в карбас прибыть. И вот он ушел, а мы его ждать стали.

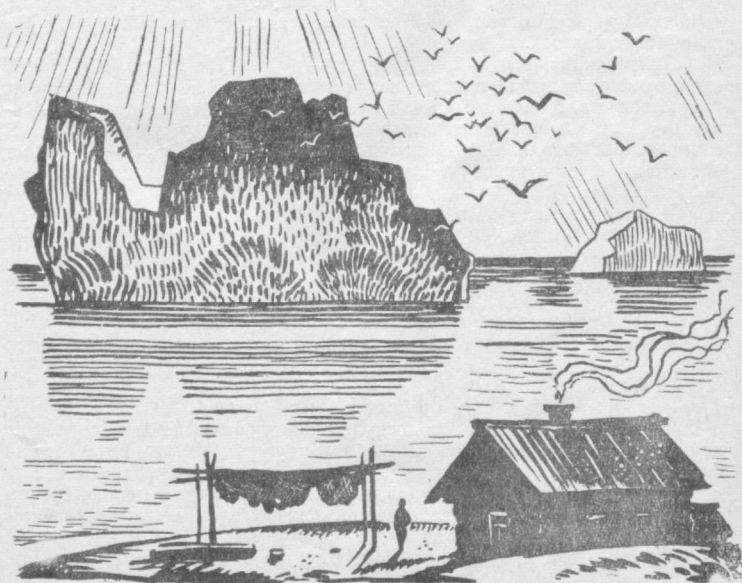
— Много же вас было?

— А вот считай: мать! Она тогда молодая была, всего ей тридцать годов сполнилось, рано замуж вышла. Потом я. Мне двенадцать было. Потом два брата, девять и семь лет. И еще девчонки две — одной пять, другой два годика.

А весна в тот год плохая приключилась, затяжная. Никак не теплеет, птица не летит, а батя нам ружье оставил и патроны, чтобы птицей кормились. Из припасов же у нас вот чего было. Муки гнилой мешок, зеленая вся, и хлеб из нее худой выходил. Потом овсянки немного и рыбы соленой полбочки.

Ждем мы батю нашего неделю, другую, а у нас уже цинга началась, опухать стали, и зубы у всех кровоточат и шатаются. До того доходило, что можно было зуб свободно из рота вынуть и назад вставить.

Птицы налетело видимо-невидимо, а взять ее трудно было. Возле нашего дома они не садились, а были там небольшие такие озерки, от



нас километра три. Вот мы с братом, которому девять лет, Генкой звали, и идем, бывало, на те озерки. Ружье возьмем, патронов десяток и пойдем. А слабые совсем, качаемся, десять раз отдыхать садимся, пока дойдем. Придем, а что делать, не знаем. Птица еще на гнезда не села, осторожная, держится посередке, от берега далеко. А кругом тундра, ни кустика, спрятаться некуда. Птица, которая у берега кормится, как нас увидит, так к середке озера отплывет и сидит, поглядывает на нас. А мы — на нее.

И вот мы ползаем, ползаем, и так хитрим, и этак, а самое большее три штуки убивали за день. А чаще всего две, а то и одну. Бывало что и пустые назад придем. А идем назад, от боли ревом в голос, ноги-то совсем пропадали у нас, язвами шли. Домой вернемся, ляжем на лавку, мать нам ноги растирает, отваром из березовых почек поит.

Июнь прошел, в первых числах июля теплый ветер из тундры поул, два дня дул, и весь лед от берега в океан ушел. Море очистилось, стали мы отца ждать. Уж из избы не выходим, лежим кто где. Голову подымешь, на море поглядишь — пусто. И опять лежишь. Бредить стали, никто ничего не соображает, день за окном или ночь. Солнце-то уже все время светило. Задремлешь, солнце в избе, проснешься — опять солнце, только в другое окошко светит. А все батю ждем...

Пошел раз брат до ветру, слышим — кричит. В окно поглядели, видим, бежит назад. Только и не бежит вовсе, а так — еле ногами перебирает и кричит: «Батя едет! Батя едет!»

Мать заплакала, все заревели в голос, кое-как стали подыматься, друг дружку поддерживаем, вышли за порог, глядим на восток, солнце сияет, видим, лодка вдали чернеет, карбас отцовский. К берегу приползли, на плавники легли и ждем. Вот час проходит, другой, только, думаем, чего бы это карбас так медленно идет? Еще час прошел, и вдруг видим мы, что карбас-то пустой плывет. Течение его тянет вдоль берега. И близко так карбас этот от нас прошел, метрах в тридцати, страшный такой, пустой... Карбас плывет, а перед глазами у меня все зыблется, зыблется...

Приволоклись мы домой, легли кто где и лежим молча. Потом мать как заголосит! Причитать над нами начала, как над похоронниками, прощаться стала, всем по чистой рубашке достала — это на смерть, значит. А потом мы по лавкам и на полу легли и заснули уже последним сном, умирать стали. Только вдруг слышим шум в избе, стук, трясет нас кто-то, а мы и проснуться не можем. А это батя наш приплыл, еле добудился нас.

— А как же карбас-то пустой? — спросил я.

— А это чужой чей-то мимо нас пронесло, похожий на наш...

Хозяин встал, потянулся, поглядел на восток, на верхушки сосен, которые теперь бронзовели уже от утренней розовости, и пнул нашего проводника.

— А? Чево? — поднял тот голову.

Шапка у него свалилась, он сел, нашарил ее, нахлобучил, потер глаза.

— Пора?

— Надо идти, в самое время на месте будем.

Мы затоптали костер, сполоснули чайник снежной водой, положили кружки, сахар и оставшийся хлеб в котомку, хозяин закинул ее за спину, и мы пошли на восток от тропы, которая еле угадывалась, пошли в ночную синеву, в туман и холод, и ружья наши были давно заряжены и готовы для убийства древних прекрасных птиц, еще молчавших в предчувствии любви и смерти.

А было это в мае, в счастливую пору, на Севере, три года назад.



Из восьмистиший

✧ * ✧

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рву постоянство
И самосознание причин.

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей —
Безлиственный дикий лечебник,
Задачник огромных корней.

✧ * ✧

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон:
В земной коре юродствуют породы
И, как руда, из груди рвется стон.

И тянется глухой недоразвиток,
Как бы дорогой, согнутою в рог,
Понять пространства внутренний
избыток, —
И лепестка, и купола залог.

Январь, 1934.

✱ ✱
✱

Татары, узбеки и ненцы,
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.

И может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И в самую душу проник...

.

Ноябрь, 1933.

Москва.

✱ ✱
✱

Ах, ничего я не вижу и бедное ухо оглохло —
Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра.

И почему-то мне начало утро армянское сниться,
Думал — возьму посмотрю, как живет в Эриване синица.

Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...

Эх, Эривань, Эривань! Или птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

Эх, Эривань, Эривань! Не город — орешек каленый...
Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны.

Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда.

21 октября, 1930.





* * *

- Молодость, куда ты?
— Я вослед
За надеждой собственной иду!
— Кто же ходит иначе?
— Весь свет
Ходит у надежд на поводу!
— Молодость,
за кем ты держишь путь?
— За мечтою собственной вослед!
— А мечту догнал ли кто-нибудь?
— Может быть, догнал, а может, нет!
— Молодость,
кто бог твой, назови?
— У меня один лишь бог — Любовь!
— Молодость,
не всем везет в любви!
— Ей молпось и мне не прекословь!
— Молодость,
ты вышла в долгий путь,
Может, ты не веришь, что дойдешь?
— Верую!
— В чем веры этой суть?
— Посмотри назад, тогда поймешь!

ПАРЕНЬ ГОР

- Эй, ненаглядная, скорей
Открой-ка двери мне!
— Откуда, парень, у дверей
Ты взялся при луне?

— Клянусь я: сердце привело
Меня на твой порог!
— Незванный гость, садись в седло,
Найди другой чертог!

— Тебе, красотка, бог судья,
Любовь мою проверь:
Скажи, что должен сделать я,
Чтоб ты открыла дверь?

— Эй, парень, прыгнувший с коня,
Не угоди в шуты!
Есть три желанья у меня,
Да удалец ли ты?
Желанья выполнишь, считай,
Нашел к дверям ключи.
Касаясь шапкой птичьих стай,
За семь вершин скачи...

— Куда скакать, в какой набег?
Приказывай, не мучь!
— Гнездится голубь, бел, как снег,
У края черных туч.
К нему, когда взойдет луна,
Лиса направит путь.
Ты лисью шкуру, что красна,
К рассвету мне добудь!

Заря подобна алыче,
Храпит под парнем конь.
И лисья шкура на плече
Пылает, как огонь.

— Эй, чародейка, дверь открой,
К тебе я мчался вскачь!
— Ты уговор забыл, герой,
Он был из трех задач.

И говорит ему она:
— Садись в седло опять,
Жемчужин горсть с морского дна
Ты должен мне достать!..

Держа жемчужины в горсти,
Вступил он на порог:
— Эй, ненаглядная,пусти,
Я возвратился в срок!

— Ты нетерпенье, парень гор,
До времени смири,
Дороже денег уговор,
Моих условий три!

— Куда держать мне путь теперь,
Скажи скорей о том?
— Через распахнутую дверь
В девический мой дом.

Но прежде, чем меня обнять,
Дай клятву, парень гор,
Что навсегда отца и мать
Забудешь с этих пор.

Не медли, милый, дай зарок
И страсти не тая.
Войдешь ты, как в ножны клинок,
В объятия мои.

Ах, не молчи, лихой джигит,
Со мной забудешь свет,
Куда ж ты, сокол?..

Стук копыт
Послышался в ответ.

ГОЛОВА ХАДЖИ-МУРАТА

Отрубленную вижу голову
И боевые слышу гулы,
А кровь течет по камню голому
Через немирные аулы.

И сабли,
что о скалы точены,
Взлетают, видевшие виды.
И скачут вдоль крутой обочины
Кавказу верные мюриды.

Спросил я голову кровавую:
— Ты чья была, скажи на милость?
И как,
увенчанная славою,
В чужих руках ты очутилась?

И слышу вдруг:
— Скрывать мне нечего.
Я голова Хаджи-Мурата
И потому скатилась с плеч его,
Что заблудилась я когда-то.

Дорогу избрала не лучшую,
Виною всему мой прав тцеславный...
Смотрю на голову заблудшую,
Что в схватке срублена неравной.

Тропинками, сквозь даль простертыми,
В горах рожденные мужнины,
Должны живыми или мертвыми
Мы возвращаться на вершины.

Перевел с аварского Яков Козловский.

Булат ОКУДЖАВА

**Размышления
возле дома,
где жил
Тициан Табидзе**



Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас. И чтобы все — за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть,
но велит ему призыванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь.
Он уже убил однажды, он не хочет вновь.
Но судьба его такая, и свинец отлит,
и двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
от поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь.
Только так не берегите, чтоб костями нам лечь.

Только так не берегите, как борзых — псары!
Только так не берегите, как псарей — цари!
Будут вам стихи и песни, и еще не раз...
Только вы нас берегите. Берегите нас.



Мгновенно слово.

Короток век.

Где ж умещается человек?

Как и когда и в какой глуши

распускаются розы его души?

Как умудряется он успеть:

свое промолчать и свое пропеть,

по планете посеменить,

гнев на милость

переменить?

Как умудряется он, чужак,

на ярмарке

поцелует и драк,

в славословии и пальбе

выбрать только любовь

себе?

...Забарабанит в бой барабан:

«Вот тебе за любовь,

болван!»

Осколок выплеснет его кровь:

«Вот тебе за твою любовь!»

Пощечины перепадут в разо:

«Вот тебе за любовь твою!»

И все ж умудряется он, чужак,

на ярмарке

поцелует и драк,

в славословии и

гульбе

выбрать только любовь

себе!



Есть армия врагов,
обученных и бравых,
всегда и всюду правых,
не дур, не дураков.
Есть армия врагов.
Во тьме ее рядов,
во всех ее глубинах,
как в клювах голубиных —
надежды простаков.
Есть в армии врагов
проверенный, короткий
набор прекрасных слов,
дешевых, как подмётки,
который так не нов,
как судьи и решетки,
как прыщ — на подбородке,
как мир — для стариков.

Баллада о пшене

Фронтальная дорога тряская.
И влажно опущено знамя.
И кухня вегетарианская
покорно скрипит за нами.
Пшеница опостылевший запах
стоит сплошной стеной.
А запад, а запад
горит за спиной.
И разливают кашу черпак,
по едокам деля;
но с каждым шагом меньше на шаг
становится наша земля.

Позвольте, товарищ старшина...
мы голод свой утоляем,
мы бережем остатки пшеницы,
а родину оставляем?
Она ускользает из-под ног,
ее остается мало...
А кухня варит и варит пшеницу
как ни в чем не бывало.
Позвольте, товарищ старшина...
но как увязать, тем не менее,
муки страны, сытность пшеницы
и наше отступление?
Давайте к врагу повернемся: нас
приличное войско, и знамя!..
Но старшина говорит: «Приказ...»
И кухня скрипит за нами.
Всё брошено наземь,
что не с руки,
на память огню и пустыне.
Но автоматы и котелки
к нашим бокам пристыли.
А дождь нас святою водою кропит,
потомки к святым нас припишут,
а кухня скрипит!.. а кухня скрипит!..
и варит горячую пищу...
А кухня скрипит, словно назло
за взводом святых ползя,
о том, что без родины тяжело
и без пшеницы нельзя.

Одна морковь с заброшенного огорода

Мы сидим. Пехотные ребята.
Позади — разрушенная хата.
Медленно война уходит вспять.
Командир приказывает спать.

И тогда, откуда — не известно,
может, голод мой тому виной,
словно одинокая невеста —
выросла она передо мной!
Я киваю головой соседям:
на сто ртов — одна морковь
пустяк...

Сним мы или бредим?

Сним или бредим?

Веточки ли в пламени хрустят?

...Кровь густая капает из свёклы,
лук срывает бранный свой наряд,
десять пальцев, словно десять свёкров,
над одной морковинкой стоят...
Впрочем, ничего мы не варили,
свекла не адела, лук не пах.
Мы морковь по-братски разделили,
и она кричала на зубах...

Шла война, и кровь лилась рекою.
В грозной битве рота погибла.
О природа, ты ж одной морковью,
как Христос, насытить нас смогла!
И, наверно,

уцелела б рота,
если б в тот последний смертный час
ты одной любовью, о природа,
как Христос, насытила бы нас!



Я никогда не витал, не витал
в облаках, в которых я не витал,
и никогда не видал, не видал
городов, которых я не видал.
И никогда не лепил, не лепил
кувшин, который я не лепил,
и никогда не любил, не любил
женщин, которых я не любил...
Так что же я смею?

И что я могу?

Неужто лишь то, чего не могу?
И неужели я не добегу
до дома, к которому я не бегу?
И неужели не полюблю
женщин, которых не полюблю?
И неужели не разрублю
узел, который не разрублю,
узел, который не развяжу
в слове, которого я не скажу,
в песне, которую я не сложу,
в пуле, которую не заслужу,
в деле, которому не послужу?..



Двадцатый век, ты — странный человек!
Я над тобою голову ломаю.
Я понимаю, век, что ты — как снег,
но что как вечность ты — не понимаю.
Стою-стою —

всё словно на краю.
В твоём трамвае стража брови супит.
Я маленький... Я просто так стою...
Прозрение?..

Оно потом наступит...
Сольются два бульварные кольца,
три улицы, четыре перекрестка,
запахнет пылью радостно и остро...
Как мало остановок до конца!

И. Э. БАБЕЛЬ



Когда в № 4 журнала «Лев» за 1923 год появилась большая подборка рассказов Исаака Бабеля, до этого известного лишь чрезвычайно узкому кругу литераторов, читатели были поражены художественной зрелостью этих новелл, какой-то особой отточенностью бабелевской фразы. Откуда вдруг такое мастерство и жизненная опытность? Но никакого «вдруг» не было. Блестящие новеллы из цикла «Конармия» и «Одесские рассказы», фейерверк которых Бабель рассыпал на страницах «Лефа» и «Красной нови» в 1923—25 годы, рождались долго и трудно. К ним шел писатель несколько лет. Опубликовав в 1916 году в горьковской «Летописи» две новеллы, Бабель, как он сам рассказывает в очерке «Начало», был отправлен Горьким «в люди». «Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною искожено и многих боев я был свидетель¹. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можно начинать...» За «благословением» Горького последовал недолгий период многочисленных публикаций Бабеля.

В числе других тогда появились и те два, ныне забытых, рассказа, которые мы предлагаем читателю: «Баграт-Оглы и глаза его быка», «Грицук». Первый был опубликован в одесском журнале «Силуэты», 1923 г., № 12, затем его напечатала «Красная новь», 1924 г.,

№ 4, с тех пор рассказ не переиздавался.

Интересна история написания «Грищука», новеллы, тесно связанной с циклом «Конармия». Большинство рассказов этой книги родилось из заметок, записей в дневнике, который писатель вел в период польского похода 1-ой

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО И ЗАБЫТОГО

Конной армии¹. В дневнике не раз упоминается повозочный Грицук. 21. VII. 20. (...) «Описать Грищука» 29. VII. 20 (...) «Грицук идет домой. Иногда он прорывается: «Я замученный». По-немецки он не мог научиться, потому что хозяин у него был серьезный, они только ссорились, но никогда не разговаривали». В одной из последних заметок содержался уже план целого рассказа о Грищуке. «ГРИЩУК. Бёлев, обморок Грищука. Две России.

¹ В «Автобиографии» Бабель рассказывает, что он в эти годы (1917—1924 г. г.) был на румынском фронте, служил в Чеха, участвовал в продовольственных экспедициях 1918 г., был в 1-й Конной и т. д.

¹ Бабель попал в Конарию как корреспондент Юг-Роста, работал в газете «Красный кавалерист», органе политотдела 1-ой Конной армии РСФСР. Конармейский дневник хранится у вдовы писателя А. Н. Пирожковой, частично опубликован в 74 томе «Литературного наследия». М., 1965 г.

Уехал шесть лет тому назад. Приехал — что увидел. Монолог Грищука. Стиль».

Рассказ «Грищук» был опубликован в газете «Известия Одесского губисполкома, Губкома КП(б)У и Губпрофсовета», 1923 г., 23 февраля, № 967 — вместе с двумя другими новеллами под общей шапкой из книги «Конармия». Но в этом рассказе дневниковый замысел осуществлен был лишь частично: выпало его ударное звено — в монологе Грищука нет главного: «ДВЕ РОССИИ. Уехал шесть лет тому назад. ПРИЕХАЛ — ЧТО УВИДЕЛ». «Одна из глав... немой повести» повозочного вся обращена в прошлое, замкнута в нем. В соответствии же с концепцией книги «Конармия» прошлое ее героев приобретало подлинный смысл, сталкивался с их бурным, революционным настоящим. В рассказе «Грищук» намеченное столкновение не реализовалось. Видимо, поэтому Бабель — художник необычайно требовательный к себе — не включил «Грищука», рассказ яркий при его редчайшем лаконизме, в первое отдельное издание «Конармин» (1926 г.). С 1923 года «Грищук» не перепечатывался.

1926 год, по признанию самого Бабеля, открывал новый этап его творческой биографии: «... снова настала для меня пора странствий, молчания и собирания сил». Во 2-й половине 20-х годов Бабель пишет пьесе «Закат», создает несколько сценариев, печатает киноповесть «Беня Крик», но рассказы не публикует. Художник подготавливает себя к тому, чтобы обрести «второе дыхание» в этом труднейшем и излюбленном им жанре.

Единственным рассказом И. Бабеля, заявленным для публикации в эти годы, был «Мой первый гонорар». Рассказ датирован автором: 1922—1928. Как можно установить, сопоставляя подобную датировку нескольких новелл Бабеля, первая из дат обычно означает год, когда родились впечатления, положенные в основу рассказа, когда он был задуман и, возможно, была начата работа над ним. Вторая дата — год завершения шлифовки написанного рассказа. Действительно, в «Моем первом гонораре» отразились впечатления писателя о пребывании в Тифлисе в 1922 году. В конце 1927 года появились сообщения о публикации рассказа Бабеля «Мой первый гонорар» в новом году. Но ни в 1928, ни вообще в 20-е годы новелла не была напечатана. В 1933 году А. М. Горький рекомендовал для публикации в альманахе «Год шестнадцатый» четыре новых рассказа Бабеля. Среди них был «Мой первый гонорар». Мнения членов редколлегии разделились: рассказы Бабеля в альманахе не появились. Два из них («Нефть», «Улица Данте») были вскоре напечатаны в других изданиях. «Фро-

им Грач» впервые был опубликован в журнале «Знамя», 1964, № 8. «Мой первый гонорар» увидел свет совсем недавно. Рассказ напечатан был в качестве приложения к статье И. А. Смирнова «История одного замысла И. Бабеля» — «Филологический сборник», вып. V, Алма-Ата, 1966 год. Но так как это издание сугубо научное и тираж его всего 1000 экземпляров, то рассказ по-прежнему остался неизвестным широкому кругу читателей. Задача данной публикации сделать «Мой первый гонорар» достоянием многочисленных читателей бабелевского таланта в нашей стране. Рассказ печатается по автографу, хранящемуся у друга Бабеля О. И. Бродской. Вариантом «Моего первого гонорара», созданным по-видимому уже в 30-е годы, является рассказ «Справка». Он опубликован впервые в книге: И. Бабель, «Избранные», Кемерово, 1966 год.

Конец 20-х — начало 30-х годов приносят новые жизненные впечатления — Бабель опять возвращается к новелле.

Если рождение «Конармин» было связано для художника с открытием своеобразного мира — боевой страды, быта конармейцев, то теперь он открывал для себя мир деревни эпохи коллективизации, не менее сложный, противоречивый: «Последние два года я живу «внизу», в деревне, в колхозах, стараюсь посмотреть на жизнь «изнутри» (из выступления, 1930 г.). В 1930—31 году Бабель живет в селе Молоденово, под Москвой, в 1930 г. принимает участие в кампании по коллективизации на Киевщине (Бориспольский район), затем поселяется в станице Пришибской Кабардино-Балкарской автономной области, где в 1933 году развертываются бурные преобразования, связанные с коллективизацией.

Записи, заметки, в которых откладываются каждодневные впечатления художника, переплавляются в рассказы. Их первые варианты рождаются по «горячим следам» событий. В письме, отправленном 2 сентября 1930 года в комитет выставки «Писатель и колхоз», Бабель сообщал: «Я занят теперь приведением в порядок записей, которые я вел в селе — записи эти надо углубить и продолжить. Я не рассчитываю опубликовать их раньше, чем через несколько месяцев».

«Я сейчас работаю над новыми рассказами о колхозной деревне», — делился Бабель своими планами с начинающими писателями в сентябре 1932 года. Он задумал написать целый цикл (книгу) рассказов о деревне эпохи коллективизации — «Великая Старица». Так называлось село на Киевщине, где развертывались события, свидетелем которых стал Бабель. Первый рассказ этого цикла «Гапа Гужва» был опубликован в журнале «Новый мир»,

1931 г., № 10, с подзаголовком «Из книги «Великая Криница»¹. Других рассказов о деревне Бабель не опубликовал. Пока обнаружен еще лишь один рассказ из задуманной книги — «Колывушка», который мы и предлагаем читателям. Автограф его хранится в архиве друга Бабеля — О. И. Бродской. Рассказ имеет авторскую датировку: «Весна 1930 г.» Есть основания считать, что эта дата обозначает не время написания рассказа, а время действия в нем. Именно так расшифровываются авторские даты (указание числа, месяца, года) в новеллах «Конармин». Кроме того, надо учитывать признание самого писателя: он не раз говорил о том, что 1930 год — год, когда была только начата обработка жизненного материала; Бабель обычно тщательно отделял свои рассказы, отдавая этому месяцы, годы. Рассказ «Колывушка», как мы предполагаем, был написан не раньше 1931 года, где-то в период 1931—35 годов.

«Колывушка» — типично «бабелевская новелла», более того, это одна из тех новелл, в которых с наибольшей полнотой выявилась индивидуальность своеобразного мастера.

Бабель с большим интересом вглядывался в многосложный процесс ломки традиционной крестьянской жизни на рубеже 30-х годов; он видел перспективы, ею открываемые. Характерно одно из его признаний в письме к родным, посланном 13 декабря 1933 года

¹ В одном из писем В. Полонскому, редактору «Нового мира», Бабель сообщил о том, что он намеренно изменил подлинное название села.

из станицы Пришибской: «ДВИЖЕНИЕ ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ ДОСТИГЛО В ЭТОМ ГОДУ РЕШАЮЩЕГО ПРОГРЕССА, И СЕЙЧАС ОТКРЫВАЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСТИНЕ БЕЗГРАНИЧНЫЕ: ЗЕМЛЯ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ, СТРАШНО ИНТЕРЕСНО БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕМ РОСТА ЭТИХ НОВЫХ ФОРМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ». Но Бабеля — художника, с его особым видением мира, сугубо контрастным, драматическим, по-настоящему увлекающим, притягивал к себе лишь один аспект происходящего — острые, почти трагические ситуации, в которых раскрываются характеры людей сильных, выявляющих свои чувства страстно, бурно, напряженно. Таковы ситуации и герои «Колывушки». Боль за человека страдающего, потрясенного гигантскими «разломами», которыми отличны исторические эпохи, — подлинный нерв этого рассказа.

Великолепно написанный «Колывушка» — одна из лучших бабелевских новелл, созданных после «Конармин».

С каждым десятилетием возрастает интерес к творчеству Бабеля в нашей стране, за рубежом. Годы подтвердили, что это один из тех художников, на которых «работает» время. Оно обнажает в произведениях Бабеля многое из того, что было не замечено, недооценено его современниками, оттеняет оригинальность художественной манеры одного из «первооткрывателей» советской прозы.

Е. КРАСНОЩЕКОВА.

Баграт-Оглы и глаза его быка

Я увидел у края дороги быка невиданной красоты.

Склонившись над ним, плакал мальчик.

— Это Баграт-Оглы, — сказал заклинатель змей, поедавший в стороне скудную трапезу. — Баграт-Оглы, сын Кязыма.

Я сказал:

— Он прекрасен, как двенадцать лун.

Заклинатель змей сказал:

— Зеленый плащ пророка никогда не прикроет своевольной бороды Кязыма. Он был сутяга, оставивший своему сыну нищую хижину, тучных жен и быка, которому не было пары. Но Алла велик...

— Алла иль Алла, — сказал я.

— Алла велик, — повторил старик, отбрасывая от себя корзину с змеями. — Бык вырос и стал могущественнейшим быком Анатолии. Мемед-хан, сосед, заболевший завистью, оскотил его этой ночью. Никто не приведет больше к Баграт-Оглы коров, ждущих зачатия. Никто не

заплатит Баграт-Оглы ста пиастров за любовь его быка. Он нищ — Баграт-Оглы. Он рыдает у края дороги.

Безмолвные гор простирало над нами лиловые знамена. Снега сияли на вершинах. Кровь стекала по ногам изувеченного быка и закипала в траве. И, услышав стон быка, я заглянул ему в глаза и увидел смерть быка и свою смерть и пал на землю в неизмеримых страданиях.

— Путник, — воскликнул тогда мальчик с лицом, розовым, как заря, — ты извиваешься, и пена клокочет в углах твоих губ. Черная болезнь вяжет тебя канатами своих судорог.

— Баграт-Оглы, — ответил я, изнемогая, — в глазах твоего быка я нашел отражение всегда бодрствующей злобы соседей наших Мемед-ханов. В их влажной глубине я нашел зеркала, в которых разгораются зеленые костры измены соседей наших Мемед-ханов. Мою юность, убитую бесплодно, увидел я в зрачках изувеченного быка и мою зрелость, пробившуюся сквозь колючие изгороди равнодушия. Пути Сирии, Аравии и Курдистана, измеренные мною трижды, нахожу я в глазах твоего быка, о, Баграт-Оглы, и их плоские пески не оставляют мне надежды. Ненависть всего мира вползает в отверстия глазницы твоего быка. Беги же от злобы соседей наших Мемед-ханов, о, Баграт-Оглы, и пусть старый заклинатель змей взвалит на себя корзину с удавами и бежит с тобою рядом...

И огласив ущелье стоном, я поднялся на ноги. Я ощутил аромат эвкалиптов и ушел прочь. Многоголовый рассвет взлетел над горами, как тысяча лебедей. Бухта Трапезунда блеснула вдали сталью своих вод. И я увидел море и желтые борты фелюг. Свежесть трав переливалась на развалинах византийской стены. Базары Трапезунда и ковры Трапезунда предстали предо мной. Молодой горец встретился мне у порога в город. На вытянутой руке его сидел кобчик с закованной лапой. Походка горца была легка. Солнце всплывало над нашими головами. И внезапный покой сошел на мою душу скитальца.

Гришук

Вторая поездка в местечко окончилась худо. Мы отправились добывать фуражу, возвращались к полудню. Спина Гришука мирно тряслась перед моими глазами. Не доезжая села, он аккуратно сложил вожжи, вздохнул и стал сползать с сиденья. Он сполз ко мне на колени и вытянулся поперек брички. Его стынувшая голова покачивалась, лошади шли шагом, и желтеющая ткань покоя оседала на лице Гришука, как саван.

— Не емши, — вежливо ответил он на мой испуганный крик и утомленно опустил веки.

Так мы въехали в село, с кучером, растянувшимся во всю длину экипажа.

Дома я накормил его хлебом и картошкой. Он ел вяло, задремывал и раскачивался. Потом вышел на середину двора и, разбросав руки, лег на землю — лицом вверх.

— Ты все молчишь, Гришук, — сказал я ему, задыхаясь, — как я пойму тебя, томительный Гришук?..

Он смолчал и отвернулся. И только ночью, когда мы, согревая друг друга, лежали на сене, я узнал одну главу из его немой повести.

Русские пленные работали по укреплению сооружений на берегу Северного моря. На время полевых работ их угнали в глубь Германии. Гришука взял к себе одинокий и умалишенный фермер. Безумие его

состояло в том, что он молчал. Побоями и голодовкой он выучил Грищука объясняться с ним знаками. Четыре года они молчали и жили мирно. Грищук не выучился языку потому, что не слышал его. После германской революции он пошел в Россию. Хозяин проводил его до края деревни. У большой дороги они остановились. Немец показал на церковь, на свое сердце, на безграничную и пустую синеву горизонта. Он прислонился своей седой взъерошенной безумной головой к плечу Грищука. Они постояли так в безмолвном объятии. И потом немец, взмахнув руками, быстрым, немощным и путаным шагом победжал назад, к себе.

16. 7. 20.

Мой первый гонорар

Жить весной в Тифлисе, иметь двадцать лет от роду и не быть любимым — это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского Военного округа. Под окнами моей мансарды хлопотала Кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные ее узлы. Мансарду я снимал у молодоженов-грузин. Хозяин мой торговал на восточном базаре мясом. За стеной, осатанев от любви, мясник и его жена ворочались как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятевших этих рыб бились о перегородку. Они трясли наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведенные упрямой злобой-страсти, не могли разжаться. По утрам новобрачная Милиет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за перила, чтобы не упасть. Ища тонкой ногой ступеньку, Милиет улыбалась неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она кланялась всем, кто ей встречался на пути — зазеленевшему от старости айсору, разносчику керосина и мегерам, продававшим мотки бараньей шерсти, мегерам, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра.

Иметь двадцать лет от роду, жить в Тифлисе и слушать по ночам бури чужого молчания — это беда. Спасаясь от нее, — я кидался опрометью, вон из дому, вниз к Кура, там достигали меня банные пары тифлисской весны. Они накидывались с размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак, в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось кроме как искать любви. Конечно, я нашел ее. На беду или на счастье, женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Ее звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не решаясь заговорить. Денег для нее у меня не было, да и слов — неутомимых этих пошлых и роющих слов любви — тоже не было. Смолodu все силы моего существа были отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи историй. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Одержимый бесовской гордостью — я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием — сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались для того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них, только тогда, когда они облачены в прекрасные одежды. Как сшить эти одежды?..

Человеку, взятому на аркан мыслью, присмирившему под змеиным ее взглядом, трудно изойти пеной незначущих и роющих слов

любви. Человек этот стыдится плакать от горя. У него недостает ума, чтобы смеяться от счастья. Мечтатель — я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере десять рублей из скудных моих заработков.

Решившись, я стал однажды вечером на страже у дверей духана «Симпатия». Мимо меня небрежным парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками — они рассматривали женщин, крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бедрами. В сумерках просвечивала бирюза. Распустившиеся акации завывали вдоль улиц низким, осыпавшимся голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыбалась по проспекту: ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи.

Вера пришла позже, когда стемнело. Рослая, белолицая — она плыла впереди обезьяньей толпы, как плывет богородица на носу рыбацкого баркаса. Она поравнялась с дверьми духана «Симпатия». Я качнулся, двинулся.

— В какие Палестины?

Широкая розовая спина двигалась передо мною. Вера обернулась.

— Вы что там лепечете?..

Она нахмурилась, глаза ее смеялись.

— Куда бог несет?..

Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом.

— Десятка — вам не обидно будет?..

Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрения.

— Да есть ли они у тебя, десять рублей?..

Мы вошли в подворотню, я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем двадцать один рубль, серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные к серебряным.

— Десятку мне, — отдавая кошелек, сказала Вера, — пять рублей прогуляем, на остальные живи. У тебя когда получка?..

Я ответил, что получка через четыре дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей.

— В Боржом бы от такой жары...

Бант охватывал Верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей.

— Ну и дуй в Боржом...

Это я сказал — «дуй». Для чего-то оно было мною произнесено — это слово.

— Пети-мети нет, — ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день ее был сделан и заработок со мной был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами.

Мы дошли до подножия горы святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люля-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждавших свои дела. Опершись на стоящие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабатчика в том, что для него пришла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабатчик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люля-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шелка рукавов, она пристукивала по столу кулаком, серьги ее летали между длинных выцветших спин, оранжевых

бород и крашенных ногтей. Люля-кебаб остыл, когда она вернулась к столу. Лицо ее горело от волнения.

— Вот не сдвинешь его с места, ишака этого... На Михайловском с восточной кухней, знаешь, какие дела можно поднять...

Мимо столика, один за другим, проходили знакомые Веры — князя в черкесках, немолодые офицеры, лавочники в чесучовых пиджаках и пузатые старики с загорелыми лицами и зелеными угрями на щеках. Только в двенадцатом часу ночи попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями ее чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масляную бумагу. Плечистая старушка в газовой шляпёнке, с рыжей сумкой на боку, ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час — не меньше — ушел на проводы. Я ждал Веру в прелом номере, заставленном трехногими креслами, глиняной печью, сырыми углами в разводах.

Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показала мне врагом, прилипчивым врагом...

В коридоре шаркала и раздражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему. Агония одной была длительна, предсмертные содрогания порывисты; другая умирала, трепеща чуть заметно. Рядом с пузырьком на потертой скатерти валялась книга, роман из боярской жизни Головина. Я раскрыл ее наугад. Буквы построились в ряд и смешались. Предо мною, в квадрате окна, уходил каменистый подъем, кривая турецкая улочка. В комнату вошла Вера.

— Проводили Федосью Маврикиевну, — сказала она. — Поверишь, она нам всем, как родная была... Старушка одна едет, ни попутчика, никого...

Вера села на кровать, расставив колени. Глаза ее блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня, в двухбортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась.

— Заждался, небось... Ничего, сейчас сделаемся...

Но что собиралась Вера делать — я так и не понял. Приготовление ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку от клизмы над головой, кружку с белой кишкой, болтающейся по стене. Когда вода согрелась, Вера перелила ее в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в сторону.

— Пока вода доспеет, — сказала моя возлюбленная, — подь-ка сюда, попрыгунчик...

Я не двинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и трехногую мебель...

О, боги моей юности!.. Как непохожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев за стеной, на протяжный, закатывающийся их визг...

Вера подложила ладони под груди и покачала их.

— Что сидишь невесел, голову повесил?.. Поди сюда...

Я не двинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать.

— Или денег пожалел?

— Моих денег не жалко...

Я сказал это рвущимся голосом.

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?..

— Я не вор.

— Нинкуешь у воров?..

— Я мальчик.

— Я вижу, что не корова, — пробормотала Вера. Глаза ее слипались. Она легла и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу.

— Мальчик, — закричал я, — ты понимаешь, мальчик у армян..

О, боги моей юности!.. Из двадцати прожитых лет — пять ушло на придумывание повестей, тысячи повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на зёмлю. Видно на роду мне было написано, чтобы тифлисская проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчике у армян. Если бы я меньше и ленивей думал о своем ремесле, — я запел бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце-деспоте и матери-мученице. Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь из всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому и еще потому, что так нужно было моей слушательнице — я родился в местечке Алешки, Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного пароходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. Десяти лет я стал воровать у отца деньги, подросши убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня с армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе четыре года..

— Да лет-то тебе сколько было тогда?..

— Пятнадцать..

Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили четыре года. Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти четыре года изучить ремесло; я не ударил пальцем о палец.. У меня другое было на уме — биллиард.. Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию..

Бронзовые векселя.. Сам не знаю, как взбрели они мне на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах.

..Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, церковному старосте..

Церковный староста — это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека.

Церковный староста — сказал я, и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья в желтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот — я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане, с теми самыми, которые Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающи-

мися животами... Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино и топчут чужие души и чужих женщин, как деревенский вор топчет огород соседа...

И я стал молотить про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то... Жалость к себе разрывала мне сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновения корчила меня. Струи ледяного пота потекли по лицу, как змеи, пробирающиеся по траве, нагретой солнцем. Я замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена. Керосинка давно потухла. Вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно пошла к окну. Передо мной двигалась ее спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступах гор, загорался свет.

— Чего делают, — прошептала Вера не оборачиваясь, — боже, чего делают...

Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице пошвыстывали остывающие камни. Запах воды и пыли шел по мостовой... Голова Веры пошатывалась.

— Значит — бляха... Наша сестра — стерва...

Я понурился.

— Ваша сестра — стерва...

Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле.

— Чего делают, — повторила женщина громче. — Боже, чего делают... Ну, а баб ты знаешь?..

Я приложил обледеневшие губы к ее руке.

— Нет... Откуда мне их знать, кто меня допустит?

Голова моя тряслась у ее груди, свободно вставшей надо мною. Оттянутые соски толкались о мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как телята. Вера сверху смотрела на меня.

— Сестричка, — прошептала она, опускаясь на пол рядом со мной, — сестричка моя, бляха...

Теперь скажите, мне хочется спросить об этом, скажите, видели ли вы когда-нибудь, как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата-плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки прочь от обтесываемого бревна?.. В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете, испытал любовь, которой вы не испытаете, услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар, камнем лежавший в кровати. Проснувшись, мы засмеялись друг другу. Я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное жаркое солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках. Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать нам приятное. Когда испарина бисером обложила меня — я поставил стакан доньшком вверх. Расплачиваясь с турком, — я придвинул к Вере две золотых пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар.

Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один — и это будет мой последний — золотой.

1922—1928.

Колывушка

(Из книги «Великая Старица»)

Во двор Ивана Колывушки вступило четверо — уполномоченный РИКа Ивашко, Евдоким Назаренко, голова сельрады, Житняк, председатель колхоза, только образовавшегося, и Адриан Моринец. Адриан двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашко пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших прялках, у окна, сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанные косынками, с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами — они походили на монашек. Между полотенцами и дешевыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку.

— Сколько податку платит? — вертясь, спросил Ивашко.

Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо прялки.

Ивашко фыркнул, узнав, что Колывушка платит двести шестнадцать рублей.

— Бильш не сдужил?..

— Видно, что не сдужил...

Житняк растянул сухие губы, голова Евдоким все смотрел на прялку. Колывушка, стоявший у порога, мигнул жене; та вынула из-за образов квитанцию и подала уполномоченному РИКа.

— Семфонд?.. — Ивашко спрашивал отрывисто, от нетерпения он ерзал ногами, вдавливая ее в половицы.

Евдоким поднял глаза и обвел ими хату.

— В этом господстве, — сказал Евдоким, — все сдано, товарищ представник... В этом господстве не может того быть, чтобы не сдано...

Беленые стены низким, теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту. Ивашко снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу.

— Товарищ представник, — Колывушка ступил вслед за ним, — распоряжение будет мне или как?..

— Довидку получишь, — болтая руками, прокричал Ивашко и побежал дальше.

За ним двигался Адриан Моринец, нечеловечески громадный. Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот, — вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы.

— У чому справа, Тымыш?..

Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, веселая жердь,

перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами.

— Дом твой под реманент забирают...

— А меня?..

— Тебя на высылку...

И журавлиными своими ногами Тымыш бросился догонять начальство.

Во дворе у Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пенёк, в нём торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жереба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Колывушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось; кобыла застонала и понесла. Розвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бороны. Из-под кровавой, льющейся завесы вышли ее глаза. Жалуюсь, она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на ее брюхе.

— Помиримось,— протягивая ей руку, сказал Иван,— помиримось, дочка...

Ладонь в его руке была раскрыта. Ухо лошади повисло, глаза ее косили, кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии. Она натянула шлею и двинулась, таща прыгавшую борону. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз, в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину, и поворачивал топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце.

— Маты,— услышал Иван далекий голос,— маты, он все погубляет...

Дверь открылась; из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Желтые волосы облегали дыры ее щек, рубаха висела как саван на плоском ее теле. Старуха ступила в снег мохнатыми чулками.

— Кат,— отнимая топор, сказала она сыну,— ты отца вспомнил?.. Ты братьев, каторжников, вспомнил?..

Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала.

— Примись, стерво,— сказал ей муж.

Иван стоял, упершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору. Казалось, он производит трудную работу, вбирая в себя воздух и выталкивая его.

Дядька Колывушки, Терентий, бегая вокруг ворот, пытался запереть их.

— Я человек,— сказал вдруг Иван окружившим его,— я есть человек, селянин... Неужто вы человека не бачили?..

Терентий, толкаясь и приседая, прогнал посторонних. Ворота завизжали и съехались. Раскрылись они к вечеру. Из них выплыли сани, туго, с перекатом, уложенные добром. Женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы. На веревке, привязанная за рога, шла корова. Воз проехал краем села и утонул в снежной, плоской пустыне. Ветер мял снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо.

Колывушка, глядя прямо перед собой, прошел по улице к сельраде. Там шло заседание нового колхоза «Видрождения». За столом распластался горбатый Житняк.

— Перемена нашей жизни, в чем она есть, ця перемена?

Руки горбуна прижимались к туловищу и снова уносились.

— Селяне, мы переходим к молочно-огородному направлению, тут громаднейшее значение... Батьки и дела наши топтали чоботами клад, в настоящее время мы его вырываем. Разве это не позор, разве ж то не ганьба, что, существуя в яких-нибудь шестидесяти верстах от центрального нашего миста — мы не поладили господарства на научных данных? Очи наши были затворены, селяне, утекать мы утекали сами от себя... Что такое обозначает шестьдесят верст, кому это известно?.. В нашей державе это обозначает час времени, но и цей малый час есть человеческое наше имущество, есть драгоценность...

Дверь сельрады раскрылась. Колывушка в литом полушубке и высокой шапке прошел к стене. Пальцы Ивашки запрыгали и врылись в бумаги.

— Посбавленных права голоса, — сказал он, глядя вниз на бумаги, — прохаю залишить наши сборы...

За окном, за грязными стеклами, разливался закат, изумрудные его потоки. В сумерках деревенской избы в сыром дыму махорки слабо блестели искры. Иван снял шапку, корона черных его волос развалилась.

Он подошел к столу, за которым сидел президиум, — батрачка Ивга Мовчан, голова Евдоким и безмолвный Адриян Моринец.

— Мир, — сказал Колывушка, протянул руку и положил на стол связку ключей, — я увольняюсь от вас, мир...

Железо, прозвенев, легло на почернелые доски. Из тьмы вышло искаженное лицо Адрияна.

— Куда ты пойдешь, Иване?..

— Люди не принимают, может, земля примет...

Иван вышел на цыпочках, ныряя головой.

— Номер, — взвизгнул Ивашко, как только дверь закрылась за ним, — самая провокация... Он за обрезом пошел, он никуда, кроме как за обрезом, не пойдет...

Ивашко застучал кулаком по столу. К устам его рвались слова о панике и о том, чтобы соблюдать спокойствие. Лицо Адрияна снова втянулось в темный угол.

— Не, — сказал он из тьмы, — мабуть, не за обрезом, представник.

— Маю пропозицию... — вскричал Ивашко.

Предложение состояло в том, чтобы нарядить стражу у Колывушкиной хаты. В стражники выбрали Тымыша, виконавца. Гримасничая, он вынес на крыльцо венский стул, развалился на нем, поставил у ног своих дробовик и дубинку. С высоты крыльца, с высоты деревенского своего трона Тымыш перекликался с девками, свистал, выл и постукивал дробовиком. Ночь была лилова, тяжела, как горный цветной камень. Жилы застывших ручьев пролегали в ней; звезда спустилась в колодцы черных облаков.

Наутро Тымыш донес, что происшествий не было. Иван ночевал у деда Абрама, у старика, заросшего диким мясом. С вечера Абрам протатился к колодцу.

— Ты зачем, диду Абрам?..

— Самовар буду ставить, — сказал дед.

Они спали поздно. Над хатами закурился дым; их дверь все была затворена.

— Смылся,— сказал Ивашко на собрании колхоза,— заплачем, чи шо?.. Как вы мыслите, селяне?..

Житняк, раскинув по столу трепещущие острые локти, записывал в книгу приметы обобществленных лошадей. Горб его отбрасывал движущуюся тень.

— Чем нам теперь глотку запхнешь,— разглагольствовал Житняк между делом,— нам теперь все на свете нужно... Дождевиков искусственных надо, распашников надо пружинных, трактора, насосы... Это есть ненасытность, селяне... Вся наша держава есть ненасытная...

Лошади, которых записывал Житняк, все были гнедые и пегие, по именам их звали «мальчик» и «жданка». Житняк заставлял владельцев расписываться против каждой фамилии.

Его прервал шум, глухой и дальний топот... Прибой накатывался и плескал в Великую Старицу. По разломившейся улице повалила толпа. Безногие катились впереди нее. Невидимая хоругвь реяла над толпой. Добежав до сельрады,— люди сменили ноги и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял Колывушка в рубаше навывпуск под жилеткой, с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, пронеслись под потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперед, с жадностью смотрел на белые волосы Колывушки.

— Скажи, Иване,— поднимая руки, произнес старик,— скажи народу, что ты маешь на душе...

— Куда вы гоните меня, мир,— прошептал Колывушка, озираясь,— куда я пойду... Я рожденный среди вас, мир...

Ворчанье проползло в рядах. Разбрасывая людей, Моринец выбрался вперед.

— Нехай робит,— вопль не мог вырваться из могучего его тела, низкий голос дрожал,— нехай робит... Чью долю он заест?..

— Мою,— сказал Житняк и засмеялся. Шаркая ногами, он подошел к Колывушке и подмигнул ему.

— Цию ночку я с бабой переспал,— сказал горбун,— как вставать — баба оладий напекла, мы, как кабаны, нашамались с нею, аж газ пушали...

Горбун умолк, смех его оборвался, кровь ушла из его лица.

— Ты к стенке нас ставить пришел,— сказал он тише,— ты тиранить нас пришел — белой своей головой, мучить нас — только мы не станем мучиться, Ваня... Нам это — скука в настоящее время — мучиться.

Горбун придвигался на тонких вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице.

— Тебя убить надо,— прошептал он, догадавшись,— я за пистолью пойду, унистожу тебя...

Лицо его просветлело, радуясь, он тронул руку Колывушки и кинулся в дом за дробовиком Тымыша. Колывушка, покачавшись на месте, двинулся. Серебряный свиток его головы уходил в клубящемся полете хат. Ноги его путались, потом шаг стал тверже. Он повернул по дороге на Ксеньевку. С тех пор никто не видел его в Великой Старице.

Весна 1930 г.



Римма КАЗАКОВА

Посылаю вам стихи. Все мы очень переживаем за Ташкент. Я хочу, чтобы гонорар за мои стихи пошел на восстановление Ташкента. От души хочется верить, что скоро все будет позади. Всего вам доброго.



Не тревожит — и не надо! —
зуб ли, сердце ли, страна,
целина или война,
Брянщина или Гренада...

И пока нас не схватило,
не скрутило нас пока,
мы пасёмся, как скотина,
чтоб нагуливать бока.

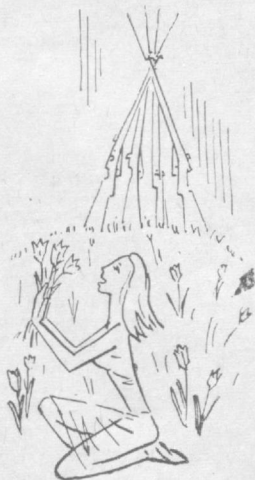
Мы, как травка, мы, как ёлки,
без единого греха.
Но приходят злые волки
по овечьи потроха.

И откуда что берется?
Грозным смыслом всё полно.
И пришит глагол «бороться»
пулей к небу, как панно...

Я живу смешно и тихо —
перед чем мне отвечать?
Мне наряды шьет портниха,
любит в лапу получать...

Но кончаются наряды
и слюнявые тома.
Разрываются снаряды,
осыпаются дома!

И откуда что берётся?
Чисто, горько, горячо.
И висит глагол «бороться!»,
как ружье, через плечо...



Смысл лишь только в отдаче!
Это зреет во мне.
Я желаю удачи
отдающим — вдвойне.

Пляшет он или пашет,
счастлив или в беде...
Даже женщине падшей,
даже павшей звезде.

Ну, а ты всё поодаль,
понахмутив чело...
Ничего ты не отдал
и не взял ничего.

Может, я не безгрешна,
что собой для других
тяжела, как орешня
от орешков тугих.

Ну, а ты, ты — нешибкий...
Я же, как на духу:
вся в ошибках, в ушибах,
как цыпленок в пуху.

Так ходи же, ходи же
без обид и беды,
пооглядней, потише, —
черт тебя побори!

Не могу я иначе...
Нежность — будто к родным! —
Всё во мне она плачет
ребенком грудным.



Жила б уверенно и густо,
веселой крепкостью крепка,
но и меня, как Яна Гуса,
сжигают средние века.

О, чертово средневековье!
Неужто дымный твой костёр,
твоя кинжалы, копья, колья
сильней, чем атомный котёл?!

Угрозой твоя рожа корчится,
и страшно от твоих забав...
Но вот живу я, как мне хочется,
и я тебе не по зубам!

Живу несправедливо, рискованно,
не зная, что же завтра станется.
Но достаю со дна морского —
что праведникам не достанется.

И всё же я живу несправедливо...
И, как лучи морской звезды,
мои пути, мои труды
асимметричны и неправильны.

Морская странная звезда...
Ну что ж, я не боюсь возмездия.
Жизнь — не звезда, она — созвездие.
Да, и на это нет суда.

Да, и на это нет костра.
И все равно люблю клеткою
я буду ясною и крепкою
всем, чем туманна и пестра.

И кем ни будь, ты как-нибудь
засветишься, чем небо светится:
горстеобразная Медведица,
рекообразный Млечный путь...



Сергей ОСТРОВОЙ

Посылаю стихи из новой книги, которая должна выйти в «Советском писателе».

Примите, пожалуйста, выражение моего дружеского участия.

Пожимаю вам руку. Обнимаю ваш город.

Сергей Островой
12 июля 66г.

Истина

Извел я десять тонн чернил,
И как-то, в пору лютую,
Я истину удочерил.
Худую. Необутую.

Я дал ей пить. Я дал ей есть.
Что с нею в жизни станется?
И с кем однажды ей присесть
За стол судьбы достанется?!

Но Истина — плохая дочь.
Весь мир ей глупым кажется.
И вот она уже неспрочь
Позлиться, покуражиться.

Встает надутой поуутру.
На всех глядит таинственно:
— А я хочу играть в игру
Сама с собой. Единственно.

И больше всех себя любя
(Мол, вот вам, люди, нате-ка!),
Вдруг стала Догмой звать себя,
А ласково — Догматика.

Шли годы. Истина росла.
Гордилась весом. Вкусами.
И всё сражалась, как могла,
С коварными искусами.

Она была сплошной замок.
Сжат рот до побеления.
А я кропил ее, как мог,
Слезами умиления.

А мне не ждать бы, не гадать,
Да зря не окаянствовать,
А дать мешок ей, палку дать,
И пусть уходит. Странствовать.

И дай ей бог друзей найти.
Влюбиться. Спорить. Мучиться.
Я знаю: Истина в пути —
Она добру научится.



Характер

Я — не уютный. Не попутный.
И дай мне бог таким быть впредь:
Могу взлететь, как шарик ртутный,
Когда бы надо замереть.

Я — не удобный. Не подобный
Дельцам и докам. Хоть умри.
И сколько раз пирог свой сдобный
Легко менял на сухари.

Я — не сановный. Не злословный.
Не записной слагатель строф.
И не свидетель хладнокровный
Запавших в души катастроф.

Я — не смиренный. Не разменный.
А всё кому-то не хорош.
Да, я — гордец. И я — надменный
С тем, кто других не ставит в грош.

Я — не двудонный. Не поклонный,
Чту человеческую честь.
И если очень в жизнь влюбленный,
То в этом суть моя и есть!

Белый слон

Белый слон забрался на березу
И, толкая хоботом зарю,—
Хочет потоптаться по морозу,
Хочет побродить по январю.

А ведь где-то пальмы есть. И джунгли.
От жары земля раскалена.
Топчет в травах солнечные угли
Грустный братец белого слона.



Он трубит, трубит на водопое,
Но безмолвно небо и леса.

И летят в объятья русской хвон
Африканских джунглей голоса.

Слушай, слон! Зачем ты кличешь брата?
Он придуман русскою зимой.
Он из снега, а у вас — экватор,
Он не может в Африку, домой.

Белый, он забрался на березу
И, толкая хоботом зарю, —
Хочет потоптаться по морозу,
Хочет побродить по январю.



Георгий БЕРЕЗКО



На даче

Отрывок из романа „Необыкновенные москвичи“

... Сегодня Федор Григорьевич повез Таню поглядеть на дачку, которую они называли уже своей. Виктор, сын, не выразил желания сопровождать их и хотя бы на одно воскресенье оставить свои занятия, и Орловы отправились вдвоем. Поселок, куда они ехали, находился всего в двадцати пяти километрах от городской черты, что опять же очень устраивало Федора Григорьевича: на мотоцикле (как удачно получилось, что он не успел еще его продать!) он ежевечерне мог приезжать из города и привозить провизию, а главное — Таня не оставалась бы надолго одна.

Ведя машину, Орлов время от времени кидал взгляд вбок, на жену. Она покачивалась глубоко в коляске, укрытая плащиком, придерживая у шеи концы газовой косынки, вздувшейся над головой, как детский шарик. И шурясь от встречного ветра, и отворачиваясь, поглядывала с ребячьим любопытством по сторонам.

Сама эта поездка была как будто внове ей — слишком уж давно не выезжала она так далеко. И масса неожиданного открывалась ей сегодня на этих по-воскресному пустоватых улицах — москвичи спозаранку спешили любыми способами выбраться куда-нибудь на природу: она дивилась еще незнакомым ей уличным подземным переходам, в сумеречную прохладу которых она стремительно ныряла в своей коляске, чтобы через несколько мгновений плавно вынестись на слепящий, солнечный простор, к новому летнему кафе, раскинутому на площади полосатый кочевой шатер, новым магазинам, где она еще не побывала, огромному стеклянному кубу нового парикмахерского «салона». И ее развлекали и пестрые толпы на остановках пригородных автобусов — мужчины в цветастых по-женски кофтах навывпуск и женщины в узень-

ких брючках, и попутные открытые грузовики, переполненные поющей молодежью, экскурсантами, собравшимися в какой-нибудь подмосковный музей.

Федор Григорьевич, наклоняясь к жене, кричал:

— Не укачало тебя? Может, ехать потише?

Она отвечала благодарным взглядом. Конец шарфика выскальзывал из ее тонких, как у девочки, сухих, постаревших пальцев, и флажком взметывался над головой; космочки волос разлетались, и бледное лицо становилось весело-испуганным.

Развернувшись на проспекте Мира у кинотеатра «Космос», Федор Григорьевич выехал на Старо-Калужское шоссе. Шесть-семь лет назад здесь еще стояли по обеим сторонам бревенчатые, с мезонинчиками, с узорными наличниками на окошках, ветхие теремки подмосковной деревни; Орлов отлично ее помнил — говорили, что тут селились большей частью вышедшие на покой официанты. Ныне от этого давнего их поселения уцелели лишь два-три опустевших домика, тонувших в бурьяне, — деревянный, обреченный на скорое исчезновение арьергард, теснимый со всех сторон красной кирпичной кладкой и строительными траншеями — Москва росла и раздвигалась. И только за аккуратной насыпью окружного шоссе открылось то свободное до горизонта, полное дивного июньского света пространство, что на языке горожан и называется «загородом».

— Чисто-поле! — дошел до Федора Григорьевича сквозь треск мотора голос жены. — Чисто-поле! — восклицала она и смеялась, полузакрыв глаза, подставив лицо плотному, дующему навстречу ветру.

И Федору Григорьевичу с надеждой подумалось, что уже сейчас, сию минуту началось выздоровление Тани... «Чистый воздух» — это были два слова, обладавшие, по-видимому, волшебной силой врачевания, — так часто они повторялись докторами, пользовавшими ее... «Увозите жену на свежий воздух, у нее кислородное голодание...» — несколько раз повторила Орлову старая ученая женщина, профессор, которую он привез к Тане после недавнего тяжелого приступа, — и с укором посмотрела при этом на него. «Ах, как хочется на воздух!» — вырвалось как-то у самой Тани, хотя она никогда ни о чем не просила. И вот, наконец-то, бескрайний, неохватимый взглядом бездонный океан этого свежего воздуха опажнул их своим дыханием, и они чем дальше, тем глубже погружались в него.

Дорога стелилась длинными перекатами посреди низких зеленых холмов; синеватые елочки, посаженные стенкой вдоль шоссе, и молодые липки с их светлой, блестящей, как новенькие монетки, листвой, симметрично, будто в танце, разбегались перед несущимся мотоциклом. Федор Григорьевич сам жадно, глубоко вздохнул и тут же закашлялся, захлебнувшись, — так сразу его легкие переполнились воздухом, крутым, как вода из родника. Здесь и вкус у воздуха был другой, отдававший запахами травы, земли, нежной лиственной горечью. А затем, откуда ни возмись, повеяло сиренью — струйки ее сладковатого запаха становились все явственнее, все ошутимее. И когда за очередным переполюс дороги показалась деревня и мотоцикл домчал до околицы, этот запах объяснился: везде там, во дворах, в палисадниках, в узких проходах между заборов, цвела сирень, — махровая, крупноцветная, грузная...

— Сирень! — изумилась Таня. — Смотри, как поздно в этом году!.. Ах, господи, какая прелесть!

У кирпичной лавки сельпо Федор Григорьевич затормозил: в деревне играли свадьбу, и шоссе перед лавкой переходила шумливая, хмельная свадебная процессия. Впереди, выставив остренькое плечо, шел, аккомпанируя веселью, белоголовый подросток-гармонист со своей

блистающей перламутром музыкой. Невеста в длинном розовом платье и жених в черном пиджаке с кисточкой сирени в петлице держались за руки, точно боялись потерять друг друга. И, провожая их, все отчаянными, горловыми голосами пели что-то частушечье и пританцовывали. На подругах невесты были венки из ромашек, наложенные на городские замысловатые прически; кто-то в бабьем сарафане, напыленном поперх костюма, пошел впрысдаку; носились мальчишки, неистово крича, размахивая мохнатыми ветками сирени, и ее лепестки и листья кружило ветром вместе с пылью, поднятой на шоссе.

— Свадьба!— воскликнула Таня.— Ты видишь, свадьба!

Приподнявшись в коляске, она разглядывала жениха и невесту с тем особенным, тайным любопытством, что испытывают на чужих свадьбах все женщины в мире.

— Какие молоденькие! Совсем еще дети!— сказала она, восхитившись.— И ждать несколько не захотели...

Их заметили в толпе, кто-то из девушек бросил в них веточкой сирени — и так удачно, что цветы упали прямо в коляску; Таня обрадовалась, засмеялась, а Федор Григорьевич совершенно неожиданно для себя крикнул:

— Горько!!

С растерянным видом он оглянулся на жену и тут же включил мотор. Треща и подпрыгивая, мотоцикл покатиł дальше, навстречу другим загородным чудесам, и музыку этого сиреневого карнавала отнесло назад.

Опять потянулись зеленые холмы и голубоватые рощицы вдалеке, а потом, за довольно крутым поворотом, блеснула раскаленная добела полоса — это была вода, река. На берегу, на песчаной кромке пляжа, шевелились в тесноте купальщики, выше, в траве, бродили белые гуси.

Таня воскликнула:

— Река! Народу купается сколько!

Решительно всё, даже эта узкая, высыхающая речка с купальщиками, радовало ее сегодня. И Федор Григорьевич, глядя на жену, чувствовал ту отраженную, как в зеркале, и словно бы удвоенную радость, что доступна лишь очень любящим людям. Если они и добиваются чего-нибудь для себя, то потому только, что это необходимо тем, кого они любят; эгоизм их любви становится уже столь сильным, что уничтожает сам себя. И Орлову было хорошо сейчас оттого, что хорошо — он видел это — было Тане. В его памяти воскресло:

У лукоморья дуб зеленый,

Златая цепь на дубе том...

Но он не успел ничего проговорить вслух — мотоцикл взлетел на мост, и под колесами, точно клавиши, застучали доски настила; Орлов весело крикнул жене:

— Держись, брат!

За мостом перед ними расступился лес, пахло хвоей, нагретой смолой; с ветки, нависшей над дорогой, вспорхнула белогрудая птичка, ветка закачалась, точно привечая их. И дымный луч, пронзивший эту тенистую неразбериху, скользнул по лицу Тани.

— Лес,— сказала она.

Федор Григорьевич вспомнил: «Там лес и дол видений полны» и усмехнулся: этот подмосковный лес и впрямь был полон видений. Между деревьев мелькали гуляющие, пробирались гуськом сквозь кусты пионеры в красных пилотках. А на опушке, на поляне, можно было увидеть «Победу» или «Волгу» с распахнутыми настежь дверцами, будто испутившую дух после поездки; под деревьями сидели, лежали, спали, закусывали пассажиры, и их семейные привалы — эти белые

скатерти, расстеленные в траве, заваленные снедью, уставленные пластмассовыми голубыми стаканчиками, все эти пестрые одеяла, пледы, корзинки, выгруженные из машины, были издали похожи на цветники.

Следуя полученным наставлениям, Федор Григорьевич свернул у водонапорной башни на асфальтовую дорожку. А еще через сотни две метров остановил мотоцикл перед деревянным зеленым домиком под черепичной кровлей — здесь помещалась контора дачного поселка. Увы, она оказалась закрытой: «Ушел обедать» извещала всех, кого это могло интересовать, анонимная записка, наколотая на гвоздь в двери. И Орлов с женой сами отправились разыскивать свой участок, что, впрочем, не представляло большого труда: на заборчиках, у каждой калитки была прибита табличка с номером.

— Вот наша! — вскрикнула первой Таня, когда мотоцикл поравнялся с табличкой «12» — номером их участка. — Одни березки! Ах, господи, у нас одни березки! — повторяла она.

Это был новый подарок ей: на участке действительно густо росли березки, тоненькие, с мелкой, рябоватой зеленью. Они кругом обступили синее с белым строение: синие тесовые стены, белые оконные переплеты, белое крылечко. И все здесь — и сама дачка, и узкий, уходивший в глубину участок, огороженный справа и слева от соседей новеньким штакетником, и эти березки — все производило впечатление чего-то полугрушечного, а может быть, очень юного, еще не достигшего взрослых размеров. А в общем, трудно было представить себе что-нибудь более милое и сразу же вызывавшее желание остаться здесь.

— Избушка там на курьих ножках, — проговорил, смеясь, Орлов. Татьяна Павловна всплеснула руками и постояла так перед калиткой, сложив ладошку к ладошке, точно молилась.

Они обошли синий домик кругом — войти в него было нельзя, на двери висел замок — и Федор Григорьевич приподнимал жену за талию, чтобы она могла заглянуть в окна.

— Кухонька чудесная. Есть чуланчик, — сообщила она. — Комната вполне приличная, даже большая. Верандочка...

Федор Григорьевич повторял за нею, как эхо:

— Кухонька... Чуланчик... Веранда.

Медленно, в разных направлениях, они походили по участку, делая там открытие за открытием: позади домика росли три яблони и две сливы. Яблони были тоже трогательно молодые — четырехлетки, не старше, но в их матовой листве скрывалось уже несколько белесоватых шариков — твердых, как шарики пинг-понга. А сливы стояли облепленные множеством своих как бы запотевших плодов, правда, еще зеленых и крохотных. У корней одной из них, под слежавшейся, прошлогодней листвой, Татьяна Павловна случайно нашла кустик земляники. Она откинула носком туфли коричневый лист, и под ним оказались две рубиновые капельки — две красные головки, покоившиеся на изящных, зелененьких воротничках. Опустившись на колени, Татьяна Павловна долго их рассматривала, и когда Орлов потянулся, чтобы сорвать землянику, она придержала его руку. Он и не настаивал — эти две ягодки на паутинных стебельках, два огонька, горевшие в сыроватой полутьме опавшей листвы, являли такое живое совершенство красоты, что жестоким казалось коснуться их и погасить.

Обнаружен был на участке и один дубок с плотненькими вырезными листьями и рябиновый куст возле вкопанного в землю дощатого столика и трех соединенных скамеек. За столиком можно было и посидеть в рябиновой перистой тени, и попить чайку на свежем воздухе, как полагается в дачном обиходе. От прежних обитателей этого земного рая осталась еще островерхий собачий домик у калитки и забытый в дальнем углу, продранный гамак, напоминавший баскетбольную сетчатую

корзинку без дна. Татьяна Павловна присела к столику и еще раз огляделась; она устала от обилия счастливых впечатлений, и лицо ее стало блаженно рассеянным.

— Посмотри, они кружатся,— непонятно сказала она.— Посмотри же!

— Кто они?— не понял Федор Григорьевич.— О чем ты?

— Березки. Ты только хорошенько посмотри, внимательно. И ты сам увидишь — они кружатся.

Он послушно перевел взгляд на деревца, обступившие дачку — однообразно стройные, чистенькие, атласно блестящие. У него зарябило в глазах, и на какое-то мгновение ему тоже почудилось, что березки неслышно перемещались, плыли, как в медленном хороводе.

— Выдумываешь, выдумщица,— ласково сказал он.

Никогда нельзя было заранее предугадать, что она, Таня, воображит, что скажет, чем позабавится? Но в ее ребячливости, даже вздорности, и заключалась, на вкус Федора Григорьевича, некая тайна женского очарования. Едва ли он когда-нибудь серьезно задумывался над подобными вопросами, но словно бы ошущю он искал необычайного: старый уже человек, солдат, таксист, — он все еще искал чего-то, чего не было в нем самом — обыкновенном, как ему казалось, трезвом, поглощенном одними практическими заботами... И ему посчастливилось, как редко кому, найти это детски непрактическое, чудаковатое (что было всего притягательнее) — найти в своей жене... Самая их первая встреча в том заколдованном, грибном леске по дороге на Пухово — ох, и давно ж это было! — произошла как будто в мире волшебных превращений. И впоследствии все годы, прожитые вместе, — кому и как можно о них рассказать, кто поймет, не застыдит! — все эти нелегкие, с вечными хлопотами, с неустройствами, с малыми недостатками годы были в то же время каким-то лишь ему, Федору Григорьевичу, доступным Лукоморьем с множеством добрых чудес...

— Как легко здесь дышится! — сказала Таня. — Ты чувствуешь? Ты дыши! Вот как я — не торопясь, глубоко, — и она сама медленно вдохнула. — Здесь можно жить до ста лет...

— Свежий воздух — я всегда тебе говорил, — сказал Федор Григорьевич.

Подумав, Таня заговорила другим тоном, как бы соображая вслух:

— Надо будет обязательно позвать к нам Андрея Христофоровича. Я обещала угостить его обедом. Он и сам просил.

Федор Григорьевич промолчал, склонил голову — большую, поросшую щетинистым, густым, но уже почти совсем белым ежиком; Таня, не дождавшись ответа, продолжала:

— Он так много сделал для нас. Ведь правда же — и для меня и для тебя. Он странный человек, я никогда не думала, что он способен что-нибудь сделать просто так, ни за что... Он был черствый, деловой. Наверно, время все-таки меняет людей, — иногда даже к лучшему.

— Это ты верно. Надо будет его позвать, — сказал Федор Григорьевич, не поднимая головы. — Нехорошо будет, если мы не поблагодарим...

— И знаешь, я подумала: не найди он меня в домовой книге, ничего бы сейчас у нас не было. Вот уж, действительно, случай.

— Точно: случай, — согласился Орлов.

Таня умолкла, присматриваясь к мужу, — она скорее почувствовала, чем заметила в нем перемену. Он сидел напротив, глядя вбок, положив на столик тяжелую руку с костяными, низко обрезанными ногтями, светло выделявшимися на концах пальцев. Плечи его под белой рубашкой с проступившими кое-где пятнами пота были опущены, как у притомившегося человека.

— Федя, ты что? — негромко окликнула она.

Он медленно взглянул на жену.

— А ничего, — сказал он. — Ты что?

— Но я уже обещала Андрею Христофоровичу. И будет просто неловко, — заговорила она, торопясь, ни в чем еще не разобравшись, но уже торопясь что-то поправить.

— Ну, конечно, разве ж я!.. — сказал Орлов. — Человек проявил внимание, невежливо будет, если мы... И вообще, почему не позвать?..

— Я тоже так думаю. Это самое маленькое, что мы обязаны сделать, — сказала Татьяна Павловна.

— Конечно, зови, какой может быть разговор.

Орлов оперся обеими руками о столик и рывком, точно сбрасывая груз со спины, поднялся.

— Пойду, заведу во двор свой драндулет, — сказал он.

... Весь день простояла чудесная погода — ясная, но не душная, с тающими снежными облачками в зените, с неуловимым, играющим ветерком, — отличная погода московского лета. И Орлов с женой провели великолепный день: погуляли по поселку, прошли к речке, и Федор Григорьевич выкупался, а Таня посидела на накренившемся стволе старой ивы, уронившей ветви в воду. В этом тенистом месте тоже были купальщики, хотя илистый, заросший травой берег и не очень располагал к купанию; на траве сидели ребята с гитарой и пели под ее тихое треньканье:

*Ах, Арбат, мой Арбат,
Ты мое отечество!..*

В кустах, в раковой серебристой листве мелькало розовое и белое — там переодевались девушки. Раздвигая ветки, они появлялись, подобные нимфам, в своих тугих купальниках и, подпрыгивая, бежали к реке по намокшему, холодившему ступни земляному спуску.

Федор Григорьевич вошел в воду, не сняв майки, стесняясь показывать свои шрамы, и Татьяна Павловна сперва посердилась на него — зачем он скрывает то, чем имеет полное право гордиться, но потом одобрила, сама не зная почему.

Вернувшись на свой участок, они сели под рябиной закусить; Орлов распаковал чемоданчик, Татьяна Павловна покрыла столик скатертью, привезенной из дома, и они поели крутых яиц и холодных котлет, запивая все сладким и теплым, нагретым в чемоданчике клюквенным «напитком». Все же этот обед показался им необычайно вкусным... Откуда-то появились осы и жужжали, и садились на скатерть, хлопотливо шаря своими игольчатыми хоботками, а одна запуталась в волосах Тани, и Федор Григорьевич щелчком прогнал насекомое.

После обеда он занялся починкой гамака, похожего на баскетбольную корзину — вновь связал порвавшиеся бечевки, а самую большую дыру заштопал аккуратно тонким электропроводом. Проверив, держат ли еще веревки, которыми гамак был привязан к двум столбам, он расстелил на нем плащик. И через четверть часа Таня задремала уже под еле слышный лепет березок, овеваемая слабым ветерком. А Федор Григорьевич устроился поблизости, прямо на траве, привалившись спиной к одному из гамачных столбов...

Теория Герасим

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА

Посылаю новые стихи.

Если они будут приняты и опубликованы, то прошу мой авторский гонорар перевести на счет 170064 в пользу жителей Ташкента, пострадавших от землетрясения. Трагедия, которую вы пережили, глубокой болью отозвалась в каждом сердце.

Л. Татьяничева

31-III - 66 г.

Сембисе



НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА

Из всех дорог,
что встретятся в пути,
всего трудней нам первую пройти,
начав ее с отметки нулевой,
где каждый промах и успех —
впервой!
И первый бой.
И первая любовь.
И тяжесть первых выстраданных слов.
Отметка та,
что сам ты начертал,
в твоей судьбе —
начало всех начал.
Она — начало всех твоих вершин,
дорог, что в путь сливаются один!

КАМНЕЛОМКА



В царстве руд,
в ущельях громких,
в плоских пригоршнях дорог
вы видали камнеломку —
белый простенький цветок?
От цветка, от жизнелюба,
трудно взгляд мне отвести.
Как он смог сквозь камень грубый
нежным сердцем прорасти?
Камнеломку я спросила:
— Не возьму никак я в толк,
где берешь ты эту силу,
хрупкий маленький цветок?
Он ответил мне негромко,
простодушно, не со зла:
— Ты ведь тоже камнеломка,
вспомни,
как сама росла!

* * *

Собираю я по зернышку
капли дождика с ветвей
и протягиваю солнышку:
— На, высокое, испей!
Наработалось ты досыта,
одарив нас ярким днём.
Пышных нив живое золото
добрым светится огнём.
Далеко еще до вечера:
горяча луча ладонь...
...Пьет из рук моих доверчиво
солнце, как усталый конь.





Дождевые капли

1

О, дней моих космическая скорость!
Неугомонно по земле бродя,
Несу в себе дождей осенних скорбность
И радость радуги в конце дождя.

Бывает, задержусь на повороте,
Забьется мысль, как капля на стекле:
А может, отсидеться в подворотне
И не бродить под ливнем по земле?!

Ходить всегда под радугой счастливой,
Забывать, какая поступь у беды...
Ведь непременно смоем долгий ливень
С дороги зыбкой все мои следы.

Но я иду в любую непогоду,
Ступаю на размытые пути...
О нет! Не может разрешить природа
Невымокшим под радугой пройти!

2

О, капли, капли, словно камни,
И стон оконного стекла!
Из-за Печоры, из-за Камы
Ты, туча, под окно пришла?!

Твоя бездонная утроба
Давно дождями тяжела.
Ты с Енисея или с Оби
В мой дом незваная пришла?!

Неужто даже в человеке
Порой бывает так темно?!

Ты собрала в себе все реки
И выплеснула мне в окно!

3

Опять дожди. Опять идут дожди.
Опять тревога ожила в груди.
Не жди меня, не жди меня, не жди:
Разлука будет долгой, как дожди.

Не видно птиц, не видно в небе птиц,
У тучи хмурой четких нет границ.
Как много в мире незнакомых лиц!
Нет твоего лица, как в небе птиц.

Замерзнет дождь и превратится в снег.
Засохнут слезы — превратятся в смех.

4

Нам полдень дал по капле дождевой.
И ты уже спешишь накинуть плащ,
Чтоб не коснулся дождь тебя, как плач
Чужой, невольно вызванный тобой.

Нам полдень дал по капле дождевой.
И ты уже спешишь раскрыть свой зонт,
В его границы втиснув горизонт,
И движешься по улицам — слепой.

Нам полдень дал так много теплых луж.
А ты их давишь вафлями галош,
Галош, непромокаемых, как ложку,
И ты сомнешь, я знаю, первый луч.

Нам полдень дал так много теплых луж.
Бреду по ним, — доверчивей детей,
Босые пятки вместо «кораблей»,
Вступаю в них, как на цветущий луг,

А ты в моем дожде — случайный гость...

5

Шел дождь.
Но среди туч сияло солнце
И отражалось в каплях дождевых.
И выбежала девочка из дома,
Еще не веря, что бывает так:
И дождь идет,
И ярко солнце светит.
Босые ноги шлепают по лужам,
А полинявшие цветы на ситце
Становятся чуть ярче от дождя...

...Неужто так
Рождается открытье
Большого мира?..

Дощатый пол, дощатый стол,
Дощатый потолок...
Я жду тебя. Ты приходи
Ко мне на огонек!

И деревянные дрова
Начнут в печи трещать.
На деревянную кровать
Со мной ты ляжешь спать.

О скромный, деревянный скрип
Сосновых половиц!
Здесь все из дерева, но нет
Здесь деревянных лиц.

Здесь все из дерева, но нет
Здесь деревянных слов.
Есть только песенка сверчка
И песенка часов.

Сосновый дух, суровый вздох
Деревьев за окном...
Я жду тебя. Ты приходи
В мой деревянный дом.

Пока он здесь, пока он есть,
Пока еще могу
Построить деревянный дом
Из щепок на снегу.

Лазарь КАРЕЛИН

От автора

В 1946—48 годах мне довелось работать на Ашхабадской киностудии начальником сценарного отдела. Теперь это уже давние времена, но друзья тех лет, товарищи по работе, стоят перед глазами, как живые. Да, как живые, хотя многих из них нет среди нас: их жизни унесло ашхабадское землетрясение 1948 года.

Совсем недавно я закончил работу над романом, условно названным мною пока «Киностудия», в котором пытаюсь рассказать о своих товарищах с Ашхабадской киностудии. Этот роман — мой долг перед погибшими друзьями, памяти которых я и посвящаю свою работу. Буду рад, если глава из этого романа войдет в номер «Звезды Востока», цель которого — посильный вклад писателей в благородное дело восстановления Ташкента после ташкентского землетрясения 1966 года. Верю, еще лучше и краше станет скоро Ташкент!

Л. Карелин

*27 сентября 66 г.
7 ноября.*

ДРУЗЬЯ

(Глава из нового романа)

Еще не дойдя до своего кабинета, Леонид услышал телефонный звонок. Звонил телефон на его столе. Голос этого телефона Леонид мог бы узнать из сотни. Старичина-аппарат, порыжелый, с трубкой раструбом, был мил его сердцу, напоминая детство. Такой же аппарат стоял дома на столе отца. Кажется, в доисторические времена, лет двадцать с лишним назад. И у этого аппарата, как и у нынешнего, был голос старичка из сказки, дребезжащий, слабый и могущественный голос доброго гнома. Всякий звонок, и верно, бывал чудом. Всякий звонок что-то менял в жизни маленького Леонида. То отец куда-то уходил, послушавшись звонка, и в его комнате все становилось твоим. То звонок возвещал о гостях, а гости — это всегда веселье. То звонок рассказывал какую-то новость, и отец и мама принимались ее обсуждать, и можно было их слушать, как слушаешь сказку, всегда ожидая в конце какого-нибудь чуда.

И сейчас Леонид тоже ждал чуда. Он побежал на звонок, боясь, что старческий голос оборвется, он схватил трубку, чуть не выронив ее, он сразу охрип, еще не сказав ни слова.

— Да, я слушаю.

«Товарищ Галь?» — строго, но с мягконевнятным туркменским «л», спросили в трубке.

Чуда не произошло!

— Он самый.

«Звоню вам сегодня все утро. А вас нет и нет».

Чудак, как это он мог подумать, что Лена вдруг позвонит ему?

— Я был на съемках. С кем я говорю?

«С вами говорят из Республиканского Министерства иностранных дел. Здравствуйте».

— Здравствуйте. Слушаю вас.

Вот ведь, из Министерства иностранных дел тебе звонят, а из Министерства просвещения и не думают. Она сказала: «Позвони мне завтра». Он не позвонил, он ждал, что она сама это сделает. С тех пор прошел почти месяц.

— Да, да, я слушаю. Какая статья? Простите, о чем, о чем? Да нет, я слушаю вас...

Голос в трубке осерчал, истончился, слова заторопились. Леонид отчетливо увидел своего собеседника. Он был молод и толст, и губы у него были, как у капризного мальчика. И волосатая рука, державшая трубку, была в запястье пухлой, как у мальчика. Славный, холеный мальчик из Республиканского Министерства иностранных дел, из того самого Министерства, у которого никаких дел на студии не было и не предвиделось. Оказывается, дела нашлись. Леониду предлагалось написать для нужд Министерства — так и было сказано: «для нужд» — статью о работе киностудии. «Обстоятельную статью, с фактами, примерами».

— Зачем? — спросил Леонид. — Зачем вашему Министерству понадобилась статья о киностудии?

«Для заграницы», — отвечивал холеный мальчик. Интересно, мальчик ли? А вдруг какой-нибудь седовласый уже дядя.

— Их это интересует?

В трубке послышался смех. Капризные губы раздвинулись в улыбке. Мальчик больше не сердился на своего собеседника из киностудии. Наивный, должно быть, человек. Несерьезный. Что с них взять, с киношников...

«Нас это интересует, — сказал мальчик. Вот только мальчик ли? — Понимаете, нас. Мы должны пропагандировать свою культуру, понимаете? В частности, эта статья будет переведена и напечатана для Ирана, для нашего соседа. Теперь понимаете?»

— Но студия не так уж хорошо работает, хвастать-то, вроде, нечем.

«Как — нечем? Вы сами говорили, что идут съемки. Каждую неделю я лично вижу в кино вашу хронику. Как — нечем? Туркмения, где до Советской власти не было даже...»

— Понял, понял... Ничего не было и все есть теперь — даже киностудия.

«Будете писать?»

— Нет. Опять показухой заниматься? Нет, не стану.

«Странный вы человек... Знаете что, заходите ко мне, побеседуем, это все-таки не телефонный разговор. Между прочим, у нас хорошие гонорары...».

Нет, это не мальчик. Министерские мальчишки так не разговаривают, они не деньги сулят, они сразу же начинают угрожать.

— Нет,— сказал Леонид.— Статью написать я не могу. Очень, знаете ли, занят.

«Хорошо... Тогда я вынужден буду поставить в известность...»

— Вынуждайтесь. Ставьте. Попутного вам ветра.— Леонид повесил трубку.

А все-таки это был мальчик. Но и ты, Лена, тоже мальчик. Запальчивый, быстрый на ответ паренек. Мало тебе доставалось? погоди, еще достанется... Чепуха, ты меня не запугаешь, товарищ начальник сценарного отдела! Погонят с работы? Боже мой, да сделайте милость!

Почти месяц прошел, а Лена не звонит. И ни разу они не виделись. В городе, где труднее не встретиться, чем встретиться. Он тому виной? Нет, он стал с недавних пор там бывать, где прежде бы и по приговору суда не оказался. На лекции о международном положении в Доме учителя побывал. Сидел с какими-то старушками, явно совершенно глухими. Одна все переспрашивала: «Что, что он говорит?» Другая помалкивала, только не к месту вдруг принималась кивать докладчику или вдруг руку тянула, как в школе. Он побывал на концерте в филармонии. Оркестр там был такой, что слушать его игру лучше всего было из фойе или с улицы. Но ребята были смелые, играли не иначе как Чайковского, Глинку, Римского-Корсакова. Местный бомонд ходил на эти концерты. Что ни говори, а Чайковский, Римский-Корсаков, Глинка.

Нет, не было Лены ни в Доме учителя, ни в филармонии, нигде ее не было, будто она уехала из города. Но он знал, она никуда не уехала. Иногда ему казалось, он слышит ее голос. С кем-то она идет и разговаривает торжествующим, победным своим голосом. Иногда ему чудилось, что это она свернула за угол. Ему бы пойти на голос, ему бы прибавить шаг, чтобы поглядеть, Лена ли это свернула за угол, но он всякий раз останавливался и всякий раз кто-то невидимый протягивал к нему руку и тихонько, не больно сжимал горло.

Разговор с министерским мальчиком ободрил Леонида. Хорошо совершать хоть крошечные поступки. Тогда можно решиться и на большое. Он протянул руку и снял с рычажков трубку, приложил, прижал к лицу этого гнома с бородой-раструбом. Гном окликнул его голосом телефонистки, гном поторавливал его, старичку было некогда. Леонид назвал нужный номер. «Соединяю!»— посулил гном. Не было никакого сомнения, что он решил сотворить чудо, что Лена сейчас окажется на месте и вот прямо сейчас скажет в трубку свое протяжное, самонадеянное, деловитое, насмешливое, ласковое «алло!»

«Алло!»— сказала Лена устало и раздраженно.

Леонид помалкивал. Опять кто-то невидимый протянул к нему руку и тихонько, не больно сжал горло.

«Да говорите же! Слушаю вас!»

Эта женщина с гневным, с начальственным этим голосом никогда не станет его женой! Нелепо даже надеяться на это. Как он мог только надеяться? Леонид молчал.

«Это ты?..»— Голос у Лены смягчился.

Отозваться, сказать, что да, совершенно верно, это он самый? Но она не назвала имени. Она сказала всего лишь «ты». Этим «ты» мог быть и кто-то другой. Леонид молчал, прижимаясь лицом к своему гному, который сделал чудо, раздобыл ему Лenu, но, кажется, на этом и успокоился. Не очень-то щедрый чудотворец.

«Лена, это ты?..»

Ага, расщедрился все-таки гном!

— Да,— сказал Леонид.— Представь себе, это я.

Хуже, развязнее, глупее ответить было просто невозможно! Гном, старый друг, будь моим Сирано!

«Ну здравствуй, Ленья... А я уж думала, что ты уехал, в свою Москву укатил... Нет, убежал. Как бросился тогда бежать, так до самой Москвы и добежал...»

Леонид молчал, ожидая вдохновения. Ну, где, где эти слова, которые помогут ему сейчас спастись в глазах Лены?!

«Отвечай же!..» — торопила она его.

— В Москве мне делать нечего, — сказал Леонид. Он начал говорить без всякой надежды, что выпутается. Просто начал говорить. — Зачем мне Москва, когда в Ашхабаде столько всего интересного.

«Да?..»

— Ну, к примеру, побывал я в Доме учителя на лекции о международном положении...

«Да?..»

— Потом побывал на концерте нашего замечательного симфонического оркестра.

«Да?..» Всего две буквы в этом «да», а кажется, что множество слов, целые фразы, говорящие тебе, что ты не более как мальчишка, а собеседница твоя мудра, снисходительна, терпелива.

— Лена, я хочу тебя видеть.

Спасибо, гном! Наконец-то ты помог найти нужные слова. И какие это простые слова.

— Спасибо, старый, мудрый гном.

«Какой гном? — удивилась Лена. — О чем ты?»

— У меня в кабинете есть гном, — радостно переводя дух, сказал Леонид. Самое трудное было позади, теперь можно было и помолоть языком. — Знаешь, этакий старичок-гном из детства. Твой добрый друг из детства. Двадцать лет его не было со мной, а теперь он тут, рядышком. У него борода раструбом, и он рыжий. Зашла бы, поглядела. Кстати, у нас начались съемки. Снимаем фильм под названием «Клюква в сахаре». Очень забавный фильм. Заходи, посмотришь.

«Сегодня вечером я дома, — сказала Лена. — Два длинных и два коротких... Прости, ко мне пришли».

Она повесила трубку.

— Ура! — сказал Леонид и почесал пальцем гному бороду. — Спасибо тебе, мой высокочтимый друг!

— С кем это ты разговариваешь? — В дверях стоял Клыч, его друг. Действительно друг, еще по ВГИКу, когда Леонид и думать не мог, что судьба сведет их на этой студии. В дверях стоял Клыч, замечательный парень, просто отличный парень. Он был курносый — вот так туркмен! Но он был туркмен, самый настоящий, влюбленный в свой Ашхабад, в свой край родимый. И он был совсем другой здесь, не такой, каким был в институте. Там он был почти русским, здесь стал только туркменом. И строго следил, чтобы быть всегда туркменом. Гордый, сдержанный, даже настороженный и добрый, обескураживающе добрый — на, друг, бери все, что у меня есть. Замечательный парень! Он считал, что нет у него важнее дела, как всякий миг стоять на страже чести, достоинства своего народа. Не зря же он учился, сын чабана, и доучился до звания кинооператора художественных фильмов. И не зря знал английский, и не зря был сильным шахматистом, и не зря был спортсменом — волейболистом и гимнастом. Всем этим он овладевал ради своей Туркмении. Замечательный парень! Он был как раз таким «националистом», каким и должен быть настоящий человек, он заслуживал уважения.

— Клыч, дорогой, я разговаривал с гномом, — сказал ему Леонид. — Прости, ко мне пришли, — сказал он в трубку, нет, трубке, и осторожно уложил своего гнома на рычажки, похожие на оленьи рога.

Ничего удивительного, гном ездил по лесу на оленьей упряжке. — Клыч, дорогой, я несказанно рад тебе.

— Выпил?

— Да, утром. Два стакана чая.

— Тогда это от счастья, что начали снимать фильм?

— Садись, Клыч, и не напоминай мне об этом чудовищном фильме. Говори со мной о чем угодно, только не об этом фильме.

Клыч быстро подошел к Леониду и быстро коснулся пальцами его ладони.

— Спасибо, Леня. Знаешь, я сбежал оттуда. Знаешь, я рад, что не работаю в этом фильме. Сперва обиделся, а теперь рад. Слушай, почему это так? Почему утвердили самый плохой сценарий? Ведь те два были лучше, очень даже лучше. Ты что-нибудь понимаешь?

— Садись, Клыч, садись на диван и давай поговорим о чем-нибудь другом. Не о кино, а о чем-нибудь другом. Ты давно женат, Клыч?

— Два года.

— Мне нравится твоя жена. Ох, прости! Это, кажется, не совсем в ваших обычаях — хвалить чужую жену? Но я хотел только сказать...

— А я понял, что ты хотел сказать. Не оправдывайся.

— И твой сын мне очень нравится. Такой он курносый, как и папаша. Сколько ему?

— Год и два месяца.

— И три дня и пять часов и шесть минут. Ты — счастлив?

— Леня, чай был наполовину с араком?

— Даже без сахара, а не то что с араком. Сахар в нашей колонии имеется у Руховича. И знаешь, почему?

— Интересно.

— У нас у всех его крадут, а у него нет. Он насыпал свой сахар в банку из-под какао, затем вырезал кружок из бумаги диаметром с банку, написал на этом кружке: «Стыдись!» и положил его поверх сахара. И, представь, кто бы там ни рыскал в его номере — уборщицы, администраторы, полотеры — все до единого стыдятся.

— Среди уборщиц есть туркменки? — насторожился Клыч. — Те, что крадут, туркменки?

— Ну ты хорош! Ты просто великолепен! Тебя это всерьез интересует?

— Всерьез.

— Нет, Клыч, среди уборщиц нет туркменок. Их вообще нет в гостинице — твоих туркменок. И в парикмахерских, и в столовых, и в магазинах. Вы попрытали своих туркменок. Хорошо ли это, Клыч? Скажи, дипломированный деятель культуры, хорошо ли это?

— Хорошо, — убежденно сказал Клыч, убежденно и серьезно. — Мы маленький народ и наша сила в гордости. Если женщина не горда, у нее вырастет не гордый сын. Женщина не должна быть в услужении.

— А мужчина?

— Мужчина может постоять за себя. У него кулаки. И вообще, он — мужчина.

— Убедительно. Тысячу лет назад думали точно так же. Тебе, дорогой Клыч, тысяча двадцать пять лет. Скажи, ты не чувствуешь усталости, бремя лет тебя не гнетет?

— Нет. А что, ты прав, Леня. Иногда мне кажется, что я жил давным-давно когда-то. Водил караваны, участвовал в набегах, бывал в Персии.

— И было у тебя четыре жены и дюжина сыновей.

— Нет, не смейся. А тебе разве не кажется иногда, что ты жил на земле и раньше? Ну, в те самые времена, которые тебе особенно нравятся из истории? Какие времена тебе особенно нравятся, Леня?

- Не времена, а люди.
- Хорошо, пусть люди.
- Когда-то я мечтал быть Наполеоном.
- Так. А еще?
- И Александром Македонским.
- А еще?
- Но самой моей заветной мечтой было стать пожарником.
- Ну вот, снова ты все поднял на смех!
- Это я с горя, Клыч. Ведь я так и не стал пожарником. Ну, а

Наполеон, когда я подрос, померк в моих глазах. Он был захватчиком, оказывается. И Македонский был не лучше. Подумать только, он даже посмел в Туркмению вступить. Кстати, вы не встречались? Тогда, в бытность твою до нашей эры?

— Нет, с ним нет. Но я гнал его воинов. Я гнал их с нашей земли. Я и горстка моих товарищей. Крошечный отряд. Но мы наводили ужас на завоевателей. Наши кони были быстрее ветра. Наши стрелы всегда настигали цель.

— Помню, помню, мне докладывали о каком-то отчаянном кочевнике из племени теке. Так это был ты?

— Я. Но только из племени номудов. Нас считают не воинственными, но это не так.

— Верно, из племени номудов. Да... А потом мы встретились в киноинституте. Помнишь, в коридоре, возле лестницы с бронзовыми кентаврами?

— Помню. Ты стоял у стены с Марком Шпильбергом и с ребятами из сценарного, и Марк рассказывал вам свои одесские истории. Я подошел, и ты кивнул мне, чтобы я тоже послушал Марка. Я понял, ты гордишься Марком, тем, как он здорово рассказывает. Слушая его, мы тогда от смеха садились на пол.

— Все-то ты помнишь... Марк погиб на войне, в первые дни войны. Хороший был парень.

— Да, очень. Никто не знает, что его ждет впереди.

— Это верно. Но Марк Шпильберг был самый мирный из нас, самый невоенный.

— Интересно, о чем он мечтал в детстве?

— Этого никто теперь не узнает.

— Жаль его. Жаль всех, кто погиб молодым.

— Ага, вот вы где, Клыч!— В комнату быстро вошел Денисов. Повернулся на каблуках, глянул с прищуром в печальные лица друзей.— Кого это вы тут оплакиваете, вживовцы?

— Всех,— сказал Леонид.— Весь род человеческий. Присоединяйтесь к нашему плачу.

— Некогда. Послушайте, Клыч, как вы насчет того, чтобы пойти на картину вторым оператором?

— На какую картину?

— На ту, что снимается.

— Нет.

— Это не ответ, Клыч. У студии одна-единственная картина, вы на студии первый туркмен-оператор с дипломом и правом снимать художественные фильмы. Вам нельзя стоять в стороне.

— Я не собираюсь стоять в стороне. Будет другой фильм, не комедия, и я стану работать хоть ассистентом оператора. Я не понимаю комедий.

— Скажите прямо, вам не нравится этот сценарий?

— Не нравится. Это не про нас. И вообще ни про кого.

— У нас не было выбора, Клыч. Слушайте, если началась атака, пусть даже по-глупому, из-за дурацкой, никому не нужной высоты,

солдат не смеет стоять в стороне. А вы солдат, Клыч. И я очень рассчитываю на вас. Этой картине необходим человек, знающий что к чему изнутри.

— Там таких хватает.

— Клыч, нас тут трое вгиковцев. Мы все товарищи, какого бы года выпуска мы ни были. Я вас прошу, как друга, как вгиковца, идите на картину.

— Но еще вчера об этом не было разговора.

— Этот разговор приспел сегодня. Галь, не отмалчивайтесь. Скажите, будет Клыч полезен там или нет?

— Будет,— сказал Леонид.— Если только сработается с красавцем из Ташкента. Клыч, ты с ним сработаешься, как думаешь?

— Никак не думаю. Зачем мне думать, если я не собираюсь с ним работать?

— Чудачок, но ведь ты уже работаешь. Уже целую минуту как работаешь. Разберись-ка. Во-первых, ты солдат и не смеешь стоять в стороне во время атаки. Во-вторых, ты вгиковец, а вгиковцы — все за одного и один за всех. Сергей Петрович, все более убеждаюсь, что вы прирожденный дипломат. Скажите, Сергей Петрович, о чем вы мечтали в детстве, кем хотели быть?

— Я-то?— Денисов наклонился к Леониду, положил ему руку на плечо, а другой рукой притянул к себе Клыча.— Эх, ребятки, о чем я только не мечтал в детстве! Но, знаете, всё какие-то честолюбивые, не нашеньские мечты. Я ведь из рабочих, из самых-самых, а мечтал... Так что, Клыч, заматано?

Упираясь, не очень-то позволяя себя обнимать, Клыч медленно, движением скованным и гордым наклонил голову.

— Якши,— сказал он.— Пусть никто не скажет потом, что Клыч стоял в стороне.

— Эх!— воскликнул Леонид.— Ну какой я начальник сценарного отдела, если у меня нет в шкафу бутылочки коньяку! В Голливуде, например, всякий договор без рюмки просто считается недействительным. Товарищ директор, мне необходим подотчетный коньяк.

— И ящик с сигарами. А что, в моей конторе в Оттаве все это и было. Коньяк, бренди, виски, сигары. Именно так, Леонид Викторович, мы и работали.— Денисов прижмурил свои маленькие, синевой сверкнувшие глазки.— Как же это все далеко сейчас! Просто и не верится, было ли. За морями, за долами...

— Чем вы там занимались, Сергей Петрович?— спросил Леонид. Он давно собирался задать этот вопрос, но все не решался. Было ясно, Денисов не по доброй воле сменял свою работу в Оттаве на работу в Ашхабаде. Да Денисов мог бы и не ответить на вопрос, мог бы отмолчаться. А вот сейчас и спросилось легко и ответилось без труда:

— Торговал, торговал нашими фильмишками, ребятки.

— И все?— невольно вырвалось у Леонида.

— И все.— Денисов улыбнулся, прищурившись до синих, лукавых щелочек.— А вам что, тайны Мадридского двора нужны?

— Обожаю всякие тайны,— сказал Леонид.— Самому не дано, так за другого бы порадоваться. Жил человек! Повидал на своем веку! Играл в большую игру, в такую, где ставкой жизнь! А!? Верно, Клыч!? Недаром же я мальчишкой мечтал быть пожарником. Дом в пламени, крыша рушится, пожарные лестницы и те уже занялись, а я... Да что расписывать, все и так ясно... На десятом этаже в окне показалась девушка. Она заламывает руки, она кричит: «Спасите!» Но нет, даже самый лихой, самый лучший, самый усатый брандмейстер не смеет подступиться к пылающей стене. И тогда я, еще совсем новичок, этакый Гарольд Ллойд, выхожу вперед и... Стоит ли говорить, что девушка

спасена, что она влюбилась в меня и настойчиво желает стать моей женой. Между прочим, самая красивая в городе девушка...

— Ее случайно не Леной зовут?— осторожно спросил Клыч.

— И ты, Брут, из племени иомудов?! Кстати, в детстве я еще не прочь был превратиться в Юлия Цезаря. Но в Брута — никогда! А вырос, и выяснилось, что Брут был очень положительный персонаж, что он горой стоял за демократию. Не те я что-то стал книжки читать, когда вырос... Да, Брут, ее зовут Леной. Есть возражения?

— Раз ты Юлий Цезарь, а я Брут, ты все равно не станешь меня слушать.

— Не стану. «Уж иды марта наступили...»

— «Но не прошли!..»— подхватил Денисов, радостно просяив.— Ребята, если бы вы только знали, как мне хорошо с вами! Вот — слушать вас, всю вашу разлюбезную сердцу вгиковскую болтовню! Да и комната эта чем-то напоминает мне наш институт. Тот еще, на Ленинградском шоссе. Могу поклясться, что точно такой же диван стоял в нашем деканате.

— Бог с ним, с деканатом,— сказал Леонид.— А в сценарном отделе студии его следовало бы сменить. Смотрите, товарищ директор, дружины прут из него, как опята из пня.

— Тем лучше, не так авторы будут засиживаться.

— Авторы у меня и не засиживаются, они засиживаются в бухгалтерии. Кстати, Сергей Петрович, когда мы начнем платить по договорам с той элегантной аккуратностью, которая и авторов понуждает быть аккуратными в выполнении договорных обязательств?

— Нет, вы не лирик, Галь, вы только внешне похожи на лирика.— Денисов по-мальчишески с подскоком сел на диван.— Да, точнехонько, как у нас в деканате! И такие же шкафы там стояли с книгами, со всеми этими разрозненными Брокгаузами и Далями. Стойте, стойте, дорогой друг, а не в этих ли шкафах таятся те самые тома, которых недостает в моей энциклопедии?

— В вашей?

— Да, в той, что покоится в шкафах директорского кабинета.

— Так это как раз те тома, которых недостает в шкафах сценарного отдела.

— Ах, так?!

— Конечно, так. Сценарному отделу и книги в руки. В вашем кабинете, прошу прощения, они — бутафория, а у меня — орудие производства.

— Как, видимо, и диван!— Денисов, смеясь, повалился на диван, закинув ноги на спинку.

— Канада,— сказал Леонид.— Соединенные Штаты. Босс. Бизнес. Вам бы сейчас сигару, Сергей Петрович, а рядом бы столик с виски и с содовой. И готово, снимай кадр из жизни миллионера. Нет, ни в жисть не поверю, что в Канаде вы всего лишь поторговывали нашими фильмами.

— За кого же вы меня принимаете, сэр? — посмеиваясь, Денисов соскочил с дивана, ловко, упруго оттолкнувшись, будто это был спортивный снаряд.— Решено, сегодня же отстукаем приказ о вашем назначении на картину, Клыч.

Денисов, заторопившись, направился к двери. Тут ему больше делать было нечего. Все, что нужно, он сделал. Он даже сверх дела сделал: не только уговорил Клыча пойти на картину, но и пошутил с парнями, показал, что прост, дружелюбен к ним, но и от них тоже ждет дружественной поддержки. С порога он улыбнулся Леониду.

— Галь, завтра же пришлю вам все недостающие тома. Ваши, ваши они — согласен.

И ушел, прикрыв за собой дверь спешащей рукой. И вот уже слышен его голос во дворе студии. Распоряжающийся голос. Но никакого крика в нем, никакого начальнического напора. Спокойный, даже негромкий голос человека, уверенного, что его услышат, поймут и сделают все так, как ему надо.

— Молодец! — сказал Леонид. — Крепкий мужичок.

— Что за человек? — спросил Клыч. Он был подавлен, нет, оглушен случившейся в его жизни переменой. Уж очень все быстро сланилось. Пять минут назад он был в стороне, был зрителем и критиком, а сейчас надо ему было изготавливаться и срочно что-то менять в себе, решать для себя, чтобы назавтра встать к аппарату.

Не дожидаясь ответа, он побрел из комнаты. У него даже спина была несчастной.

— А все-таки, старик, поздравляю с назначением! — крикнул ему вдогонку Леонид.

Клыч слабо отмахнулся от поздравления. У него и рука была несчастной, когда он ею взмахнул. И дверь он прикрыл за собой так трудно, словно отправлялся под нож хирурга или к зубному врачу.

А верно, что за человек? В этом месяце Леонид понял про Денисова еще меньше, чем тогда, в первую их встречу. Руководитель — да, и отличный. А каков человек — не разглядишь. Вот и сейчас, ушел и унес с собой все, что могло бы натвердо остаться о нем в памяти. И такой и этакий. И простодушный и лукавый. Вдруг вспомнил про институт, вдруг рассказал о своей работе в Канаде. Вспомнил ни о чем, рассказал ни про что. Затаенный какой-то. Может, замерший изнутри? Жила ли в нем обида, потерпел ли он поражение, или все было в порядке у него — никак этого нельзя было понять. А интересно бы понять. Человек не пустяковый — это видно, это чувствуется даже на расстоянии, это во всей жизни студии уже чувствуется.





Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Мужа бы!..

На Земле —
веселенькая музыка:
«Мужа бы мне!

Мужа бы!

Мужа бы!..»

Нет числа вам,
рыжие челочки, —
Афродиты,

Ольги,

Марины.

Вздрагивают плечи

девчоночьи

от угара
жаркой молитвы.
Хочется

чего-нибудь особенного! —

Взять
и совершенно независимо
выйти замуж

сразу за Аксенова.

Или —

(на худой конец), —
за Фирсова.

Тоненько

понгрывают

мускулы:

«Мужа бы мне!

Мужа бы!

Мужа бы!..»

Озираюсь,
прямо от порога
буднично

и все же незнакомо

распоясавшаяся
природа
подтверждает
вечные законы!

Мужа бы! —
топорщатся былинки.
Мужа бы! —
гадят скворцы
загадочно.

Стынет ночь.
И в ней,
по-исполински

шеи изогнув,
трубят
сохатые!
Отозвались горы.
Лес разбужен...
Чуж плавниками

зов
семьи,

вверх по речке
ломится
горбуша
в клочьях
темноватой чешуи!
По проселкам
зашагало солнце.
Зубры,

захрапев,
столкнулись
лбами!
В петушином крике

день зашелся!..

И сама земля
вопит по-бабьи:
«Мужа бы мне!
Мужа бы мне!
Мужа бы!..»
Крик ее

возвышенно тяжёл...

На Земле —
веселенькая музыка.
И весьма способный
дирижёр.

Валерий Владимирович



УЛИЦА ОРУЖЕЙНИКОВ

Повесть¹

Талиб бежал из тюрьмы всего неделю назад.

Случилось это так. После того, как учителя с сыновьями и дядю Юсупа казнили, Талиба бросили в большую камеру, где содержались самые различные преступники. Были среди них и конокрады, и грабители, и убийцы, и люди, носившие рубашки с пуговицами, читавшие газеты и учившие детей не так, как требовалось в Бухаре.

Здесь заключенные тоже быстро менялись. Особенностью судопроизводства эмира Сеид-Алимхана было полное отсутствие какой-либо волокиты. Судьи заботились о том, чтобы осудить как можно скорее. Правильно ли они судят или неправильно — это меньше всего беспокоило бухарских судей.

Новички, едва осмотревшись в камере, обязательно обращали внимание на Талиба — вроде бы рано ему быть здесь. Талиба расспрашивали, а выслушав историю его злоключений, жалели и заботились о нем, как могли. Он охотно рассказывал о себе, о дяде, об отце, который, вероятно, уже вернулся в Ташкент, о русском мотоциклисте, о Рахманкуле...

Так получилось, что рассказы Талиба становились все более подробными. Всегда ведь находились люди, которые слушали его историю во второй или даже в третий раз, и для них Талиб добавлял новые подробности.

Однажды он рассказал о своем дедушке уста-Рахиме, которого называли еще и уста-Тилля, об исчезнувшей тетрадке и споре, который возник из-за нее между Усман-баем и кузнецом Саттаром.

Один из новичков слушал рассказ Талиба очень внимательно. К ночи, когда все легли спать, этот человек, с виду ничем не отличавшийся от других заключенных, расстелил свой халат на полу и предложил Талибу лечь рядом с ним. Дождавшись, пока все уснут, он шепнул Талибу:

— Сынок, я знал твоего дедушку. Это был замечательный человек. Он был самый мудрый из всех людей, каких я знал. Он умел считать без цифр, владел секретами металла, понимал, как строить каналы,

¹ Окончание. Начало в «Звезде Востока» №№ 1, 2.

и в наших краях он побывал в поисках того, что прячет от людей земля. Его не зря звали уста-Тилля!..

Сначала новичок не внушал Талибу особой симпатии. Рассказ о таинственной тетрадке волновал многих. Талиба расспрашивали с горящими глазами, с трепетом жадности или зависти.

— Вот видишь,— говорили ему,— такое богатство пропадает!.. А? Эх, несчастный! Ты миллионером мог бы стать, если бы не уехал из Ташкента...

Однако новый сосед по камере не говорил ничего подобного. Он говорил не о кладе, не о золоте, а только о дедушке Рахиме. О том, какой это был добрый и скромный человек, какой он был вежливый и умный, какие стихи знал, какой замечательный он был кузнец.

— Я работал на хлопковом заводе,— рассказывал новичок.— Все звали меня Касымом-полукузнецом, потому что я хотел стать кузнецом, а мое дело было мешки таскать. Твой дедушка тогда как раз в наших местах что-то делал. Мы не знали, что именно. Ходил, собирает камешки, землю копал. Все один, все молчком. Вдруг сломался на заводе пресс, которым хлопок сжимают для упаковки. Пресс сложная машина, из страны инглизов ее привезли, из-за моря. Сломалась у преса большая шестерня. Никто ее починить не мог. Твой дедушка зашел, посмотрел, говорит: «Я могу». Управляющий наш не поверил, но сказал: «Возьми шестерню, вот тебе рабочие и делай, что хочешь. Все равно ее выбрасывать». Я подошел к твоему дедушке и попросился в помощники.

Касым-полукузнец подробно рассказал, как они с дедушкой чинили шестерню, которая чуть ли не в рост человека, как построили большой гори и сваривали ее на огне.

— С тех пор,— закончил он свой рассказ,— я стал работать на прессе, и в кузнице теперь могу работать. Правда, зовут меня все равно, как и прежде,— Касым-полукузнец.

— За что вас арестовали? — спросил Талиб.

— За дружбу с русскими.

К Талибу в камере все относились хорошо, а с приходом Касыма-полукузнеца у Талиба появился настоящий старший товарищ.

Еще несколько дней Касым-полукузнец и Талиб просидели в Обхане, как вдруг начальство тюрьмы решило всех осужденных перевести в другую тюрьму, находящуюся довольно далеко от Арка. Осужденных набралось человек тридцать.

Касым и Талиб держались вместе.

— Когда перегоняют с места на место, лучше всего бежать. Из тюрьмы бежать труднее,— шепнул Касым.

— А меня возьмете? — спросил Талиб.

Касым вздохнул, давая понять, что если бы удалось, они обязательно убежали бы вместе.

Заклоченных вывели из цитадели поздно ночью. Тридцать человек, измученных тюрьмой и невероятно истощенных, вели под конвоем пятнадцать дюжих стражников, вооруженных винтовками и саблями.

Луна освещала спящую Бухару. Стояла какая-то особая тишина, будто город погрузили в глубокое озеро, будто не было в нем людей, собак, ишаков, лошадей, будто все умерло.

Вскоре они увидели тюрьму. Она, словно холм, возвышалась по правую сторону неширокой улицы и вся была залита холодным лунным светом. Талиб знал, что в этом холме под землей и находятся заключенные, здесь должны пройти годы его жизни.

Старший конвойный приказал остановиться. Заклоченных согнали к дуvalu, разрешили сесть. В тишине было слышно, как журчит арык, выбегающий из отверстия в основании глинобитной ограды.

Старший конвоя поднялся по ступенькам, ведущим ко входу в тюрьму. Он долго стучал в дверь, о чем-то переговаривался со стражей, а потом спустился вниз и, злобно ругаясь, сказал своим подчиненным, что придется будить начальника тюрьмы,— он как раз и жил в доме, окруженном стеной, возле которой сидели заключенные.

Старший конвоя принялся стучать в калитку начальника тюрьмы. После долгих переговоров его впустили, и заключенные слышали недовольный сонный голос начальника, жаловавшегося, что ему житья нет, такая у него тяжелая служба,— уж и ночью стали присылать арестантов, а в тюрьме и так слишком много злодеев, и лучше бы их всех казнить, чем кормить и содержать за счет милостивого эмира.

Один из заключенных тем временем попросил разрешения напиться из арыка. Конвоир махнул рукой в знак согласия, и люди стали наклоняться над ручейком, выбегавшим из-под стены. Они не только пили, но старались заодно и умыть лицо. Постепенно все придвинулись ближе к арыку, образовалась толпа.

Касым напился раньше Талиба и прежде, чем тот успел наклониться к воде, оттащил его за рукав.

— Погоди,— сказал он.— Арык протекает по кирпичной трубе. Взрослый не пролезет, а ты сможешь. Посмотри внимательно.

— Пролезть во двор? — удивился Талиб.— Там живет начальство тюрьмы...

— Тем лучше, глупый. Никто не будет искать тебя во дворе начальника.

Тут хлопнула калитка, из нее вышли два человека.

— Встать! — приказал старший конвоя.

Люди стали медленно подниматься, несколько человек, не успевших напиться, сгрудились у арыка, никто из конвойных не заметил, как Талиб ужом юркнул в кирпичную трубу.

— Кончайте пить! — кричал конвойный, отгоняя людей от арыка.— Кончайте пить!

Последним к воде припал Касым-полукузнец. Он не хотел пить и сделал это, чтобы дать Талибу время пролезть по трубе как можно дальше, и еще для того, чтобы разозлить конвойных.

— Вставай! — крикнул на него конвойный и пнул ногой.

Касым встал и присоединился к толпе заключенных.

— Считать будем? — спросил старший конвоя у начальника тюрьмы.

— Внутри сосчитаем, — ответил начальник.

Талиб слышал все, что происходило на улице. Он лежал в трубе, держа руками за железную решетку, которая была опущена в арык со стороны двора. Он лежал на животе. Вода доходила до подбородка, а голова упиралась в верхнюю часть трубы.

«Только бы они не увидели ноги», — думал Талиб.

Постепенно шум голосов на улице смолк, и Талиб понял, что заключенных загнали в тюрьму и сейчас будут считать. У него оставалось несколько минут, чтобы спастись. Он понимал, что не сможет долго лежать в холодной воде, а конвоиры в любой момент могут выбежать и обыскать улицу. Тогда — все.

Талиб принял решение: оттолкнулся от решетки. Тело его легко скользнуло по маслянисто-гладкой трубе. Не теряя ни секунды, он выскочил из арыка и побежал.

Остаток ночи и все утро он провел на кладбище, прячась за надгробными памятниками. Сушил одежду. Часам к одиннадцати утра можно было ее надевать. Только от халата еще шел пар.

Талиб долго блуждал по городу, пока не вышел на какой-то пустырь, где дымились жаровни с шашлыком, кипели котлы, а между

жаровнями и котлами ходили люди, приготовившие медяки на еду, но не знавшие, что лучше на них купить: то ли плов, приготовленный почти без масла и мяса, на одном лишь уменье обойтись без дорогих продуктов, то ли взять огромные пельмени-манты, начиненные мясом и луком, вернее, луком и рублеными сухожилиями.

У Талиба кружилась голова от запахов съестного. Он был голоден все эти долгие и страшные дни. Постоянный страх, зловоние камер, горе и слезы несчастных притупляли в тюрьме всепоглощающее чувство голода. Здесь же, на свежем воздухе, голод завладел мальчиком безраздельно.

Талиб присмотрел было уже, где схватить горсть распаренного гороха и куда бежать, но подумал, что его могут схватить и передать стражникам, а это — вновь тюрьма. И он решительно зашагал прочь.

К вечеру, незаметно для себя, Талиб оказался на базаре в центре города и увидел то же, что видел в первую свою прогулку по Бухаре вместе с дядей Юсупом. Тот же базар, тех же деловито шагающих покупателей, дервишей, просящих подаяния, и глиняную парикмахерскую, в дверях которой в своей обычной позе, облокотясь на косяк, стоял длиннолицый цирюльник с иронически оттопыренной нижней губой.

— Эй, парень,— сказал он.— Заходи.

— Денег нет,— ответил Талиб.

Талиб подумал, что ему очень нужно было бы побрить голову, он так зарос, что слишком обращал на себя внимание. Видимо, пока он обдумывал это, парикмахер и сам о чем-то догадался.

— Заходи, бесплатно побрею,— сказал он и взмахнул полотенцем.

Парикмахер работал молча, и Талиб был рад этому.

— Послушай,— вдруг сказал парикмахер,— я узнал тебя. И твой ташкентский выговор тебя выдает. Я ни о чем не спрашиваю тебя, я сам вижу: ты голодный, от тебя половины не осталось. Ты грязный, будто все это время сидел в Обхане или в Зиндане. Но я ни о чем не спрашиваю тебя. Если ты хочешь поесть и отдохнуть, то иди за мной, следы издали и заходи в тот дом, куда я зайду.

Через два часа, вымытый и сытый, Талиб сидел в доме парикмахера, которого, как выяснилось, звали Даудом, и рассказывал свою историю.

— Ложись спать,— сказал, наконец, хозяин.— Завтра утром я посоветуюсь с нашими стариками, что с тобой делать.

Талиб заснул как убитый и проснулся, когда солнце стояло высоко. Вначале он подумал, что парикмахер уже ушел на работу, но увидел, что тот сидит на айване и в маленькой ступе растирает что-то медным пестиком.

— Вставай, сынок,— сказала жена парикмахера.— Плохие новости.

Оказалось, что старейшины квартала, посоветовавшись, приказали Дауду как можно скорее спроводить беглеца. Они боялись, что за укрытие такого важного государственного преступника, бежавшего из тюрьмы, весь квартал может быть подвергнут наказанию.

— Если бы ты был еврей, они бы не побоялись,— пряча глаза от смущения, говорил Дауд.— Но ты не еврей, и никто не поверит, что мы прячем тебя из жалости, нас обвинят в государственной измене. В Бухаре всех инородцев обвиняют в государственной измене, а убить инородца так же легко, как убить собаку. Прости нас.

Дауд был очень смущен и расстроен. Талиб понимал, что у него нет другого выхода, ведь не может он рисковать жизнью семьи, своих детей и даже жизнью соседей. Талиб слишком хорошо знал теперь Бухару.

На прощанье, после завтрака, Дауд подозвал Талиба и довольно

долго колдовал над его внешностью. Он немного подбрил брови, чтобы изменить их изгиб, помазал чем-то вокруг глаз и в довершение взял из ступки клейкую красную краску и наложил ее слоем от виска к подбородку, нарисовав подобие какого-то следа — не то от удара плетью, не то от какой-то неведомой болезни.

— Теперь тебя трудно узнать, — сказал он, хмурясь. — Можно, но трудно. Только не умывайся. Иди, сынок. Прости меня и всех нас.

Неизвестно, чем бы кончились блуждания по Бухаре, тем более, что Талиб несколько раз встречал знакомых, если бы однажды, совершенно усталый и отчаявшийся, он не присел возле старого, полуразвалившегося домика, в котором находилась кукнархана.¹

Посетители кукнарханы, наглотавшись своего зелья, становились добродушнее, забывали дневные заботы, и кто-то из них дал Талибу кусок ячменной лепешки. Кое-как утолив голод, Талиб собрался уходить, но вдруг увидел старого нищего на белом ишаке. Нищий был слеп, ишака он погонял, тыча его в шею рукояткой посоха.

— Эй, — крикнул слепой, обращаясь к пустынной улице. — Кажется, здесь находится кукнархана?

— Здесь, — отозвался Талиб и подошел к старику, помог ему слезть и привязал ишака к столбику.

— Ты откуда? — резко спросил старик.

— Из Ташкента, — тихо ответил Талиб. Он не хотел, чтобы кто-нибудь посторонний услышал его.

— Пойдем со мной, — сказал старик и крепко, как клещами, взял Талиба за руку.

Они вошли в кукнархану и сели на коврик в углу.

— Мне кукнар и ему кукнар, — приказал нищий хозяину и бросил перед собой монету.

Старый нищий говорил мало и короткими фразами, больше слушал. Может быть, поэтому ему удалось довольно быстро узнать о Талибе все, что ему было нужно.

— Не из Бухары? Хорошо, — заключил он. — Ты чего-то боишься? Еще лучше. Я слепой, никто меня не упрекнет, что я прячу преступника. А ты преступник. Ты меня бойся. Я сразу вижу, что ты боишься. Будешь моим поводырем.

Вскоре выяснилось, что от слепого недавно сбежал поводырь, и Талиб подвернулся очень кстати.

— Это все от моей доброты они бегут, — объяснил старик. — Я обычно их на веревке держу, а как отпущу — так бегут. Тебя я не отпущу.

* * *

— Подайте моему господину! — Повторять этот призыв и бежать с воздетыми к небу руками — вот почти и все, что требовалось от Талиба. Правда, за день он очень уставал, а старик, если бывал по вечерам в плохом настроении, бил его перед сном или неожиданно щипал. Веревку он никогда не выпускал из рук. Ночью обвязывался ею. Конечно, можно было бы тихонько ночью перерезать веревку и убежать. Но куда?

Дни шли за днями. Слепой нищий и Талиб побывали во всех кварталах, возле всех мечетей, совершили путешествия ко всем святым местам. Однажды новый хозяин сказал Талибу:

— Завтра пойдем в Каган.

Несмотря на то, что станция Каган всего в тринадцати верстах от

¹ Кукнархана — место, где собираются любители кукнара — дурманящего вещества, приготавливаемого из сухих коробочек мака.

Бухары, Талиб не был там со дня приезда. Ночью он не спал и думал о том, что хорошо бы ему убежать от старика, сесть на поезд и...

Рано утром они отправились в Каган. Там в этот день должен был состояться большой базар, и по дороге вместе с ними двигались арбы, верховые, пешие и множество ишаков.

— Если на базар поедут богатые, ты мне скажи,— предупредил слепой.

Было еще сравнительно прохладно, ишак за ночь хорошо отдохнул, хозяин торопился, и Талибу почти все тринадцать верст пришлось бежать бегом.

Базар расположился недалеко от станции, возле пакгаузов.

Старик выбрал место, где было побольше народу, приказал Талибу сесть рядом и тихонько подсказывать, кто идет. Одно дело вечером, когда люди уже подсчитали выручку и охотно подают милостыню — тут и мальчишка может их уговорить, совсем другое дело утром. Утром нужно выпрашивать с умом и хитро.

— Правоверные! — начал слепой. — Только милость к несчастному слепому, совершившему паломничество к могиле пророка Али и удостоившемуся целовать священный камень в святой Мекке, только милость к слепому, который видит не глазами, а чистой своей душой, поможет вам в этот день. Подайте на святые молитвы!

Сгребая серебро и медяки, продолжая клянить, старик одновременно чутко слушал подсказки Талиба и удивлял проходивших, говоря:

— О, ты, богатый торговец скотом в черной шапке на серой лошади, ты, едущий со слугами, подай слепому, который видит чистой своей душой.

Или:

— О, ты, такой толстый и красивый, пусть жизнь твоя всегда будет светла, как твой халат зеленого шелка! Подай слепому, который...

У него так ловко все получалось, что Талиб сам увлекся.

В мешке за пазухой нищего набралось довольно много мелочи. Приближалось время обеда. И старик сказал:

— Пойдем отсюда. Найди мне такое место, где никто не видел бы, как я считаю деньги. Уйдем подальше.

Талиб решил, что лучше всего пойти за железнодорожные пакгаузы.

Перрон и главное станционное здание находились далеко левее, а по правую сторону торчала одинокая водокачка. За приземистыми красно-кирпичными зданиями действительно никого не было. Яркие сверкали рельсы, отражая почти отвесные лучи раскаленного полуденного солнца.

— Поди сюда, — подозвал Талиба слепой.

Талиб не уловил необычайной ласковости в голосе нищего. Он побежал, думая, что тот хочет слезть с ишака и нуждается в помощи. Но старик начал ощупывать его одежду: не утаил ли чего поводырь!.. Правой рукой старик все сильнее натягивал веревку.

Талиб сразу же извлек из халата рубль, недавно подаренный ему дальновидным Джурабеком. Торопясь, потому что совсем уже задыхался, он сунул монету в руку старика.

Едва пальцы левой руки нищего коснулись монеты, как лицо его исказила такая дикая злоба, что Талиб от испуга сделал невероятное усилие, вырвался из железной клешни и, ухватившись обеими руками за петлю, сдавливавшую горло, рванулся на другую сторону железнодорожного полотна.

— Стой! — крикнул старик. — Я убью тебя!..

Старик потянул веревку к себе и стал наматывать ее на кулак. Расстояние между ними неуклонно сокращалось. Время от времени

старик бил посохом по направлению натянутой веревки, пробуя, не достанет ли он до своей жертвы. Наконец палка ударила Талиба по плечу, и старик, еще немного подтянув веревку, принялся колотить его посохом изо всех сил. Талиб метался из стороны в сторону, но веревка точно указывала направление. Наискось, со свистом опустился кленовый посох на голову мальчика. Талиб упал на рельсы, потеряв сознание.

От водокачки к перрону тендером вперед, давая короткие гудки, двигался паровоз. Видимо, машинист не сразу понял, что происходит на путях, потому что он гуднул еще и только тогда дал контрпар.

— Ты что, сдурел, старый!— зло сказал машинист, пожилой человек в засаленной фуражке, когда, соскочив с паровоза, понял, что происходит.

Старик замахнулся на машиниста, но тот перехватил посох и вырвал его из рук нищего. Он перерезал петлю на шее Талиба, взял мальчика на руки и, не обращая внимания на неистовые крики слепца, поднялся на паровоз.

— Моя мальчишка! Моя мальчишка!— коверкая русские слова, кричал нищий.— Поддай моя мальчишка!

— Это тебе не эмирская Бухара,— сверкнув белками, крикнул в ответ машинист.— Эй, поберегись!

Паровоз тронулся, дал гудок и выпустил струю пара под ноги белому ишаку. Ишак рванулся, встал на дыбы, едва не сбросив седока, и, мотая хвостом, помчался вдоль полотна железной дороги.



Талиб не понимал, где он. Это было как во сне: быстрое движение, рокот колес, полыхающее пламя в топке.

Над ним склонился лысый человек.

— Где я?— спросил Талиб по-узбекски.

Человек вместо ответа протянул ему жестяную кружку.

— Выпей.

Талиб послушно отхлебнул. Вода была теплая и невкусная.

— Спасибо,— сказал Талиб.

— Очухался немного,— сказал машинист кочегару.— Умой его. И растолкуй, что надо, а то, небось, думает, на том свете оказался.

Через час Талиб сидел на табуретке у открытой двери и смотрел на пробегающие мимо поля, арыки, кишлаки.

— Мы думали, ты не очухаешься,— говорил ему машинист.— Минут сорок — как мешок. Хорошо еще, что дышал. Молчи, тебе нельзя болтать. У тебя, наверно, мозги стряслись.

Талибу захотелось есть, и это очень обрадовало машиниста и кочегара, они накормили его холодной бараниной и русским хлебом, которого Талиб не ел с самого Ташкента.

К вечеру Талиб вполне освоился на паровозе. Ему разрешили подавать гудок и заглядывать в топку.

Талиб всем интересовался, но сказал, что, хотя паровоз ему очень нравится, трамвай все же лучше. Его не нужно кормить углем, не нужно заправлять водой, он не дымит и не шумит. Вот бы вместо паровозов пустить трамваи!

— Мудрец!.. усмехнулся машинист.— В Самарканде я пересажу тебя на другой паровоз, там у меня приятелей много,— сказал машинист.— Приедешь ты в Ташкент и забудешь про Бухару. В Ташкенте Советская власть крепкая.

— Про Бухару не забуду,— покачал головой Талиб.— Никогда не забуду.

Тепрадъ уста-Тилля

Всю дорогу до Ташкента Талиб думал об одном, верил в это и точно знал, как это будет. Вот он приедет, спрыгнет на перрон и пойдет к себе домой. Возле чайханы его повстречают люди: продавец овечьего сыра, извозчик Нурмат, сам чайханщик. Все скажут одно и то же:

— Спешి домой, Талибджан. Где ты пропадал, дорогой? Твой отец давно вернулся и ждет тебя!..

Поезд пришел поздно вечером, и, пока Талиб добрался до улицы Оружейников, наступила ночь.

Талиб не побежал, когда увидел свой дом и калитку в углублении стены, наоборот, пошел медленно-медленно и, когда осталось два шага, почему-то зажмурился. Талиб толкнул калитку вытянутой рукой. Она не подалась. Тогда он, все так же не открывая глаз, провел рукой по крайней доске.

На калитке висел тот самый замок, который дядя Юсуп навесил, когда они уезжали.

«Отец не приезжал. Все — как и было... Но, может, отец прислал письмо?!»

Вскоре Талиб постучался в дом Тахира-почтальона. Бабушка Джамиля сразу узнала его по голосу и распахнула калитку. Вся ее семья собралась вокруг Талиба.

— Отец когда приедет? — спросил Тахир-почтальон и, увидев, как удивился Талиб этому вопросу, добавил: — Ты получил письмо? Я же передал его Усман-баю, чтобы он отправил тебе!

— Когда было письмо? — задохнувшись от волнения, выпалил Талиб.

— Давно уже, — сказал Тахир. — Я не знал, куда его девать. Сказал Усман-баю. Он говорит: «Дай, я отправлю его с верными людьми в Бухару. Прямо из рук в руки попадет».

Всего, чего угодно, мог ожидать Талиб, только не этого.

— А где Усман-бай? — спросил он.

— В Ташкенте, — ответил Тахир. — Он за последнее время часто уезжал на неделю-другую, сейчас, кажется, в Ташкенте. Рахманкула тоже долго не было, а недавно вернулся, правда, старается меньше показываться на улице...

«Это хорошо, что они оба в Ташкенте, — решил про себя Талиб... — Только бы не убежали, когда узнают, что я вернулся»...

— Помните кожного человека, который привозил меня на мотоцикле? — спросил он.

— Конечно! — с радостной готовностью воскликнул Тахир и порадовал сообщением: — Он приезжал сюда после вашего отъезда в Бухару, спрашивал «Толю»...

— Ладно, — сказал Талиб, что-то молча решая.

... В саду за дощатым забором было так же тихо и пустынно, как прошлой осенью. На веревке сушилось белье.

«Значит, она здесь», — обрадовался Талиб.

Олимпиада Васильевна тоже ему обрадовалась и хотела тут же усадить за стол, но Талиб решительно отказался: ему нужно поскорее увидеть дядю Федора.

— Ну что же, — согласилась Олимпиада Васильевна и объяснила, где искать Федора Пшеницына.

* * *

Федор Пшеницын то дул в телефонную трубку, то шелкал по ней ногтем.

— Барышня, барышня,— говорил он время от времени,— дайте мне бывшую мужскую гимназию.

Видимо, барышня с телефонной станции плохо его слышала, и он начал сердиться:

— Барышня, черт возьми, дайте мне бывшую мужскую гимназию! Барышня, это Пшеницын из ЧК говорит. Из ЧК! Теперь слышите? Дайте мне бывшую мужскую гимназию. Спасибо, барышня...

Талиб сидел на крепком дубовом стуле с высокой спинкой, на которой, как пуговицы на мундире, сияли два ряда медных обойных гвоздей. Дежурный с винтовкой полчаса назад никак не хотел пропустить неизвестного паренька к самому заместителю председателя ЧК и очень удивился, когда тот, увидя Талиба в окно, выбежал на крыльцо.

Пожалуй, в самой середине рассказа Талиба о своих бухарских похождениях, о встрече с Рахманкулом, о письме отца, взятом Усманбаем, Пшеницын и начал вдруг звонить по телефону.

— Бывшая гимназия?... Будьте любезны попросить на провод учительницу Бекасову Веру Петровну. Я понимаю, что сейчас урок, но она очень нужна. С кем я говорю? Одну минуточку, не кладите трубочку. Это из ЧК говорят. Да, из Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией. Очень вам благодарен.

Пшеницын многозначительно подмигнул Талибу.

— Товарищ Бекасов?— официально осведомился он и совсем другим голосом:— Вера Петровна, у меня здесь сидит тот самый узбекский паренек, который опознал клинок своего отца... Если вы позволите, мы приедем. Когда у вас кончаются уроки?

В половине третьего Федор Пшеницын и Талиб вышли из здания ЧК и уселись в черный легковой автомобиль на тугие кожаные подушки.

По дороге Пшеницын сообщил Талибу, что генерал Бекасов зимой умер, и коллекция оружия временно размещена в школе, где работает его невестка.

— Да, кстати,— сказал он, будто о чем-то второстепенном,— сабля-то действительно оказалась местного производства и, возможно, даже скорее всего, изготовлена твоим отцом...

Автомобиль затормозил у большого кирпичного здания с широким крыльцом.

Вера Петровна, такая же красивая, молодая, в черном платье с белым воротничком и белыми манжетами, встретила их в вестибюле, очень обрадовалась Талибу и сказала:

— Мы с товарищем Пшеницыным вспоминали тебя.

Она провела их в актовый зал, где в большой витрине за стеклом, на том самом ковре, что был в генеральском доме, висели старинные ружья, алебарда, пищали, пистолеты и сабли...

Вера Петровна сняла замок и попросила достать саблю.

Пшеницын вынул клинок из ножен и протянул Талибу.

Тот бережно, двумя руками принял от него саблю и подошел к окну. Конечно же, это был тот самый черный клинок с золотыми волнистыми полосами!

— Вся штука в клейме, оказывается,— сказал Пшеницын.— Это и ввело в заблуждение. На клейме есть слово «Дамаск». Сам посмотри.

Талиб никогда не обращал особого внимания на клеймо — крохотный квадратик у самого эфеса, слишком мелкие там были буквы. Теперь он смотрел внимательно, но ничего не мог разобрать. Даже непонятно, как можно было читать такие буквы, а ведь писать их было, наверное, еще труднее.

— Я не могу разобрать,— виновато сказал Талиб.

— Попробуй через лупу,— предложила Вера Петровна.

— «Мастер Саттар ученик мастера Рахима. Дамаск», — прочел Талиб арабскую вязь.

Да, слово «Дамаск» стояло на этом клинке рядом с именем отца Талиба и с именем его деда!.. Так писали по обычаю — не мог отец сделать это для обмана покупателей: он ведь и не собирался продавать этот клинок.

Так или иначе, но стало совершенно ясно, что это та самая сабля, которую отец продал Усман-баю.

— История довольно простая, — начал свой рассказ Пшеницын. — Усман-бай купил ее, чтобы дать взятку полицмейстеру Мочалову. Здесь явно был какой-то темный сговор. Между прочим, приказ о мобилизации твоего отца подписан Мочаловым в последний момент.

— Это все из-за тетрадки! — перебил Пшеницына Талиб.

— Ты думаешь? — насторожился Федор.

— Я помню эту ссору...

— Погоди, об этом потом, в ЧК. Мочалов продал клинок генералу сразу после февраля, потому что собирался бежать. Все это мы выяснили совершенно случайно. Кстати, замешан в этом и бывший полицейский... Уж не тот ли это полицейский, о котором ты мне что-то говорил? Я, между прочим, помню, что-то ты мне говорил, а что именно...

— Тот самый, Рахманкул! — подтвердил Талиб. — Боюсь только, что убегут они, узнав о моем приезде...

— Найдём, — усмехнулся Федор Пшеницын.

Несколько дней Пшеницын отмалчивался. Наконец сказал:

— Завтра утром будет у тебя долгожданная встреча. Только ты не волнуйся. За ними много чего числится. Этот Усман-бай раньше, как говорят, был бандитом, а теперь опять с ними связался. Они ограбили мануфактурный склад на Куйлюкской дороге. Все следы вели к Усман-баю. На станции Келес вагон с сахаром обчистили. Потому мы о нем и знали все, ждали, чтобы сразу всех на чистую воду вывести. Так что дело не только в твоей тетрадке.

...В дальнейшем углу уже знакомого Талибу кабинета на стульях сидели Усман-бай и Рахманкул. Они старались не смотреть друг на друга. Талиб вошел уже в середине допроса и уселся на подоконник позади Пшеницына.

— Вы и теперь будете отрицать, что купили клинок у кузнеца Саттара? — спросил Пшеницын.

— Нет, господин начальник, теперь я не буду отрицать, — невозмутимо ответил Усман-бай. — Я не знал, что ЧК известно все... Я купил клинок у многоуважаемого кузнеца Саттара, чтобы помочь его семье, остающейся без кормильца. Скажу больше: хотел подарить клинок полицмейстеру, чтобы тот спас Саттара от мобилизации.

— Он врёт, — перебил Усман-бая Рахманкул. — Он дал клинок Мочалову, чтобы Саттара срочно отправили из Ташкента!..

— Вот видите, — сказал Пшеницын, — ваш друг и сообщник утверждает обратное.

— О, бедный мой друг Рахманкул! — воскликнул, ничуть не смутившись, Усман-бай. — У него всегда была плохая память и куриные мозги. Он все путает. Кто дает взятку, чтобы человека мобилизовали? Дают взятку, чтобы не мобилизовали. Как я мог пожелать такого моему родственнику Саттару, с которым вместе вырос, вместе играл в ашички, вместе ходил в мечеть, вместе...

— Из-за этой проклятой тетрадки! — воскликнул Рахманкул. — Поверьте мне, все из-за этой проклятой тетрадки!

Пшеницын на мгновение повернулся к Талибу, как бы говоря: «Вот видишь». Талиб еле заметно кивнул.

— Зачем говорить, что я сделал это из-за тетрадки старого наманганского чудака? Что в этой тетрадке? В ней только нелепые сказки, нет и макового зернышка правды!.. Я же сразу, еще вчера, отдал вам, господин начальник, тетрадку. Это очень нелепые сказки...

Рахманкул даже подскочил на стуле.

— Нелепые сказки?! — закричал он. — Ради этих сказок он заставил меня выкрасть тетрадь из полиции в Намангане, разорить лавку Юсупа-неудачника, чтобы сплавить их с племянником в Бухару, он заставил меня ездить в Ходжент, Самарканд, Ахангаран и в Бухару! Я верил, что в этой тетрадке указано, где находятся клады, которые смогут сделать меня таким богатым, как он...

И тут впервые Усман-бай обратился к Талибу. Лицо его как бы раздвинулось в стороны и рот растянулся, обнажив крупные и крепкие зубы.

— Не верь ему, дорогой мой мальчик. Я сам отдал тетрадку и еще я отдам тебе сто рублей, которые должен твоему благородному отцу — да вернется он скорее на нашу благословенную землю. Я честный человек, — ну, скажи своему другу начальнику, как я помогал тебе и твоему дяде Юсупу, как я заботился о вас!

Талиб встал с подоконника и, повернувшись спиной к Усман-баю и Рахманкулу, стал смотреть в сад. Ночью и утром прошел дождь, вероятно, последний дождь, потому что май кончался, а летом дождей почти никогда не бывает. Трава в саду отливала изумрудом.

— Талибджан, возьми свою тетрадь и попроси начальника, чтобы отпустил меня, — продолжал говорить Усман-бай. — Ты должен помнить, мы не только с одной улицы — мы родственники. Если тебя обидел Рахманкул, то почему должен страдать я?

— Да-да! — крикнул Рахманкул в спину мальчику. — Да-да! Пусть главный преступник уходит на свободу, а я, темный, глупый, несчастный человек буду платить за него своей головой! Возьми проклятую тетрадь своего сумасшедшего деда, и пусть все знают, что не только я дурак, но и почтенный Усман-бай, будь он проклят во веки веков, такой же дурак, как я. Мы два года искали по этой тетради клады, мы нанимали рабочих рыть землю, долбить камень, и платил за это почтенный, уважаемый дурак Усман-бай.

— Тише! — приказал Пшеницын и встал из-за стола. — У вас еще будет время разобраться, кто просто дурак, а кто уважаемый дурак. Насколько я понял, вы искали клады по этой тетради мастера Рахима и ничего не нашли. Так?

Только теперь Талиб перестал смотреть в окно.

— Он здорово нас обманул, этот старик, — сказал Усман-бай, поняв, что записывать больше нет никакого смысла. — Я потратил много денег, но там, где он велел искать золото, нет и следов его! Ни самородков, ни россыпи... Правда,



возможно, мы не совсем там искали, потому что все так запутано в этой тетради.— Усман-бай зло усмехнулся.— Пусть теперь Советская власть поищет!..

В этот самый момент Рахманкул как подкошенный упал на колени и, воздев руки к потолку, взмолился:

— Вот видите, он не раскаялся, а я раскаялся. Спасите меня, возьмите меня на службу. Я все знаю, я опытный полицейский, я могу быть шпионом и выведывать, что говорят в чайханах и на базарах. Я могу быть тюремщиком, опять же полицейским...

Пшеницын слушал его с каменным лицом.

Рахманкул стоял на коленях и плакал, но Талибу не было жаль его. Удивительным было только то, что этот звероподобный бандит плакал, как все люди.

— Тупица,— презрительно бросил Рахманкулу Усман-бай.— Кому ты нужен?

Федор подошел к двери и позвал конвоира.

Когда арестованных увели, он вынул из кармана связку ключей, выбрал из них два и направился к негосраемому шкафу. Открыв дверцу, он достал небольшую по формату, но довольно толстую общую тетрадь в потертом переплете из сафьяна. Она была опоясана ремешком с серебряной пряжкой тонкой кустарной работы.

Дрожащими руками Талиб взял дедушкину тетрадь.

Не очень красивым, но четким почерком на первой странице были выписаны уже известные Талибу строки из поэмы Алишера Навои «Фархад и Ширин». Здесь, в этой тетрадке, стихи обретали какой-то новый и многозначительный смысл.

... Фархад к пещере змея подошел
И надпись над пещерою прочел:

Прославлен будь, бесстрашный витязь! Ты,
Чудовище убив, достиг мечты.

В пещере змея обнаружишь клад —
Тебе наградой будет он, Фархад!

Видимо, не зря мастер Рахим выбрал эти строки, видимо, не зря ходили слухи о том, что он искал и находил золотые клады, не зря звали его уста-Тилля — мастер-Золото.

Войдя в пещеру, знай: она кругла —
Ни углубленья в ней и ни угла.

Измерь ее шагами всю кругом.
И средоточье вычисли потом...

На этом стихи обрывались. Дальше начинались записи старого мастера.

«Пятьдесят лет, подобно Фархаду, я искал клады в землях моих предков. Голодный, перенося холод, вызывая злые насмешки и скрытую зависть, я исходил эти края от реки Или на восходе до Аму на закате. Все, что мог запомнить, что боялся забыть, записывал, а теперь и то и другое доверяю этой тетради.

Эти мои скромные записи да станут ведомы мужу моей единственной дочери Хадичи, кузнецу Саттару, усвоившему мудрость дамасских мастеров, и моему верному ученику. Эти записи да будут ведомы сыну Саттара Талибу, а он пусть передает, кому пожелает, но только тем, кто никогда не будет при помощи богатства плодить бедность.

В этой тетради указаны клады, способные сто тысяч батраков превратить в сто тысяч хозяев. Я никому не говорил про сокровища, кроме тебя, мой Саттар. Ты один и поймешь, что здесь написано.



Настоящие сокровища не в Кегене, Текесе и Тентеке, где золота еще меньше, чем в Таласе, а, например, недалеко от Ходжикента по реке Пскем где у тебя сильно заболела нога...

Помнишь тот кишлак около Айна-булака, где мы видели веселую свадьбу, где брат жениха уронил тубетейку в костер? Если от того кишлака пойти не туда, куда мы пошли в тот раз, а взять левее, то, пройдя полдня, увидишь засохшее дерево. От этого дерева если встать к восходу лицом, все сам поймешь...»

Талиб читал тетрадь с напряженным вниманием.

— Вот видите,— сказал он Пшеницыну,— я сейчас переведу вам одно место, и вы поймете, почему они ничего не могли понять.

Пшеницын внимательно выслушал перевод и согласился. Действительно, невозможно без Саттара найти эти клады. Кто знает тот кишлак, «где брат жениха уронил тубетейку в костер»?

А Талиб продолжал читать.

«Я повидал много всякого на земле и на три сажени вглубь видел. Я составил карту, какие есть у русских ученых.

Сын мой Саттар, ты найдешь на карте места, где есть свинец и каменный уголь, медь и даже серебро. В ста верстах от благородной Бухары я видел такое, что не могу забыть. Между двух барханов есть колодец, откуда идет сильный запах. Чабаны боятся того колодца и говорят, что воздух колодца горит, если его зажечь. Думаю, там может быть клад, но какой, не знаю...

Недалеко от Ходжента,— помнишь, где был базар?— если подняться в горы Карамазар, то там тоже есть ЭТО, зарытое глубоко, но все же заметное. По-моему, клад велик».

Талиб иногда дословно переводил Пшеницыну целые страницы дедушкиной тетради, иногда только кратко пересказывал содержание.

— Неужели на нашей земле так много кладов?— раздумчиво спросил он.— И непонятно, кто их запрятал!

— Ты неправильно понимаешь, — ответил Пшеницын. — Никто не прятал. Твой дед называет кладом природные месторождения... Даже если золотые — золото добывать надо! Это только такие, как Усман-бай и Рахманкул, всё готовые клады ищут!

Талиб опять уткнулся в тетрадку.

«Пусть все это будет для улицы Оружейников, для настоящих трудовых людей, для тех, кто не утратил мастерства, кто умеет делать легкие гибкие сабли и тяжелые мотыги, звонкие подковы и драгоценные кинжалы...»

В конце тетради, как и перед началом, были стихи Навои о царевиче Фархаде.

Царевич все исполнил, что прочел, —
В сокровищницу змея он вошел.
А там — всех драгоценнейших вещей
Не счел бы и небесный казначей.

Между последней страницей и кожаной обложкой было сделано что-то вроде кармана. В кармане этом лежала самодельная карта старого мастера. Талиб развернул ее.

— Да, — сказал он, думая о самом важном, что остро тревожило его все последнее время. — Без отца здесь не разобраться... И опять Усман-бай на дороге!..

Когда Талиб рассказал Пшеницыну о похищенном письме отца, тот отнесся к сообщению довольно равнодушно. Он знал больше. На одном из допросов бывший полицейский Рахманкул показал, что они с Усман-баем написали кузнецу Саттару, будто не только жена, но и сын его умерли от болезни. Название города, куда они послали письмо, Рахманкул не помнил, а Усман-бай уверял, что вообще никакого письма кузнецу Саттару он не писал... Правда, потом и тот и другой вспомнили, что уста-Саттар обосновался в городе, издавна славящемся своими умельцами — в русской оружейной Туле. В тот же день из Ташкента ушла депеша в Москву с просьбой навести справки...

— Кстати, Усман-бай теперь не на дороге, а в кутузке, — коротко заметил Пшеницын. Он понимал: прежде надо получить ответ от московских чекистов, а потом уж говорить с парнем более определенно.

Москва ответила в начале ноября. А к концу его Талиб получил письмо от отца. Сообщая о скором приезде, он взволнованно писал о своем участии в праздновании годовщины Октябрьской революции в Москве на Красной площади — Первой годовщины Октября! В самый канун праздника его пригласили из Тулы в Москву... Площадь кипела, и все взоры были обращены туда, где на невысоком деревянном помосте стояла небольшая группа людей в пальто, кожаных куртках и шинелях. И те, на помосте, и эти, идущие вдоль стен Кремля, были одинаково взволнованы, радостны, одинаково весело махали руками, приветствуя друг друга.

Над головами демонстрантов, среди знамен и лозунгов, время от времени появлялись красочные изображения: то это был крестьянин с караваем хлеба, то кузнец с молотом...

Демонстрантов приветствовал Владимир Ильич Ленин. «Он веселый, — писал уста-Саттар. — Немного на узбека похож».

* * *

Первые дни после приезда отца Талиб ходил сам не свой от радости — и верилось, и не верилось, что у него снова есть отец!..

Талиб рассказывал ему о своих приключениях и нередко смолкал на полуслове, так как отец, найдя какой-либо предлог, выходил на улицу или просто отворачивался. Нетрудно было понять, что уста-Сат-

тар заново переживает и смерть жены, и муки сына — бухарскую тюрьму, службу поводырем у слепого нищего...

Долго Талиб не хотел заговаривать о тетради своего дедушки — мастера Рахима, боясь, что эти воспоминания особенно огорчат отца. Но Талиб ошибся. Именно с тетрадки уста-Тилля и начался перелом в настроении отца. Он взял ее без всякого интереса, потом увлекся чтением, делал какие-то пометки на полях, иногда улыбался про себя, вспоминая что-то далекое и приятное.

— Ты знаешь, почему они ничего не нашли по этой тетрадке? — спросил он однажды сына.

— Наверно, потому что не могли понять, где надо искать.

— Нет, — возразил отец. — Потому что они слишком жадные. Им подавай только готовое золото. А здесь сказано, где искать **ж е л е з о!** — объяснил отец. — Понимаешь, **ж е л е з о!**.. Железо для жизни важнее золота. Здесь прямо сказано — «для тех, кто не утратил мастерства, для тех, кто умеет делать легкие гибкие сабли и тяжелые мотыги, звонкие подковы и драгоценные кинжалы». Даже самый драгоценный кинжал нельзя сделать без хорошей стали! Жадность застилала им глаза. Они же бездельники, а давно известно: лодырь тянется к золоту, а работающий человек к железу. Вот наше золото! — отец, как и когда-то, показал Талибу свои черные, загрубелые от работы ладони, и впервые за эти дни лицо его озарилось светом горделивой радости.



ЯКОВ АПУШКИН

В далекие годы моей молодости, без малого полвека тому назад, мой добрый знакомый, талантливый писатель Неверов написал широко известную повесть, названную им «Ташкент, город хлебный» — и это определение Ташкента для целого поколения советских людей стало почти нарицательным.

Думаю и верю, что кто-нибудь из молодых моих современников напишет другу, не менее талантливую книгу и назовет ее — «Ташкент, город мужественный» — и такое определение Ташкента, пережившего свыше семисот подземных толчков и продолжающего жить, трудиться, творить — уверен, — сохранится у всех грядущих поколений советских людей.

Внуку

КОНЕЦ СТАРОГО ФАУСТА

Драматический этюд

Вокруг меня весь мир покрылся тьмою,
Но там, внутри, тем ярче свет горит...

И посрамлен да будет сатана:
Знай,— чистая душа в своем исканье
СМУТНОМ

Сознанием истины полна.

Гете, «Фауст».

Кабинет Фауста. Ночь.

Ф а у с т

Сегодня честно заслужил я отдых.
В лаборатории, не разгибаясь,
Провел я над приборами три дня —
Не спал, не ел, весь обратившись в зренье,
В один гигантский, напряженный глаз...
Зато как будто к постижению тайны,—
Последней, темной тайны бытия —
Вплотную я приблизился — и скоро
Схвачу ее взволнованной рукой...

О, смерть,— извечно трепетали люди
 При имени твоём; ты им являлась
 Со свитой страхов, бедствий и мучений
 И пресекала гордые надежды
 И творческие замыслы, и всё,
 Чем человек в сей брэнной жизни счастлив...
 Ты оскверняла лучшие минуты,
 Ты отрывала мужа от жены,
 Детей от матери, сестру от брата,
 Тебе извечно приносили в жертву
 Всех непокорных сердцем и умом,
 Ты не щадила в подлом равноправье



Художника великого — и вора...
 Да, ты была сильна и неизбежна.
 И если вдуматься в твои деянья
 Со дня творенья и до этой ночи,—
 Была ты высшей властью на земле.
 Да, ты была. Но больше ты не будешь!
 Я, Фауст, я вступил с тобой в единоборство
 И я тебя повергну, наконец.

Да, шаг за шагом, лестницей столетий
 Я поднимаюсь — выше, выше, выше
 И, может быть, достигну до небес!
 Сегодня же, в предчувствии победы,
 Отраднo мне с безмерной высоты,
 Куда я силой знанья вознесен,
 Измерить пройденное расстояние,
 Минувшие боренья пережить...
 Я начал с малого; я был ребенком —
 И грозные явленья естества
 Меня внезапным страхом поражали.
 Я перед ними простирался ниц,
 Стараясь их заклясть невнятным словом.
 Но слово — только звук, когда в нем смысла
 Не прорастает спелое зерно.

А смысл дается знанием. И к знанию
Меня повел мой человеческий ум.
Вокруг себя смотрел я зорким взглядом,
Вникал во всё, всему искал причину
И, постепенно накапливая опыт,
Вселенную я по слогам читал.
Я перестал дрожать в ребячем страхе,
Хотя весь мир мне был еще враждебен;
Я понял — истинным моим оружием
Не мышцы будут крепкие, не зубы
И не дубина в сжатом кулаке, —
Но только сила невесомой мысли.
И вот — я все мое существование
Ей подчинил; я скрылся в этой башне,
Чтобы ничто мне мыслить не мешало;
Я одиночеству себя обрек,
Чтобы отдать грядущим поколениям,
Для счастья их, плоды моих трудов;
Я всё отверг, чтобы сказать: — «Я знаю»...

Так шли года. Но в некий день я понял,
Что я старик, что близок мой конец.
Не испугался я, не дрогнул в страхе,
Но возмущенье, яростная злоба
Меня, как буря, потрясли. Я проклял
Тот день и час, когда явился в мир.
Мой мозг был свеж — и он работал точно,
В нем билась мысль, — и замыслов громада
Лишь увеличивала мощь его.
И вдруг — конец! Безжизненное тело,
Никчемный труп, как жернов стопудовый,
Меня потащит в тьму небытия
И речь мою прервет на полуслове,
И замыслам не даст осуществиться,
И все мои дела рассылет в прах?!
От ярости я выл. Я торопился,
Пока еще я был способен мыслить,
Дописывать последние страницы
Членораздельным, ясным языком.
Но тело распадалось, изменялось,
И, в зеркало глядясь, уже морщинам,
Припухlostям и волоскам седым
Я больше счет вести не мог — как будто
Скелет уже сквозь кожу проступал,
И мне в лицо смеялся мой же череп.
Отчаянье тогда мне сердце сжало,
Но я решил бороться до конца
И сделал то, чего никто из смертных
Не делал никогда: в такой же вечер
Я произнес волшебное заклятье,
И мне явился...

(Гром, молния — появляется Мефистофель).

Мефистофель

Добрый вечер, Фауст.
Как видите — я легок на помине.

Фауст

А, это вы? Ужель не надоели
Вам эти театральные эффекты
И в дом нельзя вам попросту войти,
Без адской трескотни?

Мефистофель

Простите, доктор,—
Привычка!

Фауст

Нужно отвыкать.

Мефистофель

Бесспорно.

Я понимаю,— это устарело,
Но я, по убеждениям, консерватор,
И мне во всем традиция мила.

Фауст

Пусть будет так. Зачем же вы явились?

Мефистофель

Зачем? За вами, мой бесценный доктор.
Иль вы забыли, что сегодня срок
И вы должны мне заплатить...

Фауст

Постойте!

Сегодня срок?!

Мефистофель

Взгляните в календарь.

Фауст

Да, верно, так! Но я прошу отсрочки.

Мефистофель

Нет, это невозможно.

Фауст

Почему?

Мефистофель

Во-первых, потому, что пять отсрочек
За пять столетий вам уже даны...

Фауст

А во-вторых?

Мефистофель

Я только исполнитель;

Я, так сказать, агент по сбору душ.
Мне мой патрон, владыка преисподней,
Высокочитимый, мудрый Люцифер
Вручил приказ — без всяких проволочек
Всех должников доставить прямо в ад.
Пора платить долги, любезный доктор;
Нельзя быть вечно молодым... К тому же...

Фауст

К тому же — что?

Мефистофель

Ну, как вам объяснить?

Иначе нам из кризиса не выйти...

Фауст

Из кризиса?

Мефистофель

Изрядно ж вы отстали
От современности... А впрочем, доктор,
Сейчас об этом толковать бесцельно:
Вы дали обязательство...

Фауст

Как глупо.

Явились вы не вовремя...

Мефистофель

Что делать!

Фауст

Я не могу не завершить мой труд!
Я не могу прервать последний опыт!
Я требую отсрочки!

Мефистофель

Нет и нет.

Фауст

Поймите же — великое открытие,
Быть может, завтра путь мой завершит!
Тогда я расплачусь сполна — извольте!
Смеетесь вы?

Мефистофель

Ах, вы неисправимы!

Уже пять раз подобный разговор
Я с вами вел — все те же аргументы.
Не обижайтесь — я вам верю, верю,—
Вы трудитесь изрядно, — но, скажите,
Чего достигли таким трудом?

Фауст

Чего достиг? Завесу за завесой
Я с алтаря вселенной совлекал.
Я вычислил орбиты всех планет,
Я распознал составы всех металлов,
Я разгадал глухую тайну грома,
Я молнию заставил мне служить!
Я изучил подводные глубины,
Летать я научился в поднебесье,
Я проследил немую жизнь растений,
Я приручил диких животных,
Я вырастил чудесные плоды...
Я изобрел могучие машины,
Я скоростью преодолел пространство,
И голос мой всему земному шару
Теперь звучит, усиленный стократ.
Я вещества разъял на элементы,
Я их, смешав, соединил опять,
Раскрыл я тайну атома и людям,
Для блага их, дарую мощь его!
Я прочитал историю вселенной
От первых до последних дней творенья,
Я научился врачевать болезни
И завтра я преодолею смерть!

Мефистофель

Брависсимо! Все это превосходно!
Но — маленькое «но», пустяк, деталь:
Вы многое познали — спору нет,
Но не познали одного — людей!

Фауст

Я людям дал...

Мефистофель

О нет, не прерывайте.

Я тоже заготовил монолог...

А впрочем — нет; не буду голословным,

Прошу взглянуть — в магическом кристалле,

Которым я по должности снабжен,

Я кое-что вам покажу...



(Дает Фаусту кристалл. Фауст смотрит.)

Фауст

Что это?!

Какие-то чудовища ползут...

Огонь и дым...

Мефистофель

Ага! Атака танков.

Фауст

Они ползут по трупам.

Мефистофель

О, не только!

Они отлично давят и живых.

(Поворачивает кристалл.)

Фауст

А это что?

Мефистофель

Вы не узнали? Странно!

Летать вы научились в поднебесье,

А между тем...

Фауст

Чудовищные птицы!

Стальные птеродактили!

Мефистофель

Они

Бросают бомбы — видите разрывы?
Удар, еще удар — и лишь обломки
Дымятся там, где были города.
А вот еще... Да вы, никак, дрожите?

Фауст

Нет, это так...

Мефистофель

Отлично. Продолжаю.

(Снова поворачивает кристалл.)

Фауст

Идет стеной зеленоватый дым...
Растрескалась земля... Поблекли травы...
Что это значит?

Мефистофель

Это? Люизит.

Чудесный газ — и в том заслуга ваша,
Что добыт он и к делу применен.
Вдохнув его — мгновенно умирают
И люди, и животные...

Фауст

Ужасно!



Мефистофель

Что делать, Фауст?! Печальная изнанка
Познания природы вещества.

Фауст

Показывай мне дальше, дьявол, дальше!

Мефистофель.

Пожалуйста. Вот недра океана.
Мы повернули вовремя кристалл:
Как видите, корабль трехмачтовый
Идет ко дну... Он взорван субмариной...
Забавно, правда?

Фауст

Замолчи, проклятый!

Мефистофель
Вы недовольны?.. Я не понимаю:
Ведь вы же сами с гордостью завидной
Мне говорили, что в глубины моря
Бесстрашно научились проникать.

Фауст
Ты надо мной глумишься, бес!

Мефистофель

Нисколько.

Я вам показываю то, что есть.

Фауст

Убийство... кровь... раздавленные трупы...
И это — мир?! Не верю! Невозможно!

Мефистофель

Увы, мой друг... поверьте мне, — жестокость
(А я в таких вещах понаторел)
Поистине — есть высший знак отличья,
Которым наградила человека
Природа в беззаботности своей.
Жестокостью он укротил животных,
Жестокостью он правит сам собою.
И, если б не она, так разве б люди
Спускались в шахты и на дно морское,
Взрывали б горы, гибли бы в болотах
И возносили камни пирамид?
Все держится жестокостью — законы,
Обычаи, права и договоры,
Торжественные памятники славы,
Деянья государственных мужей,
История всех стран и всех народов,
Религия, наука, — словом — мир!

Фауст

Бывает иногда необходимость...

Мефистофель

Пожалуй, так. Но довод ваш не полон:
Необходимость — есть жестокость смысла,
Но и без смысла есть жестокость тоже,
И чаще мы встречаем этот вид.

Фауст

Нет, это ложь!

Мефистофель

Я показал вам факты.

Фауст

Мир сотворен познанием и трудом!

Мефистофель

Нет, я не в силах с вами столковаться,
Седой ребенок, вечный гуманист!
Чтоб знания применять — нужна жестокость,
А труд — ее двойник. Смотрите, Фауст...

(Поворачивает кристалл.)

Что видите?

Фауст

Толпу людей, оборванных и бледных...
Они глядят голодными глазами...
На пламя грандиозного костра...
Что это жгут?

Мефистофель

Или бразильский кофе — всё равно.
Канадскую пшеницу

Фауст

Но это же бессмысленно! Зачем?

Мефистофель

Вот вам пример жестокости без смысла:

Чтоб цены не понизить на товар.

Не правда ли — чудесная картина?!

Какой неподражаемый контраст —

Толпа голодных — и в полнеба пламя,

Глотающее на глазах у них

Чудесный злак, по вашей рецептуре

Вращенный плодоносною землей!

Фауст

Нелепый мир!

Мефистофель

Теперь — смотрите дальше.

(Поворачивает кристалл.)

Фауст

Какие-то — не тени и не люди...

Они стоят недвижными рядами

И лишь однообразным взмахом рук

Хватают что-то... Это — ад, не так ли?

Мефистофель

Помилуйте, нельзя так ошибаться,

У нас в аду всё проще и уютней.

Фауст

Так объясните же...

Мефистофель

Конвейер Форда.

А может быть, Армстронга или Круппа.

Отличный способ сделать человека

Придатком к маховому колесу.

Изобретая разные машины,

Вы, вероятно, мой гуманный доктор,

Считали, что машина — человеку.

Как видите, он стал ее рабом.

Фауст

Нелепый, страшный мир!

Мефистофель

Могу продолжить.

(Поворачивает кристалл.)

Прошу, взгляните, — вот застенки тюрем,

Где человек себе подобных мучит

Посредством ваших, доктор мой, даров.

Вот сосредоточенность лабораторий,

Где люди, с видом служащих обедню,

Разводят яды мерзостных бактерий,

Чтоб умерщвлять таких же, как они...

Я покажу вам...

Фауст

Нет, довольно! Хватит!

Я больше не могу! Я задыхаюсь!

Ужель за это я платил душою,

Для этого ты продал мне бессмертье,

Торгаш лукавый, адский ростовщик?!

Мефистофель

Ну вот, теперь вы начали браниться!
Не стыдно ли?

Фауст

Так, значит, ты украл
Плоды моих трудов и отдал людям,
Чтоб в ад крошечный превратить их жизнь?!

Мефистофель

Украл? Ну, нет! Они мои по праву!
Вы кровью подписали договор,
В котором есть два очень кратких пункта:
Я вам дарую молодость, а вы...
Вы мне, взамен, плоды своих открытий...
Не так ли? Так. Чего же вы хотите?
Ведь мы же пребываем в старом мире,
Который ураганом революций
Еще не сломлен; ergo—между нами.
Законная коммерческая сделка.
И я претензий ваших не приму.

Фауст

И все-таки — не верю... Я не верю,
Что это всё — моей пытливой мысли,
Ночей бессонных, поисков, ошибок,
Тоски моей и ярких озарений,—
Моих познаний страшные плоды.

Мефистофель

Не верите?.. А почему, любезный?
Вы сотни лет сидели в этой башне,
Вы сотни лет в просторах мироздания
Блуждали непокорливым умом...
Вы сотни лет, как сеятель на пашне,
Бросали в мир без счета зерна знания,
Не думая, что вырастет потом.
Вы сотни лет в порыве горделивом,
Всегда один,— стремились в бесконечность,
Не требуя ни славы, ни наград,
Вы были сотни лет вполне счастливым,
Но даже сотни лет, увы, не вечность —
И вот, как говорится,—«результат».
Всему есть, Фауст, и предел, и мера;
Ваш путь свершен— и властью Люцифера
Я совлеку с вас юности наряд.

(Долгая пауза.)

Фауст

Пусть будет так... Признаться, я не в силах
Отвечать на эту инвективу...
Безмерная, свинцовая усталость
Вдруг овладела сердцем и умом...
Я больше не хочу дерзать и мыслить...
Да, путь свершен... Что ж, старый мир,— погибни!..
А ты... ты, бес, разоблачи меня!

(Мефистофель делает «магический» жест, и
Фауст превращается в дряхлого старца.)

И вот опять я — только дряхлый старец...
Последние недолгие минуты
Я провожу на чуждой мне земле.
Да, я был слеп. Я ничего не видел,

Отдавшись наслаждению познанием
И удалившись от живых людей.
И все ж я горд — я много тайн извечных
По книгам мироздания прочитал.
Я победил тот первозданный хаос,
Перед которым трепетал мой разум,—
Я в нём самом нашел его закон!

М е ф и с т о ф е л ь

Закон — ничто. Важнее применение.
Вы видели, к чему он применен.

Ф а у с т

Когда б я не был старцем утомленным,
Согнувшимся под бременем веков,
Когда б я не был связан договором
Страшнейшей кабалы с тобою, бес,—
Всю власть мою, все силы и познания
Я обратил бы против мира злобы
И я, клянусь, разрушил бы его!
Не радуйся и не хихикай, дьявол,
Там, средь людей, которых миллионы,
Другой родится Фауст, чей разум будет
Гореть сильнее и ярче моего!

*(Он подходит к окну, отдергивает занавес.
Близится, ширится рассвет. В его лучах плывет
по небу звезда, подобная пентаграмме.)*

Ведомый светом утренней звезды,
Поистине подобной пентаграмме,
Перед которой отступают в страхе
Все силы тьмы — он ринется вперед!
Раздвинет он пределы мироздания
И, оторвавшись от земли, быть может,
Он увенчает подвиг зрелой мысли
Открытием неведомых миров!
Да, он пойдет вперед своей дорогой!
Мои познания, трижды приумножив,
Он обратит на благо всем народам;
Монх ошибок он не совершит
И не продаст тебе живую душу.
— Идем. Пора!



Юрий КОРИНЕЦ

Посылаю свои новые, нигде не опубликованные стихи. *Прошу*, если понравятся редакции, опубликовать их в журнале «Звезда Востока», а гонорар перечислить в фонд строительства нового Ташкента. С дружеским приветом.

Ю. Коринец



2/1X

Московский поэт Юрий Коринец — по существу ташкентец, в нашем городе он сделал свои первые шаги в литературе.

Ныне он автор многих книг, полюбившихся юным читателям страны.



С ГОЛОВЫ ДО НОГ



ВСТУПЛЕНИЕ

Человек —
Чтобы он мог
Действовать отлично —
С головы до самых ног
Сделан гармонично.

Расскажу-ка я сейчас,
Что к чему дано вам,
Чтобы впредь никто из вас
Не был бестолковым.

Первая глава: ГОЛОВА

Голова всему венец,
В ней начало и конец.

Без нее, сыны и дочери,
Не прочтете вы ни строчки:
Составлять в уме слова
Вам поможет голова.

Объяснит вам без запинки
В книжке разные картинки.
Вам подскажет голова,
Сколько будет дважды два.

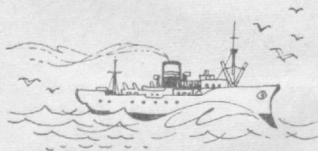
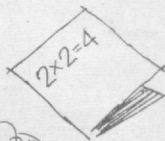
Как найти дорогу в море,
Как помочь другому в горе,
Как быстрее решить задачу,
Как проверить в кассе сдачу,
Как зажечь в квартире свет —
Голова даст ответ!

Голова на нашем теле
Верховодит
В каждом деле.

Постарайтесь же, ребята,
Содержать ее в порядке,
Пополняйте в ней запас
Каждый день
И каждый час.

Хорошо с ней жить, ребята,
Если в ней ума палата.

С головой пустопорожней
Обходитесь осторожней —
С ней намучаетесь век...
Так уж сделан человек!



Вторая глава: НОГИ

Хорошо лететь на ТУ,
Или мчать в автомобиле
На резиновом ходу,
Плыть на паруснике,
Или...
Нет! — скажу вам по секрету:
Лучше странствовать по свету

Не в телеге, не верхом,
Лучше нет—ходить пешком!

Ноги всех по свету носят —
Хитрых, умных, дураков —
И за это ноги просят
Только пару башмаков.

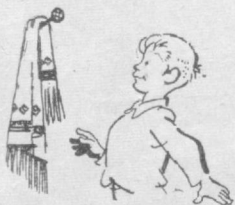
Только пару башмаков
Для серьезных ходоков,
А ребят погожим днем
Носят просто босиком.

По песку да по траве,
По большой дороге —
Как взбредется голове,
Так и ходят ноги.

Но, проделав дальний путь,
Дай ногам передохнуть —

На траве или на стуле,
В декабре или в июле,
На припеке ли, в тени —
Отдохнут пускай они.

А с дурною головою
Не видать ногам покою!



Третья глава: РУКИ

Не затем даны нам руки,
Чтоб засовывать их в брюки:
Руки действовать должны,
Нам в труде они нужны!

Четвертая глава: НОС

Вешать можно на гвоздь
Полотенце и трость,
Лампу, плащ или шапку,
И веревку, и тряпку...

Но никогда и нигде
Не вешайте носа в беде!

Пятая глава: УШИ

У меня знакомый был —
Он об ушах своих
Забыл!

Печальней я не знал судьбы:
Не мыл он уши мылом,
И выросли в ушах
Бобы...
Хоть парнем был он милым.

Бывает же такой народ! —
Ну, разве уши
Огород?

Такому уши
Незачем —
Он так и вырос
Неучем.



Шестая глава: ГЛАЗА

Мало под ноги смотреть,
Чтобы не споткнуться —
Нужно иногда уметь
В мире оглянуться.

Чтобы солнце, поле, рожь —
Вдруг открылись взору.
Чтоб узнать, куда идешь —
Под гору ли, в гору?

В самого себя взглянуть —
С чем ты вышел
В дальний путь?

Плохо дело, коли в нас
Нет души живой:
Взгляд пустых и лживых глаз
Выдаст с головой!

Тем глаза и хороши —
Это зеркало души!

Когда дорога неизвестна
И нету карты под рукой —
Язык в пути посредник твой,
Он доведет тебя до места.

Он доведет до Киева! —
Но не трепите вы его
Никому не нужным словом,
Разговором бестолковым.

Болтуны и пустомели
Не достигнут нужной цели:
Просто скатятся в овраг...
Им язык не друг,
А враг!

Восьмая глава: ПАЛЬЦЫ

Пальцы дружат с кулаком,
Чтоб кулак твой стал сильнее...
Если дружишь с дураком,
Вряд ли станешь ты умнее!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я скажу вам честь по чести:
Всё на свете трын-трава,
Если у тебя на месте
Руки, ноги, голова!
Сам, однако, не зевай:
Рукам воли не давай.

Глаза держи — открытыми,
А уши — незащитыми,
Ногами — не стучи,
Где нужно — помолчи,
Не суй свой нос
В дурное дело —
Тогда живи на свете смело!

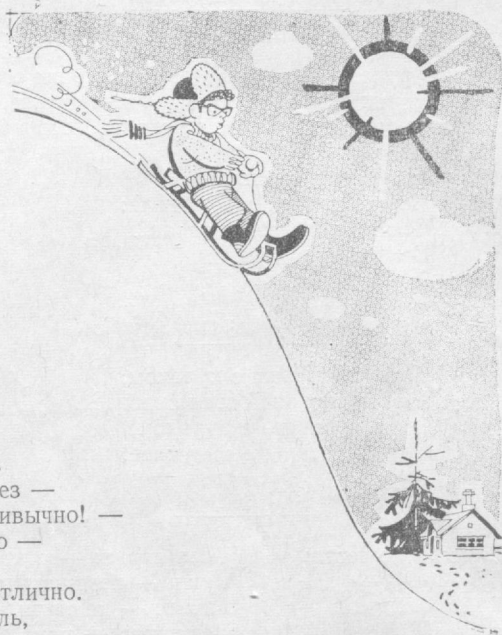
ЧТО СО МНОЙ БЫЛО

Как-то раз,
Как-то раз
Туча с неба пролилась,
Ливень лил,
Как из ведра!
Вдруг перед собою
Я увидел осетра
В небе над избою.
Рядом мимо окон
Плыл зеленый окунь.
А за ним в огне зари
Проплывали
Пескари.
Поднимались щуки
Из речной излуки

И врывались прямо в дом,
Где сидел я
За столом...

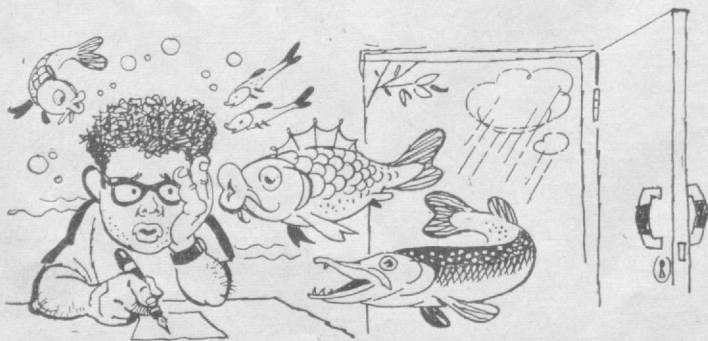
Вы не слышали об этом?
Это дело было летом.

Как-то раз,
Как-то раз
Снегопад пустился в пляс,
Вьюга снегу намела
Много-много-много,
И до неба пролегла
Санная дорога.



Пять часов
 Я в небо лез —
 Было непривычно! —
 А на землю —
 С небес —
 Съехал я отлично.
 Только жаль,
 Что было мне
 Не с кем поделиться,
 Ведь такое на земле
 Вряд ли повторится...

Пережил я все воочью
 Где-то между
 Днем и ночью.



КАК Я ИСКАЛ СВОЙ ДЕНЬ

Однажды летом —
Чур меня! —
Проснулся я
Средь бела дня.



И сразу же из дыма
Вверх поползла труба.
Я на пол сел...
Глядь, мимо
Бежит моя изба!

Трава, деревья, лужи
И ранний свет зари —
Всё было не снаружи,
А в ней — в избе — внутри!

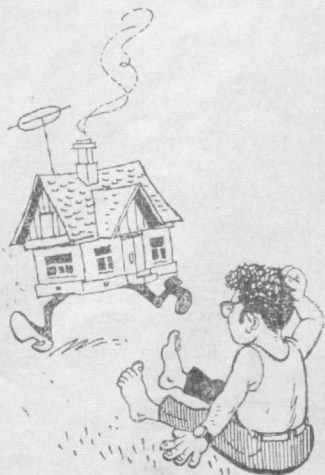
А за избею следом
Бежали свет и тень,
И завтрак за обедом —
И так удрал весь день.

Остался я во мраке
Один среди двора.
Как вдруг из-под собаки
Полезла конура.

В уме был вроде здоров.
А левый взял башмак —
Башмак стал сразу правым!
Нет, что-то здесь не так...

Тогда за самоваром
Пошел я босиком —
Себя за самоваром
Побаловать чайком.

А самовар мне в брюхо
Швыряет горсть углей,
Да как мне рывкнет в ухо:
«В себя воды налей!»



Я сам бежать пустился —
На Запад,
На Восток...
Но, как я ни крутился,
Я дня найти не смог.

Тогда, дождавшись утра,
Я с правой встал ноги
И сразу очень мудро
Обул я башмаки.

Потом кровать заправил.
Набрал в печи углей
И самовар поставил.
И стало веселей!

Я чай пил. Ел варенье.
А дым шел из трубы.
В хорошем настроенье
Я вышел из избы.

Вставало солнце. Лужи
Сияли во дворе.
И было все — снаружи.
А пес мой — в конуре.



Он твякнул голосисто.
Я взял с собою пса
И по тропе росистой
Отправился в леса.

Вернулись мы к обеду.
Я много каши съел.
Потом зашел к соседу.
Потом работать сел.

Писал до поздней ночи —
Куда девалась лень!
Я много, между прочим,
Успел за этот день.

Отныне я с зарею
Встаю —
И только так!
И правою ногою
Влезаю в свой башмак.



Дорогие товарищи!

Для специального номера Вашего журнала, гонорар от которого пойдет в помощь ташкентцам, посылаю свой «эссе» о Горьком. Он взят из цикла «Пометки и памятки», который включен в 5-й том Собрания сочинений моих, выходящий в будущем году. Маленький отрывок из этих воспоминаний когда-то печатался. Но в таком виде, как это изложено сейчас, и полностью заметки мои об А. М. Горьком нигде напечатаны не были. Я, честно говоря, обещал их «Литературной России», но считаю своим долгом выполнить в первую очередь обещание, данное ташкентцам.

28 ноября 1966 г.

Лев Кассиль



ЧУДЕСНЫЙ ФОНАРЬ И „КУРНОСЫЕ“¹

Звучит в моей памяти, как и в памяти всех современников, не раз слышанный и в больших залах, и дома, за столом, глуховатый, слегка протяжный голос одного из самых знаменитых, мудрейших писателей нашего века, чьи предвидения еще в глухие дореволюционные годы окрыляли молнию приближавшейся грозы. Не знаю, может ли писатель мечтать о большей славе. Подобных прижизненных всенародных признаний не так-то уж много в истории литературы.

Прожить огромную жизнь, романтическую, увлекательную, полную страстей, контрастов и непрерывного труда, замечательных встреч и великих дружб. Пройти из мрачных недр жизни на ее высочайшие вершины и неустанно звать туда человечество. Влюбленно верить в человека; словом, делом, жизнью своей высоко, как никогда, вознести само человеческое звание и дожить до дней, когда человек прозвучал по-настоящему гордо в стране утвердившегося социализма. Быть другом Ленина, одноклассником революции, товарищем ее юности и наставником нового литературного поколения, которым так восхищался, учить которое не уставал до последних своих дней. При жизни стать общепризнанным классиком. Видеть парки, самолеты, театры, улицы, города своего имени, которое вошло в свод славнейших имен Родины. Такова величественная судьба Горького.

Но Максим Горький — это не только имя знаменитого писателя. Это больше, чем имя. Это целое понятие, комплекс понятий о славе, уме, таланте, мужественном сердце, исполненном опыте жизни. Оно давно уже входит в какой-то культурный минимум, которым располагает всякий мало-мальски мыслящий человек.

Максим Горький — это больше, чем имя человека. Это — высокое звание.

¹ Из цикла «Пометки и памятки».

Само имя это стало нарицательным более даже, чем имена героев из книг Горького. Ведь недаром еще в далекие времена народ назвал бесплацкартные товаро-пассажирские поезда, доступные даже беднякам, «максимами-горькими»...

Образ Горького совпадает с народным представлением о настоящем писателе, неутомимом работнике о делах народных. Писатель должен быть вот таким! Писатель — это вот он!

К нему обращались за советами, за помощью. Ему писали письма, тысячи писем, ему слали книги, рукописи, рисунки, фотоснимки, чертежи, игрушки. Его огромная слава была наградой, гордостью, славой каждого из нас: только в нашей стране может быть окружен таким прижизненным всенародным обожанием писатель, «штатский человек» (вспомните, как негодовали некогда сановные лица, что в Москве поставлен памятник «штатскому Пушкину»).

Могучего Гете ублажили ливрейным мундиром министра герцога Веймарского, и он считался одним из правителей карманного герцогства. Но вряд ли это звание дало автору «Фауста» что-нибудь, кроме иронических улыбок преклонявшихся перед ним современников и чтящих его память потомков.

Алексей Максимович Горький не имел никаких особых установленных полномочий, званий, кроме одного — писательского.

Но он был могущественным властителем душ.

Под окнами Горького не собирались библиоманы требовать изменения судьбы его героев, как это было с Понсон-дю-Террайлем, когда тот посмел, наконец, умертвить своего неистребимого Рокамболя... Таких широковещательных фактов не знает биография Горького. У нас слишком уважают труд писателя, чтобы шуметь под его окнами.

Но по книгам Горького учились и учатся ненавидеть, любить и бороться за достоинство и счастье человека тысячи революционеров трех, если не четырех уже поколений.

Но когда Горький вернулся к нам из-за границы, советские пограничники и железнодорожники внесли его в простор родины на руках.

Но когда он заболел, миллионы читателей хватали газету по утрам и искали там первым делом бюллетень о его здоровье, как искали впоследствии сводку с фронта или до этого — градус северной широты, где дрейфовала льдина Челюскинцев...

И когда жизнь его кончилась, трауром обвил знамена, краснотой — глаза, день почернел, словно закрылся черной пленкой, которую мы тогда приготовили для солнечного затмения. И страна, приспустив флаги, воздала Максиму Горькому последнюю высшую почесть революционера, приняв его прах в нишу Кремлевской стены на Красной площади...

Мне не раз доводилось бывать дома у Алексея Максимовича Горького, в его квартире на Малой Никитской, ныне — улице Качалова, где находится Музей писателя. Память у меня тогда была фотографически точная, и мне не надо было записывать то, о чем говорил с нами Горький. Я и так запомнил это на всю жизнь.

Горький не был записным оратором. Красноречием в обычном смысле этого слова он не обладал. Иной незадачливый слушатель, впервые видевший Горького на трибуне, мог, чего доброго, подумать, что писатель говорит-то не очень складно, тяжеловесно и медлительно расставляя слова во фразе. Но кто знал Горького ближе, тот быстро убеждался, что в манере говорить, особенно публично, с трибуны или с председательского места на собрании, у Алексея Максимовича сказывались та застенчивая неловкость и осмотрительность, что ощущаются в движениях и общей повадке очень сильного человека, который бережно соразмеряет свои жесты, боясь задеть кого-нибудь. Да, подлинный богатырь слова, Горький, когда говорил на людях, старался не зашибить кого-нибудь невзначай своим мощным словом. И ненаблюдательному слушателю это могло бы показаться даже речевой неуклюжестью. Но какая безотказная сила воздействия, какая сердечная глубина ощущались за каждым словом Горького!

Однажды мне довелось сопровождать его во время поездки на строитель-

ство канала, по которому вода Волги должна была придти в Москву. В огромном бараке, служившем временным клубом, Алексей Максимович должен был выступить перед строителями. А на том участке, куда мы приехали, строили канал отбывавшие наказание уголовники, в прошлом самые отчаянные и отпетые, так называемые «тридцатипятичники», как их окрестили по статье уголовного кодекса, касающейся рецидивистов. Правда, многие из них уже хорошо поработали на строительстве Беломорско-Балтийского канала и даже имели красивые нагрудные знаки «каналармейцев».

Я боялся, что дощатые стены и крыша барака рухнут от оглушительных оваций, когда на сколоченную наспех эстраду поднялся Горький. Он был в просторном драповом пальто и узбекской тюбетейке, которую любил тогда носить.

Если бы вы только видели, как приветствовал, как хлопал, как в своей единой восторженной преданности рвался к эстраде весь барак. Люди аплодировали стоя; я видел у многих слезы в глазах, полных безграничного доверия и огромной надежды. Люди тяжелой, в прошлом нечистой, только лишь начинавшей исправляться судьбы воспринимали встречу с прославленным писателем, умевшим понять человека и на самом дне жизни, всегда сохраняющим веру в человека, как почетный праздник. С великим трудом, как бы пригашая широкими плавными взмахами своих выразительных рук пламя оваций, Горький, наконец, утихомирил аудиторию.

Наступила тишина полнейшая — она казалась какой-то невероятной после того грохота, который только что сотрясал барак. И Горький заговорил. Вот эта речь, которую я запомнил наизусть.

— Была у нас в старину поговорка такая, — напирая на «о», глуховато, но веско и внятно говорил Горький, — смолodu много было бито-граблено, пора под старость душу спасать... — Горький погладил усы, чуть лукаво двинул бровями и исподлобья добродушно оглядел зал. — Ну, насчет того, что бито-граблено, так что тут толковать — было. Люди тут свои, скрывать не станем. Было! А вот что касаемо «душу спасать», то у нас разговор иной пойдет. Это уж особа статья. Вот песня у нас по Волге ходила: «Эх, каб Волга-матушка да вспать бы побежала, эх, коль можно было б, братцы, начать сначала...» А в чем дело, дорогие товарищи? И жить можно начать сначала, по-честному, по-хорошему, и Волгу, если и не вспать, то к Москве уже поворачиваете.

Когда утихла новая громовая овация, покрывшая эти слова, Горький в наступившей опять тишине обед глазами слушателей и продолжал:

— Огромное дело делаете, товарищи. Громадное. Преогромное. Вот походил я сейчас по строительству, поглядел. Ведь это ж, товарищи, грандиозно. Прямотаки, скажу вам, громадное дело. Я поглядел, так знаете ли... просто-таки... — Горький вынул платок, покашлял в него, вытер усы, хотел что-то еще добавить, посмотрел смущенно в лица слушавших, но вдруг махнул рукой и, произнеся глухо: «Растрогали вы меня к шутам... Ну вас, ей-богу... огромное дело делаете», — сошел с трибуны.

А уж какой он был рассказчик дома у себя, за столом, вокруг которого собирались друзья. Он вообще необыкновенно точно и ярко видел все, о чем писал или рассказывал. Художники Кукрыниксы, иллюстрировавшие «Клима Самгина», рассказывали мне, как Алексей Максимович, разглядывая эскизы иллюстраций, мгновенно подмечал все мельчайшие неточности: «Позвольте... у меня там сказано: лампа слева висит, а у вас тут вот... А этот вот стол сюда отодвинуть следует. К нему надо оттуда пройти. Ведь он как там у меня? Человек, припомните, входит и, следовательно...»

Эта точность видения придавала его устным рассказам какую-то совершенно волшебную наглядность.

Мне очень запомнился рассказ Горького, который я слушал у него дома в 1934 году, когда проводился первый съезд писателей. На этот съезд приехали из Иркутска пионеры из «Базы Курносых». Так прозвали шутя их пионерский кружок дома, в родном городе. Так называли они и свою книгу, которую привез-

ли в Москву в подарок Алексею Максимовичу. Ребята сами написали эту книгу, рассказали в ней про свою жизнь и, должно быть, чувствовали себя немножко писателями. Они приветствовали Горького в Колонном зале, где заседал съезд. А потом Алексей Максимович пригласил «курносых» к себе в гости. Получил приглашение и я. Вместе с нами пришли известные детские писатели С. Я. Маршак и М. Я. Ильин.

Алексей Максимович встретил пионеров на крыльце, выходящем во двор. «Курносые» сразу обступили Горького. Кто уцепился за его руки, кто за поды просторного серого пиджака — каждый хотел ухватить хотя бы краешек Горького. Особенно старалась одна пионерка, самая бойкая и самая курносая из «курносых». Она цепко и что было силы обхватила руку Алексея Максимовича возле локтя, припала к нему виском, а своими локтями оттирала и отталкивала тех, кто пытался оттеснить ее. Алексей Максимович заметил это, весело покоился на нее сверху, добродушно собрал брови, повел усами и вдруг сказал своим глухо гукающим басом:

— Вот вклечилась, репей! Отцепись. У-ух ты, старая чертовка!..

Скажи так кто-нибудь другой — вышло бы, возможно, и грубовато. А у Горького, умевшего произносить неожиданные слова, сдобривая их каким-то своим веселым и мудрым смыслом, получилось смешно, необидно и ласково. И такая добродушная, застенчивая хмурь скрывалась в густых бровях Алексея Максимовича, что всем сразу сделалось удивительно хорошо. Мы-то знали, что когда он сердился, то говорил совсем по-иному — строго, сдержанно. «Совершенно глупый человек», — припечатал он как-то вежливо одного неуминого литератора, характеризуя нам его...

Облепленный со всех сторон «курносыми», Алексей Максимович ввалился вместе с ними в столовую. На столе гостей ждали большие вазы с фруктами. Все стали рассаживаться, и, понятно, каждый норовил сесть поближе к Горькому. Но та самая курносая из «курносых», не отпуская локтя Алексея Максимовича, подобралась к нему вплотную и все так же восторженно снизу, из-под руки Горького, глядела ему в лицо. Кое-как высвободив другую руку, за которую держалось, по крайней мере, три пионера, Горький стал брать фрукты из вазы и раздавать ребятам, уговаривая всех не стесняться и есть за обе щеки. Сразу за столом стало очень весело. Ребята почувствовали себя как дома. Принялись рассказывать Алексею Максимовичу о том, что у них делается в Иркутске, как им живется, как писалась книжка «База Курносых». Рассказали, как ехали в Москву со всякими приключениями. Как «заболел» у них вагон, а железнодорожные бюрократы долго не чинили его, как сами объелись малиной и у «типографии» заболел живот, потому что типографией у них была некая Соня, переписывавшая печатными буквами дорожную стенгазету... Как переехали потом через Волгу: «Волга нам помеха ли? По мосту проехали». Как вагон протек, размочило конфеты и сахар и некоторые ребята обсахарились. Как встретили в дороге артистов-трамвайцев и научились «жестикულიровать лицом», так что у некоторых пионеров сделался «выпученный вид»...

Москва сначала им не очень понравилась: «Небо меньше, чем у нас». Но когда попали в Парк Культуры и Отдыха, в детский городок, и когда поднялись на Ленинские, прежде Воробьевские горы, то неба оказалось вдосталь. И Москва получила у «курносых» самую высокую оценку.

Алексей Максимович предложил ребятам прочесть вслух собственные их стихи. Среди стихов оказались такие, что Горький, шутливо разводя руками, пробасил негромко, обращаясь к нам, писателям:

— Да-а-а, вот это конкуренты! Подрастут—забьют они вас... Честное слово, забьют.

Ну, а потом, конечно, ребята стали дружно наседать на Алексея Максимовича, чтобы он что-нибудь рассказал им сам. Горький долго и смущенно отнекивался.

— Собственно говоря, о чем же рассказывать?.. Собственно, я уже про все

в своей жизни рассказал. Про все написано и переписано. Новенького ничего не имею. Да и не оратор я. Говорю скучно. Гм... хм... пожалуй, не стоит.

Тогда «курносая», державшаяся за его левый локоть, все так же снизу поглядывая на Горького, быстренко и серьезно, эдаким сибирским говорком, предложила:

— Алексей Максимович, а вы возьмите в руки карандаш и, когда станете рассказывать, водите им вот так в воздухе, будто пишете, вот у вас сразу все и получится. Ведь вы, когда пишете, у вас всегда получается. А вы думайте, будто вы тоже пишете сейчас.

Горький лукаво посмотрел на нее сверху одним глазом вбок:

— Превосходно сообразила. Действительно, очень просто: раз ты, такой-сякой, есть писатель и у тебя перо или карандаш в руке, так действуй, повествуй... Остроумно замечено. Ничего не возразишь. Назвался груздем, полезай. Ну, пожалуй, придется что-нибудь такое... Гм... Вам изложить. Не знаю только, что... Гм... хм... Ну, разве вот это попробую.

Горький длинными своими пальцами провел по усам, немножко насушился, из-под бровей оглядел нас всех, откашлялся в платок и начал:

— Это давнее дело. Мальчонкой я тогда еще был. Вот, примерно, вашего возраста. Даже поменьше. Жили мы тогда в Нижнем Новгороде. У нас там взвозы крутые — от Волги вверх. На тех взвозах — фонари в те времена керосиновые стояли. Ходил, значит, как на дворе стемнеет, такой человек, фонарщик, ламповщик. С лесенкой. Подойдет к фонарю, лесенку приставит, влезет, лампочку заправит, засветит огонек — и со своей лесенкой к следующему фонарю... Ну, а у нас, мальчишек, — известно, что за подлый народ мальчишки в таком возрасте, — у нас, говорю, мальчишек, особое удовольствие было. Как зажгут фонари на взвозе, так мы камешков наберем и давай по фонарям кидать. Пустишь этак камешком — дреньк! — и нет фонаря. Потух. Очень это нам нравилось. Любимое было занятие. Дреньк — нет фонаря! Дреньк еще раз — второго нет...

Алексей Максимович закурил длинную папиросу, в мундштук которой сунул какую-то желтую ватку. Несколько раз затыкнулся, потом долго откашливался, сосредоточенно, не глядя ни на кого. А мы сидели вместе с «курносими», боясь пошевелинуться, и каждый из нас видел перед собой старый волжский город. По крутым горам взбираются от реки вверх улицы. И фонари гаснут с тонким звоном один за другим. Удивительный рассказчик был Горький! Все, о чем говорил, вставало живым и явственным перед глазами.

— Так вот, — продолжал негромко Горький, — выдумали мы себе это превосходное и полезное занятие. Вам, ребята, следовать по нашим стопам не рекомендую. Ничего хорошего не будет, да и мне попадет, что я вас этому незavidному делу обучил... А вот вы послушайте, что дальше произошло. Дренькали мы, дренькали фонари эти самые... Отправились однажды на охоту вдвоем, — я, да еще был у меня приятель Мишка, тоже имел глаз безошибочный, руку до фонарей лютую. Только это мы за дело было принялись, вдруг кто-то цоп нас обоих, рабов божьих, сзади в темноте за шиворот! Оглянулись мы и видим: конец нам пришел, сам ламповщик нас подстерел и сграбастал, сердешных. Попались. Пришел час ответ держать. А он эдак поднял нас, как кусят, потряс, не то чтобы уж очень сильно, но чувствительно. Сейчас, понятно, бить начнет. И бить, конечно, будет обстоятельно, тем более, что за дело, по заслугам. Ничего не скажешь. Идем. Не бьет. Значит, чего-то еще хуже замышляет. Ох ты, господи, какую же это он нам казнь египетскую сочиняет? Худо нам стало до невозможности, ребята. Съежились мы, оглянуться боимся. А он все не бьет. Что ты будешь делать — не бьет! Прямо-таки пытка. Главное, непонятно, почему не бьет. Мда... И ведет он нас таким манером, за шиворот, к скамейке. Под фонарь, под целый. Сел и нас усадил. Одного — слева от себя, другого — справа. И все это молча. Сидим мы, казни ждем. Вот тут он и заговорил: «Так это, значит, вы, господа хорошие, это вы, черти драповые, — говорит, — по фонарям камешком стегаете, стекла мне бьете?».. Ну, мы молчим, только сопим

да носом водим. Чего уж тут отнекиваться. Пойманы с поличным. «Так, — говорит ламповщик, — похвально! Очень распрекрасно это вы забавляетесь. Хорошенькое себе занятие нашли. А скажите мне, стрелки, как на свете стекло добывается? Знаете? Что? Чай, и не слышали? Вот то-то и оно-то. А я вам скажу: это человек дыханием своим выдувает. Стеклодувы — есть такие люди. Берет это человек длинную трубку, макает одним концом в жижу горячую, в месиво, стекло расплавленное, другой конец в рот — и дует, дует, дыханием своим действует, пока большой стеклянный пузырь не выдует. Ну, а уж потом режут стекло да раскатывают. И век у них, у этих стеклодувов, короткий. Дыханием они исходят, легкие у них от этой работы сохнут. Кончается человек. А дыхание свое стеклу отдает. Вот, гляди, стеклышко, которое вы еще камешком не кокнули. Простое стеклышко, а в нем тоже дыхание человеческое. Понятно? Человеческое дыхание, а вы в него камешком... Ну, вот что, стрелки, идите-ка вы отсель, а когда опять бить фонари охота придет, так вы мой разговор вспомните. Про тех стеклодувов подумайте.»

И опустил руки. Мы даже сперва не поверили. Сидим, шеей вертим — нет, чувствуем, не держит, ворот свободный стал, отпустил. Ну, мы и разошлись в разные стороны, пока не одумался да обратно не захватил. Вот, думаем, чудак какой: и не стукнул даже ни одного раза. Значит, теперь бей, сколько хочешь, фонари. Ничего за это не будет. Только, знаете, вышли мы на другой день к вечеру и камешки уже насобирали, а как загорелись фонари, что-то нам неловко стало. Как-то интерес пропал. Не то чтобы совестно стало, а как-то просто охоты уже большой нет. Покидали мы свои камешки в снег и пошли домой молча. И я молчу, и Мишка. А на душе у нас у обоих что-то не того, гм... не по себе что-то. С того дня больше фонарей не тревожили. Как они загорятся, так мы отворачиваемся. Вот как умел человек по-хорошему, правильным словом нас повернуть.

И Алексей Максимович медленно добрым взглядом обвел «курносых». Пионеры все еще сидели очень тихо, задумавшись над тем, что услышали от Максима Горького.

Подивился и я волшебному умению Горького распознать в каждом хорошем деле тепло и животворную силу человеческого дыхания.

— Конечно, — заговорил после длившегося минуты две добрых молчания Горький, — конечно, тогда у ребят кругом враги были. Одни враги только. Городовой — враг, дворник — враг, сторож — враг, хозяин — враг. Да и отец с матерью, черт побери, тоже иногда не лучше врагов были... А у вас вон сколько друзей! Ведь из вас может такое получиться, что сейчас себе даже и представить трудно. Ребята вы замечательные. Замечательные, шут вас совсем возьми... Только вы, смотрите, не гениальничайте. Чур, носы не задирать!

— А мы и так все курносые, — чуть ли не хором отвечала «База Курносых».

Эти два небольших воспоминания посылаю для безгонорарного номера «Звезды Востока».

ПАМЯТЬ О НЕМ— В СЕРДЦЕ

Лидия

28^{ая} ноября 1966 года

Из воспоминаний о Хамиде
Алимджане

Шли первые, тяжелейшие месяцы войны. Враг рвался к Москве. Уже в ноябре 1941 года, после двадцатисемидневных скитаний по железным дорогам, группа писателей, среди которых была и я, очутилась в Ташкенте. Положение было трудное: мы приехали самыми последними, и в этом гостеприимном городе, широко открывшем двери своих домов для многих тысяч эвакуированных, уже были заселены все квартиры.

Естественно, что первым домом, в который мы пришли, был дом Союза писателей Узбекистана — улица Первомайская, 20. Сколько воспоминаний связано с этим местом!

И вот к нам вышел человек, лицо которого, манера говорить, весь облик сразу заставили приободриться, почувствовать уверенность в том, что будет крыша над головой, будет работа, что для каждого найдется дело, приближающее и здесь, в глубоком тылу, решение общей великой задачи — победу над врагом.

Это был Хамид Алимджан. С какой естественностью и радушием сказал он, здороваясь:

— Ничего, товарищи, все устроится.

Так оно и вышло.

Хамид Алимджан словно читал в сердцах у всех. Чутьем большого организатора он очень скоро определил склонности и возможности

каждого, увидел, что могут сделать писатели, обрета новую для себя национальную почву, чем могут оказаться творчески полезными приютившей их братской республике.

Он оказывал организационную помощь, не только налаживая связи с издательствами, но и метко угадывая, кого с каким узбекским писателем следует познакомить для творческого содружества.

Не могу при этом с благодарностью не вспомнить о том, как Хамид Алимджан, ознакомившись с моими литературными замыслами и первыми скромными попытками их выполнения, решительно сказал:

— Вас надо непременно познакомиться с Айбеком. Он и писатель, и ученый, историк. У вас я вижу интерес к истории...

Очевидно, исходя из этого моего интереса, Хамид Алимджан показал мне, одной из первых, свою историческую драму в стихах «Муканна» сразу же после того, как она была переведена на русский язык. Она потрясла меня истинно шекспировским размахом в обрисовке характеров, силой страсти, пронизывающей ее.

Характерно, что это произведение, написанное во время войны, о событиях, ушедших далеко в глубь веков, живо перекликалось с совре-

менностью, так как в основе его лежит мысль о непоколебимом мужестве человека, защищающего свой народ и свои убеждения. Об этом своем замысле рассказал мне сам Хамид Алимджан.

... Дом Союза писателей Узбекистана не отличался обширностью. Председатель Союза сидел в маленьком, скромно убранном кабинете. Но как там было всегдалюдно! С какими только делами ни приходили туда — начиная с вопроса о хлебе насущном и кончая самыми сложными творческими проблемами.

Я имела счастье находиться в этом кабинете в ту минуту, когда пришел Гафур Гулям и сказал, что он подает заявление в партию.

Нужно было видеть, как радостно при этом сообщении заискрились глаза Хамида Алимджана.

В Хамиде Алимджане удивительно сочетались — большой поэт и большой организатор. И как красиво он работал! Он никогда не давал невыполнимых обещаний, но если что обещал, то выполнял всегда.

Он ненавидел рутину, косность, презирал отжившие традиции, приветствовал новаторство во всех областях. Это проявлялось даже в мелочах.

Приведу забавный случай. Однажды мы вместе куда-то шли. По мостовой важно шагал верблюд, неся поклажу. Я остановилась, заглядываясь на него.

— Ну, что вы смотрите? — недовольно окликнул меня Алимджан. — Верблюд полезное животное, но я знаю, он интересен вам как экзотика, вот, мол, по улицам Ташкента гуляют верблюды. А вы лучше смотрите на автомашины. Кстати, их у нас становится все больше...

Улыбка — спутница тонкого юмора — часто играла на его лице. Острословие — одна из характер-



ных узбекских национальных черт. Острословие в высшей степени было присуще Хамиду Алимджану. Однажды при мне какой-то писатель сообщил ему, что идет выступать по радио.

— Нужно же колебать эфир, — мгновенно откликнулся Алимджан, и веселые огоньки заплясали в его выразительных черных глазах.

Но я видала Хамида Алимджана и суровым. Никогда не забуду гневного выражения на его лице, когда он, вернувшись с фронта, читал стихи о войне.

Как драгоценную реликвию храню я одну из первых книг узбекских поэтов, выпущенных во время войны в переводах на русский язык, — сборник стихов Хамида Алимджана «Когда цветет урюк» с дорожкой для меня его дарственной надписью.

Читая и перечитывая этот сборник, я с особым чувством вспоминаю те дни, когда я имела возможность часто видеть и слышать этого замечательного человека.

МИЛЫЙ СОВРЕМЕННИК

Из воспоминаний о Михаиле Светлове



Видимо, когда родился Михаил Светлов, у его колыбели стояли—Муза поэзии и Гений юмора. Он видел мир своим особым, острым и проникновенным глазом, отсюда неожиданность его поэтических образов и сравнений.

Он шутил, как дышал. Шутки слетали с его губ, как слова приветствий. Наверное, каждый из нас, его друзей, может пожалеть, что не ходил за ним с карандашом и записной книжкой. И сколько же утеряно этих поистине невозвратных блесков ума!

Стоило ему только появиться, еще ничего не сказав, как все начинали улыбаться, предвкушая острое словцо. И сам он щедро улыбался людям. Просто так, от избытка добрых чувств.

Один только раз я видела его чуть рассерженным. И я была тому виной: я редактировала сборник стихов в переводах с украин-

ского языка, там было несколько его переводов. Просматривая их вместе с ним, я споткнулась об одну, как мне показалось, нескладно звучащую строчку. «Тут нарушен размер»,—решила я и начала быстро отстукивать слоги, бормоча стихи. Вдруг я заметила мрачно-то-насмешливый взгляд Светлова.

— Э, нет,—сказал он,—так со стихами не обращаются!.. Это тебе не арифметика!

Он тут же прочитал всю строфу, и «царапнувшая» меня строка зазвучала совсем по-иному, легла на свое место, я просто не уловила ее интонационного смысла. Мне до сих пор неловко за проявленную тогда «глухоту». А Светлов сердился недолго и даже охотно соглашался с другими моими замечаниями, менял эпитеты, переставлял слова.

Деликатность по отношению к людям была неотъемлемой чертой Светлова, поэтому его насмешки не убивали, а вызывали улыбку даже у тех, над кем он насмехался. Вспоминаю, что в день его шестидесятилетия я подарила ему модную тогда, черную трикотажную рубашку. А когда два месяца спустя его наградили орденом Трудового Красного Знамени, встретив его в тот же день, я сказала:

— Я как раз собиралась тебя поздравить...

Знакомая насмешливая улыбка.

— Ты что, хочешь подарить мне еще одну рубашку! Так имей в виду, что мне нужны еще и полотенца... Понемногу составитесь целый гардероб.

Тут кстати вспомнить о его юбилейном дне рождения, на котором я имела счастье присутствовать. Надеюсь, что когда-нибудь на доме № 16 по Второй Аэропортовской, у второго подъезда первого корпуса, будет прибита мемориальная доска с надписью: «В

этом доме Михаил Светлов провел последний год своей жизни».

Его однокомнатная квартира (впрочем, кухня так велика, что вполне сходила за вторую комнату) сделалась резиновой в день его шестидесятилетия; по неполным подсчетам в ней побывало сто двадцать человек. Правда, они шли конвейером, но были минуты и даже часы, когда набивалось до полусотни сразу.

Душой этого своеобразного приёма оказалась Лидия Борисовна Либединская, которая так организовала угощение, что все были сыты, хотя ни о каком застольном сидении не могло быть и речи. Эта участь постигла лишь некоторых счастливых, которые вооружились даже вилками. Но блюда с бутербродами и закусками, вазы с фруктами и конфетами, горки чистых тарелок, целая армия стаканов и чашек, батареи бутылок с разными напитками — стояли повсюду: на подоконниках, на плите, на шкафу, на полу... Каждый мог «себя обслужить», вволю наесться и напиться.

Здесь в этот день могли встретиться писатели разных поколений, люди давно не видевшие друг друга или никогда вообще не встречавшиеся. И все это шумело, гудело, выкрикивало тосты и поздравления.

У дверей я столкнулась с уходящим Смеляковым. В передней, где столпилось множество людей, сияли огромные черные глаза Вероники Тушиновой. Она собиралась, видимо, уходить, но ее за руку тянул обратно в кухню Марк Соболев; там, в углу, светясь кудрявой сединой, что-то смешное рассказывал Рыклин. В другом углу раздавался басовитый, полный задора голос Марка Колосова. Анатолий Медников со своей обычной скептической улыбкой дожевывал бутерброд.

У окна, освещенные сумеречным светом позднего летнего вечера, вели оживленную беседу Паперный, Лапин, Сухаревич, Сергей Антонов и еще кто-то.

В сутолоке и непрестанном вращении мелькали бесчисленные знакомые и незнакомые лица. Тут были и Драгунский, и Лагин, и Любарева, и Уварова, и Сорин, и артисты, артисты, артисты...

Появился Игин, неся в подарок юбиляру очередной дружеский шарж. Кто еще так уловил самое характерное в лице, да и в самой натуре Светлова!..

А посреди всего этого коловращения сидел довольный и на редкость в этот день молчаливый сам Светлов, чувствуя себя не столько хозяином, сколько почетным гостем этого веселого торжества.

Поздним вечером наступило некоторое затишье. Многие ушли, и когда осталось человек тридцать, как-то само собою возникло нечто похожее на организованный литературный разговор.

Прочитал лирические стихи, посвященные Светлову, Юрий Коринец, потом — шуточные — Василий Сухаревич. Затем — острые, пародийные — Паперный, и «поэтический парад» был завершен лирическими, с юморком, стихами Марка Соболя. Наверное, эти стихи найдут место в их собственных расказах о Светлове.

Следующая часть этой импровизированной программы была посвящена воспоминаниям. Вспоминали разговоры со Светловым, его словечки, остроты, легенды, ходившие о нем... А он слушал все это с таким видом, словно речь шла о ком-то другом, смеялся, удивлялся, не узнавая себя. Одна история ему, видимо, очень понравилась.

Выразительно, со вкусом рассказывала актриса, весь вечер просидевшая рядом со Светловым, о том, как она пришла в первый раз в этот дом поздравить Светлова с новосельем. Она встретила его выходящим на улицу с огромной голяжьей костью в руках.

— А, здравствуй, собака, — сказал он нежно (вспомним, что и у Чехова это слово звучало как ласковое обращение). — Пойдем кормить настоящую.

И Светлов повел свою гостью на какой-то пустырь, где стояла собачья будка. Выманив оттуда лохматую дворнягу, он преподнес ей кость, но она, равнодушно лизнув ее, тут же лениво отвернулась.

— Эх, ты, дура,—сказал Светлов,—эту кость обглодал сам Твардовский! Если бы ты поняла это, то не только взяла бы ее, но еще и отправила бы в музей...

Дивертисмент продолжался. От имени Симонова, его голосом и с его интонациями поздравил юбиляра Паперный. Затем Сурков, Погодин, Кривицкий произнесли свои поздравительные речи... устами Сухареви-ча. Закрыв глаза, можно было не сомневаться, что говорят именно они.

Поток поздравительных речей был прерван приходом актрисы-цыганки, задушевно спевшей в честь Светлова несколько русских и цыганских песен.

Торжество длилось и длилось... Стало опять шумно, цыганка внесла новую струю оживления, а сама убежала, сказав, что ее ждут

в таборе. «Табор» был недалеко, в одной из квартир этого же подъезда, где она живет со своим мужем, писателем.

Как далек был этот юбилейный вечер от всякой официальщины, от стандартных поздравлений и пожеланий!

Принято сравнивать поэзию Светлова, его юмор с поэзией и юмором Генриха Гейне. А в них только и есть общего, что оба они совершенно самобытны, оригинальны. И еще: оба шутили даже на смертном одре.

Известны знаменитые слова Гейне, сказанные им незадолго до смерти: «Бог меня простит, это его ремесло». Так и Светлов, даже испытывая тяжелые физические страдания, отшучивался от них, преодолевая боль, издеваясь над ней. «Рак уже есть, а где же выпивка к нему?» Ему уже трудно было двигаться, есть, дышать, а он шутил, шутил, шутил... В этом проявлялась гордость человеческого духа, его творческое начало, которым так богат был поэт и человек Михаил Светлов.





Константин СИМОНОВ

Посылаю Вам статью о творчестве Хемингуэя, предназначенную для того номера «Звезды Востока», гонорар которого пойдет в помощь пострадавшим от Ташкентского землетрясения.

*Константин
Симонов*

„Я СТАВЛЮ НА ИППОЛИТО“

Испанская тема в творчестве Хемингуэя

Через год после окончания второй мировой войны, летом 1946 года, в письме, адресованном автору этих строк, Эрнест Хемингуэй спрашивал: «Был ли переведен на русский язык роман «По ком звонит колокол»?»

Видимо, этот вопрос интересовал его, и ему хотелось увидеть свой роман переведенным на русский язык, потому что, задав свой вопрос, он далее, в том же письме, говорил о романе: «Его можно было бы издать с небольшими изменениями или пропуском некоторых имен. Мне бы хотелось, чтобы вы прочли его. Он не о той войне, какую мы пережили за эти несколько лет. Но как раз о малой партизанской войне, и там есть место о том, как мы убиваем фашистов, которое вам должно бы понравиться...»

Мне показалось уместным вспомнить эти строчки из старого, двадцатилетней давности письма Хемингуэя, говоря сейчас об испанской теме в его творчестве.

Когда Хемингуэй начал писать «По ком звонит колокол», траги-

ческий для испанского народа фильм гражданской войны в Испании был у всех на памяти. Испанская республика была только что проглочена фашизмом, уже совершился мюнхенский сговор; французские и английские политики готовились окончательно предать Чехословакию.

Когда в 1940 году Хемингуэй заканчивал и публиковал свой роман, Чехословакия была уже стерта с карты Европы, Польша залита кровью и оккупирована, а между Германией, с одной стороны, и Францией и Англией, с другой, шла «странная» война, странность которой объяснялась прежде всего страстной надеждой тогдашних политических лидеров Англии и Франции на то, что им еще удастся перевести стрелку и, избежав настоящей войны на Западе, направить бронированный поезд германского фашизма на Восток.

Вышло не так, как они думали. В конце концов Гитлер действительно обрушился всеми своими силами на Советский Союз, но этому предшествовали бомбардировки

Лондона, захват Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, эпопея Дюнкерка и разгром Франции.

Пламя, вспыхнувшее в июле 1936 года, в дни фашистского мятежа в Испании, разгорелось в охвативший все континенты пожар Второй мировой войны.

Произошло то, что предчувствовал Хемингуэй, когда он после Испанской войны испытывал острую потребность немедленно засесть за книгу о первых трагических уроках вооруженной борьбы с фашизмом.

Слово «немедленно» не мое слово. Именно его употребил сам Хемингуэй, объясняя, почему он торопился начать работу над «По ком звонит колокол». «После Испанской войны я должен был писать немедленно, потому что я знал, что следующая война надвигается быстро, и чувствовал, что времени остается мало...»

Хемингуэй ненавидел фашизм. Ненавидел открыто и непримиримо. Ненависть его была действенной — он боролся против фашизма всеми доступными ему средствами. Он писал статьи и произносил речи против фашизма, он написал пьесу «Пятая колонна», сидя под обстрелом в Мадриде, и написал «По ком звонит колокол» сразу же, как только кончилась война в Испании. Наконец, он просто-напросто воевал против фашизма с оружием в руках. Он не ограничивался ролью военного корреспондента в Испании и не ограничивался ею во время Второй мировой войны. Этому есть немало свидетельств, но, пожалуй, лучшим свидетельством являются его собственные слова, относящиеся к 1946 году: «Всю эту войну я надеялся провоевать вместе с войсками Советского Союза и повидать, как здорово вы деретесь, но я не считал себя вправе быть военным корреспондентом в ваших рядах, во-первых, потому, что я не говорю по-русски, и, во-вторых, потому, что я считал, что буду полезнее в уничтожении «кочерыжек» (так мы прозвали немцев) на другой работе. Почти два года я провел в море, на тяжелых заданиях. Потом отпра-

вился в Англию и перед вторжением летал с Королевским воздушным флотом, как военный корреспондент участвовал в высадке в Нормандию и потом остальную кампанию провел с 4-й пехотной дивизией. В Королевском воздушном флоте я хорошо, но бесполезно провел время. В 4-й дивизии, в составе 22 пехотного полка, я старался быть полезным, зная французский язык и страну, и имел возможность работать в авангардных отрядах маки».

Просто испытывать ненависть к фашизму Хемингуэй считал недостаточным. Он требовал, чтобы эта ненависть находила выражение в борьбе, и говорил об этом в своей гневной речи «Писатель и война», произнесенной в июле 1937 года на Втором конгрессе американских писателей. Коротко упомянув, какие массовые убийства мирного населения совершили фашисты в Мадриде, он отказался от описаний подробностей и счел нужным объяснить, почему он не делает этого: «Начав описывать все это, я вызвал бы у вас только тошноту. Может быть, я пробудил бы в вас ненависть. Но не это нам сейчас нужно. Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться. Мы должны понять, что эти убийства — всего лишь жесты бандита, опасного бандита — фашизма. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его».

Сказать о романе «По ком звонит колокол», что он написан человеком, ненавидящим фашизм, — значит, сказать слишком мало. Этот роман написан человеком, который боролся против фашизма не только пером писателя, но и по-солдатски, с оружием в руках. И написан он тогда был, когда кровавая борьба с фашизмом, в которой участвовал Хемингуэй, окончилась горчайшим поражением. Горечь Хемингуэя — это не горечь стороннего, хотя бы и горячо сочувствующего свидетеля. Это личная нестерпимая горечь человека, потерпевшего поражение. И в то же время его книга — это книга человека, знающего, что даль-

нейшая борьба впереди, и не верящего в то, что фашизм всемогущ.

Роман «По ком звонит колокол» написан в перерыве между двумя схватками, и это очень важно для его понимания.

Когда в финале романа его герой Роберт Джордан «очень бережно, счесь осторожно, чтобы не дрогнула рука», берет на прицел пулемета подъезжающего во главе отряда фашистского офицера, когда мы знаем, что в следующую секунду за той, на которой кончается роман, Джордан нажмет на гашетку и даст очередь по фашистам,— это звучит символически, хотя Хемингуэй как писатель и не склонен к символическому.

Готовый к смерти в этом, очевидно, последнем лично для него бою, Джордан думает: «Теперь, если бы еще наступление оказалось удачным. Ты что же хочешь? Все. Я хочу все. Но я возьму то, что можно. Пусть даже это наступление окончится неудачей, что же, другое будет удачным...» И эти последние мысли героя романа мне кажутся символическими для того настроения, с которым Хемингуэй завершал работу над книгой.

Действие романа происходит в 1937 году. Джордан, думая о том, что если это наступление окончится неудачей — другое будет удачным, имеет в виду просто следующее наступление; он умирает, не зная, чем кончится война в Испании. Но Хемингуэй пишет эту сцену, зная, чем кончилась война — поражением. И однако он дает своему герою в последние минуты жизни именно эти мысли и делает так, конечно, не случайно. Когда он писал свою книгу о трагедии Испанской войны, он думал о будущих битвах с фашизмом. И за мыслью Джордана о будущем удачном наступлении стоит мысль Хемингуэя о будущей войне с фашизмом, в которой необходимо будет его победить.

В своем, написанном в 1938 году, маленьком очерке «Мадридские шоферы», говоря об одном из этих шоферов, об одном из бесчисленных рядовых антифашистов, Хемингуэй как нельзя ясней, в прямой публи-

цистической форме выразил веру в возможность будущей победы над силами фашизма. «Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или на Гитлера. Я делаю ставку на Ипполито».

Эти слова были написаны, когда борьба в Испании еще продолжалась, но объяснять их оптимизм только этим неверно. Принципиальный взгляд Хемингуэя на то, что фашизм все равно когда-нибудь будет побежден, не изменился и после поражения Испанской республики. В феврале 1939 года, в те дни, когда над Мадридом уже развевалось фашистское знамя, Хемингуэй в своем, звучавшем как реквием обращении «Американцам, павшим за Испанию», писал:

«Как земля никогда не умрет, так и тот, кто был однажды свободен, никогда не вернется к рабству. Крестьяне, которые пахут землю, где лежат наши мертвые, знают, во имя чего они пали. За два года войны они успели понять это, и никогда они этого не забудут.

Наши мертвые живы в памяти и в сердцах испанских крестьян, испанских рабочих, всех честных, простых хороших людей, которые верили в Испанскую республику и сражались за нее. И пока наши мертвые живут как частица испанской земли,— а они будут жить доколе живет земля,— никаким тиранам не одолеть Испании.

Фашисты могут пройти по стране, проламывая себе дорогу лавиной металла, ввезенного из других стран. Они могут продвигаться с помощью изменников и трусов. Они могут разрушать города и селения, пытаясь держать народ в рабстве. Но ни один народ нельзя удерживать в рабстве.»

Эти строки были написаны Хемингуэем, когда он, по его словам, испытывал потребность «немедленно» начать работу над романом «По ком звонит колокол». И роман «По ком звонит колокол» — это тоже своего рода реквием — главные герои его — люди, погибшие за свободу испанской земли. И среди этих людей, испанцев и неиспанцев,

Роберт Джордан, один из «американцев, павших за Испанию», человек, глазами которого Хемингуэй смотрит на борьбу с фашизмом, человек, наиболее полно выражающий в романе взгляды самого Хемингуэя, как это, впрочем, свойственно всем главным героям его книг.

Главная и определяющая черта романа «По ком звонит колокол» — непримиримая и действенная ненависть Хемингуэя к фашизму.

Развернутая в романе картина жизни — а жизнь в то время была прежде всего войной — сложна и противоречива. В этой противоречивости отражается и реальная противоречивость происшедшего и противоречивость взглядов самого Хемингуэя. В этом лагере, в рядах которого с беззаветным мужеством сражается его герой, Хемингуэй многое критикует, отвергает, не принимает. Разрозненность усилий, бюрократизм, бестолковщина, анархистские нравы и влияния — все это вызывает ярость и Роберта Джордана и самого Хемингуэя. И очень часто нельзя не разделить этой ярости.

Хемингуэй понимает и чувствует, что испанские коммунисты были единственной партией, способной противопоставить испанскому фашизму и стоявшему за его спиной фашизму немецкому и итальянскому свою цельность, организованность и твердую волю к победе.

Но в то же время Хемингуэй с тревогой и жестокими колебаниями думает о проблемах, связанных с подчинением личности коллективной воле и общественной необходимости.

Проблема партийной дисциплины для него сложная и мучительная проблема, хотя он и ясно сознает, что без железной дисциплины победа над фашизмом невозможна, что без этого гражданская война будет проиграна.

При всей силе этих противоречий острое чувство общественного долга побеждает все остальное в Роберте Джордане — герое «По ком звонит колокол» — так же, как оно

побеждает в Филиппе — герое «Пятой колонны».

Но сама сила этих противоречий носит острый, глубоко драматический характер. И это очень органично для Хемингуэя. Он и не мог написать своего Роберта Джордана иначе, чем написал. Буржуазный гуманист, ставший в гражданскую войну с оружием в руках на сторону народа, пришедший в этой борьбе к твердому логическому выводу, что победу можно завоевать только идя вместе с коммунистами. Роберт Джордан внутренне остается индивидуалистом и идеалистом, корни его чувств связаны с иным обществом, с иным взглядом, с иной школой воспитания. И по ходу романа, вопреки своему неприятию коммунистических идей, он совершает непрерывную и трудную работу над самим собой во имя того, чтобы остаться верным делу борющегося с фашизмом народа. И как бы ни были сильны эти противоречия, Джордан до конца не сворачивает с пути, который избрал.

Рисуя сложную, противоречивую картину лагеря Республики и многое в этой картине рисуя не таким, каким это видим мы, Хемингуэй на протяжении всего романа никогда не выпускает из виду самого главного. А самое главное для него — это победа над фашизмом. Для него, так же как и для его героя, нет ничего важнее, чем победить фашизм. Его герой просто не может представить себе без этого своей дальнейшей жизни. Он готов за это умереть и считает, что за это следует умирать. Как бы ни была бесконечно дорога и бесконечно духовно богата отдельно взятая человеческая жизнь, но раз ее главная цель — победить фашизм, то во имя этой цели человек не смеет щадить себя.

«Почти целый год я дрался за то, во что верил, — думал Роберт Джордан, — если мы победим здесь, мы победим везде. Мир — хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его покидать. И тебе повезло, — сказал он себе, — у тебя была очень хорошая жизнь».

Почти нестерпимо больно читать те страницы романа, где Хемингуэй описывает, почему проваливается так хорошо задуманное поначалу республиканское наступление, где он рассказывает о полной осведомленности фашистов об этом наступлении, о болтливости и неумении соблюдать военную тайну в республиканском лагере, о разрозненности усилий, продолжающей существовать вопреки всем требованиям и стараниям коммунистов, о генерале Миаха, ставящем палки в колеса общему делу, о нелепо и порой преступно пользующемся своей властью и своим авторитетом Марти, о неимоверно трудных условиях работы военных советников и о многом другом, что в итоге приводит к провалу наступления.

Однако, при всей необыкновенной горечи этих страниц, Хемингуэй далек от фатализма, от скептического вывода задним числом, что иначе оно и не могло быть. Наоборот, он в ярости, потому что убежден, что могло быть иначе. Его горечь — это не горечь беспомощно разведенных рук. Это горечь предметного урока. «Если так воевать, как воевали в этом наступлении, то фашизм нельзя победить, — как бы говорит писатель. — И если мы будем повторять эти ошибки, то они снова победят нас. А я этого не хочу. Я не хочу допустить мысли, что это неизбежно».

«По ком звонит колокол» — горькая книга. Иной ее и не мог написать Хемингуэй тогда, когда он ее писал — сразу после поражения. Но я уже приводил его слова об испанском народе, который нельзя удерживать в рабстве. И эта уверенная нота — веры в непобедимость народа, звучит до конца романа среди горького гула погребальных колоколов.

Я уже сказал о своем понимании образа Джордана как образа буржуазного гуманиста, в открытой борьбе с фашизмом вставшего на сторону народа и пошедшего с ним до конца. В то же время до конца не расставаясь в душе со своими колебаниями, сомнениями и ложными

представлениями о том, какой может и должна быть революция.

Роберт Джордан беззаветно сражается за дело народа и в то же время в своих мыслях, думая о народе, революции, коммунизме, часто и многое судит со своих, не разделяемых нами позиций. Если рассматривать эту фигуру как типичную фигуру участвующего в революции честного буржуазного интеллигента, то нет нужды проследживать за всеми ходами мыслей Джордана и анализировать их противоречивость. Ибо противоречивость — в самой сути его общественной личности и поэтому на всем протяжении романа не только психологически оправдана, но и логична.

Роман о гражданской войне в Испании написал американец, сделав главным героем романа американца и увидев испанский народ и испанскую революцию его глазами. Этого нельзя выпускать из памяти, читая роман и оценивая различные его стороны, ибо эта особенность заложена в самой основе романа и необыкновенно много определяет в нем.

Очевидно, многое в восприятии испанской жизни и испанской революции, данным Хемингуэем через Джордана, может не сходиться с тем самоощущением, которое есть у самих испанцев, воевавших за свободу своей республики. Это вполне естественно. Даже несмотря на глубочайшее писательское проникновение, писатель — сын одного народа, пишущий о другом народе и даже являвшийся участником его борьбы за свободу, все-таки в чем-то пишет об этом народе со стороны.

Можно и даже необходимо допустить, что за какие-то свои объективно неверные ощущения и представления о национальной жизни и национальном характере испанского народа писатель заслуживает критики со стороны представителей того народа, о котором он пишет, причем критики, обостренной национальным самосознанием.

Но как бы ни подвергать, пусть

даже самым справедливым сомнениям, те или иные стороны романа, те или иные частности, те или иные, быть может, неверные утверждения писателя, одно и притом самое главное не подлежат сомнению. Роман Хемингуэя написан с громадной любовью к испанскому народу. Это любовь и преданная, и нежная, и сердитая, способная и подмечать слабости и восхищаться, способная и на горечь, и на уважение, и даже на преклонение. Словом, это настоящая, большая, хотя и не свободная от заблуждений, любовь большого и честного человека к великому и прекрасному народу.

А мера заблуждений, с которыми мы сталкиваемся в романе Хемингуэя, порою велика, и, говоря об этой замечательной книге все то, что я говорил, я не вижу причин умалчивать и об этой стороне дела. Для того, чтобы охарактеризовать ее, достаточно привести один, пожалуй, наиболее показательный пример.

В двадцатую годовщину Сталинградской битвы мне довелось быть в Волгограде на площади Павших борцов в те часы, когда там был зажжен вечный огонь в память людей, погибших в боях с фашизмом, совершивших то, что потом во всех концах мира называли «Сталинградским чудом». Там, на этой площади, стоит скромный строгий памятник, под которым похоронен командир пулеметной роты, Герой Советского Союза старший лейтенант Ибаррури. Стоя там, перед этим памятником, я невольно вспомнил одно место из романа «По ком звонит колокол». Партизаны, коммунисты и некоммунисты, в этой сцене романа спорят между собой о том, отправила или не отправила Долорес Ибаррури юношу, своего сына, в Москву. В разговоре звучит адресованное Ибаррури осуждение за то, что она, сражаясь сама за свободу Испании и призывая к этому других, отправила собственного сына в безопасное место.

Но в том «тихом месте», куда мальчиком приехал сын Ибаррури, он, едва перешагнув за двадцать

лет, пошел в бой с тем же самым фашизмом, с которым воевала его мать, и сражался как герой и умер у стен Сталинграда за свободу России, за свободу Испании, за свободу всего человечества. Хемингуэй был исторически не прав в той сцене своего романа, и сама история сказала потом об этом.

Это не единственный случай, когда он был не прав, но наиболее очевидный, который не мог не прийти мне на память.

Некоторые страницы романа посвящены встречам его героя Роберта Джордана с советскими военными советниками и корреспондентами, находившимися в то время в Испании. Эти страницы противоречивы. Хемингуэй отдает должное тому героизму и самоотверженности, с которым участвовали эти люди в борьбе испанского народа за свою свободу. И военный советник Гольц и корреспондент Карков изображены в романе как люди умные, сильные и в высшей степени мужественные. В то же время Хемингуэй привносит в образы этих людей свое тогдашнее понимание «русских», во многом далекое от действительности. Он далеко не все знал и далеко не обо всем мог составить себе объективно верное представление. А вернее сказать, в романе дано собственное, глубоко субъективное представление Хемингуэя об этих людях, вдобавок—связанное, очевидно, с большой дозой художественного вымысла, присутствие которого в романе не требует ни объяснений, ни оправданий. Думается, что именно в связи с этим Хемингуэй,—в других случаях очень часто употребляющий в книге подлинные имена,—и Гольцу, и Каркову, и Кашкину сознательно дал имена вымышленные. У читателя, конечно, всегда остается соблазн мысленно подставить под вымышленное—другое, подлинное имя, которое, по его мнению, могло бы стоять в том или ином случае. Но думается, что этого не стоит делать — и потому, что можно совершить невольную ошибку, и потому, что сам писатель не стеснялся ос-

тавлять подлинные имена всюду, где считал это необходимым, а не делал этого там, где сознательно не хотел этого делать. И с этим стоит посчитаться.

На страницы романа, посвященные изображению русских в Испании, несомненно наложило известный отпечаток то, что Хемингуэй слышал, в свое время, о связанных у нас с трагическими последствиями культа личности событиях 1937—38 годов. Сначала слышал, еще находясь в Испании, а потом, очевидно, многое узнал дополнительно, когда уже писал свой роман.

Сейчас не приходится сомневаться, что многие советские люди, которые были тогда в Испании и, самоотверженно выполняя волю своего народа, помогали испанцам, в той или иной мере чувствовали, что там, за спиной, у них на родине, происходит что-то странное, непонятное, тягостное. Многие из них, вернувшись домой, вскоре были оклеветаны и погибли. И, очевидно, в душах у некоторых из этих людей могло постепенно расти предчувствие надвигающейся на них беды, то ощущение, которое очень тонко дает почувствовать Хемингуэй в своем романе, особенно на страницах, связанных с образом Каркова.

Упомянув об этом, нельзя выбрасывать из памяти всю ту свистопляску, которая по этому поводу бушевала в западной печати, когда Хемингуэй работал над своей книгой. А если не выбрасывать этого из памяти, то надо отметить, с какой, отличавшей его от многих других, осторожной чуткостью, деликатностью и сдержанностью подходил в те годы Хемингуэй к этой трагической проблеме.

Сложные чувства оставляет в душе то, как описывает Хемингуэй отель «Гейлорд», изображенный в романе как место пребывания части военных советников и других русских в Мадриде.

Хемингуэй подчеркивает относительную комфортабельность жизни в этом отеле в условиях осажденного города.

Однако, раздумывая над этой не-

сомненной подчеркнутостью изображения, нельзя не обратить внимания на то, что все это дается глазами Роберта Джордана, находящегося во вражеском тылу, глядящего в глаза смерти и страстно мечтающего о том, как он, после всех испытаний, живым и вместе с Марией вернется в Мадрид. Он думает о «Гейлорде», о его теплых комнатах и глотке водки и стакане пива, как о чем-то в данный момент его жизни почти недосыгаемом, как о земле обетованной. Именно отсюда и возникает большая доля подчеркнутой эмоциональной контрастности, которая присутствует в мыслях Джордана о «Гейлорде». Преувеличенность этого чувства в какой-то мере понятна каждому, кому приходилось мечтать о таких вещах, в обстоятельствах хоть сколько-нибудь близких к тем, в которые поставил Хемингуэй своего героя.

Но надо сказать ради справедливости и другое. Один из людей, воевавших на фронте под Мадридом советником в одном из испанских полков и вернувшийся оттуда Героем Советского Союза, прочитав «По ком звонит колокол», говорил мне с усмешкой, в которой был оттенок горечи, что он (и такие, как он, а таких, как он, было большинство) и представления не имел об относительных благах «Гейлорда» по той простой причине, что война и безотлучное выполнение своих обязанностей так ни разу и не позволили ему побывать там.

Некоторые страницы «По ком звонит колокол» написаны с непривычной для русской литературной традиции натуралистической грубостью лексики. Хемингуэй пользуется этой лексикой особенно часто в сценах партизанской жизни.

В то же время невозможно согласиться с утверждениями, которые мне довелось слышать в связи с этими сценами, что любовь Джордана и Марии якобы написана в них с излишней откровенностью. Можно сказать, что мера этой откровенности далека от наших собственных литературных традиций, и это будет верно. Но Хемингуэй

никого не обязывал к подражанию себе теми художественными средствами, которые органичны для его собственной литературной традиции. Да, любовь Джордана и Марии написана у него с очень откровенными подробностями. Но само это чувство дано в романе как чувство такой огромной всепоглощающей доброй силы, что и близость этих двух людей ощущается лишь как неотъемлемая часть огромной и чистой обоюдной любви. И мне лично кажется, что страницы, посвя-

щенные трагической любви Джордана и Марии,— одни из самых сильных, высоких и чистых страниц во всем творчестве Хемингуэя.

Я перевертываю последнюю страницу этого романа, трагического и полного ненависти к фашизму, перевертываю и снова вспоминаю слова уже ушедшего от нас Хемингуэя:

«Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или на Гитлера. Я делаю ставку на Ипполито».



Яков КУМОК

МИХОЭЛС

Рассказ

Толпа на площади

По врожденной ли, а скорее всего по возникшей склонности — с детства я жаден к толпе. Помню, как на открытых платформах — в кружок, детей в середку — держали люди гуртовое спасительное тепло. Зимой сорок первого — сорок второго перемогли мы на хуторе в саратовской степи. Летом и там появились войска, заерзали прожекторы, высвечивая площадки на угольно-чернильных облаках. И мы подались на загадочный юго-восток.

Эвакуация, скрежещущая пересыпь просмоленных шпал... Годов мне было — девять, кажется, ткни память — всплывет родная улица, лестница на второй этаж, киска Вита, которой, прибегая из бомбового убежища, наливал молока... Нет! Оскальзывается память, упрямо отсчет начинается с рокового воскресного утра. Так, думается, и все человечество — как ни вертись, безмерное прошлое свое делит на до войны и после. И странно, что уже повзрослело поколение, не знающее этой секущей даты. Да, верно, знает. Не может иначе. Хотя в предпамяти где-нибудь, но знает.

Так вот. Три было площади в Ташкенте, где постоянно жила толпа: Привокзальная, базар в Старом городе и Тезикова дача. На первую приходиться я страшился. Недавно еще сами мы бедовали на ней две недели, пока мама искала работу и дешевое жилье, желательно с дощатым, а не глиняным полом. На ночь одеяла раскатывали прямо в пыль. Площадь превращалась в ночлежку. Воцарялись созвездия, незнакомые и спокойные. А на земле покоя не было. Стонали на путях «кукушки», «хруп, хруп» — били платформу солдатские подковы, а между спящими все кто-то ходил, кто-то кого-то искал. «Вы не из Киева?.. А я подумал, из Киева».

«Воры!?» — поминутно вскакивала мама. И все же не устерегла: сперли у нас подушку. Какая там ценность по нынешним временам, а сколько слез было. Мы с сестрой постоянно хотели спать. Однажды я упал и уснул на мостовой, и добрые люди снесли меня к на-

шим узлам. Узлы эти мы весь день перетаскивали с места на место, прячась от солнца, и впоследствии, попадая на площадь, я невольно принимался отгадывать: на этом месте ночевали... и этот ли камешек мне в бок давил... И без особой надобности я к вокзалу не приближался. Старый город был от нас далеко, зато на Тезиковке я, в сущности, безнадзорный, отводил душу.

Капта бозори

Дачи-то никакой не было, как и ее владельца, купца Тезикова. Это все было когда-то. А потом на ее месте расцвела, наверное, без санкции горсовета, знаменитая на весь Туркестан толкучка. О, какое обильное разнообразие лиц, говоров, жестов и товаров. Приобрести здесь можно было буквально все: от польской конфедератки до университетского диплома. Партию маргиланского шелка— пожалуйста, дагестанские кинжалы, хлебные карточки, американское исподнее и консервы... Да что перечислять, пустое дело. Умолчу я и одымчатых бутылях с самогоном и о приветливых женских взглядах.

Капта бозори— большой базар—собирался по средам и воскресеньям. Придешь спозаранок, но уже формируется колонна метров за двести от входа, на улице Першина. Став в нее, необходимо было набрать побольше воздуха в грудь и шевелиться как можно меньше, чтобы выжить. Всех несло само собой. Лишь у самых ворот приходилось поработать локтями, выбирая направление: правая ветвь людского потока катилась к шумной речке Салару, на скотный двор. Там пахло мочой и жмыхом, лежали верблюды и рядом— велосипедные седла, спидометры, тележные колеса, подшипники, хлопали хвостами коровы и гонялись друг за дружкой ишаки.

Океан же, в который впадало второе— основное русло, лежал прямо... то есть не лежал, конечно, а волновался, рокотал, хлестал, бушевал—с шести утра до шести вечера. В него я погружался ежедневно.

Во-первых, здесь можно было заработать честным трудом, если удавалось незаметно вынести из дома ведро. «Есть ха-а-лодная вода, лучше пива и вина». За кружку давали копейку-две.

Во-вторых, меня уже знали. Старик Борисов, например, торговавший скобяной мелочью, завидев меня, наклонялся к своей соседке.

— У этого мальчика часто бывают такие печальные глаза...— И отваливал мне горбушку с салом или горсть кураги. Старик носил шикарную бороду, надвое расчесанную, и я подозревал, не сам ли он купец Тезиков, скрывающийся от возмездия за прошлое богатство?

А в-третьих, тянуло меня сюда и потому еще, что полюбил я примечать за разными людьми...

Этот человек

Он приезжал! На двуколке, сам правил! Представьте мою зависть. Обычно в полдень. И час-полтора толкался среди торгующихся, редко приценивался и еще реже покупал, да и то безделушку какую-нибудь: насвайницу или расписное узбекское блюдо. У него их много, наверное, накопилось.

Лужайки он проходил упругим бесцеремонным шагом. На нем желтые ботинки, кепи шестиклинка.

Примечательная у него была нижняя губа. Она покрывала верхнюю и дьявольской обладала выразительностью. Стоило ему чуть изменить ее форму, все лицо менялось, становилось то задиристо-высокомерным, то угрюмым, то задумчивым.

Некоторые интересы у нас с ним совпадали: слушать песни слепых или Сеньки-скомороха похабные частушки. «Юх! Юх! Взяла Машка двух!» Похрюкивает Сенька, повизгивает, приплясывает, неистойно почесывается — и вдруг жажнет затравленно-просительным взглядом по зрителям. «Давай про белу лошадь!» кричат... В один прекрасный день Сеньку увели, и по базару прошмыгнул слух, что в нем изобличили немецкого шпиона.

Ах, Тезиковка, вече безродное, слезы голодные, сухие подсчеты и драки инвалидов... Признаться, в этом мире, деловом и шумном, где одни скорбно цеплялись своею ветошью за жизнь, а другие — ею же — от жизни укрывались, — не очень приятно было видеть праздного наблюдателя. Поэтому я даже обрадовался, когда карточный шулер Гударь, расположившийся на паласике под древним карагачом, втянул его в игру. Сообщников Гударя я давно заметил! То были: рыхлый громадный мужчина с костью, похожий на Сильвера из «Острова сокровищ», и невзрачная женщина с неизменной кошелкой. «Обчистят губастого», — решил я. Первоначальные ставки по четвертаку (25 рублей) он, и верно, проиграл, но потом вот что произошло.

Уже вывернуты были карманы двух наивных колхозников, заклад взвинчен до шестисот рублей (сообщники на это мастера были), и людей кругом много собралось, когда губастый быстро нагнулся, поставил на крайнюю справа карту, перевернул ее — туз! — выдернул деньги из пальцев побледневшего Гударя, выпрямился, поморгал равнодушно-виновато. Я обмер. Сильвер почуял неладное. Выпучив сивушные белки, он ткнул счастливец в шею большим пальцем и просипел, — а от сипа его леденел даже единственный на базаре милиционер:

— Гей, лысый!..

— А?

— Пшел!.. Перемать...

Лысый обвел собравшихся крайне изумленным взором.

— Вы послушайте... Где же правда? Ведь я же знаю еще много других способов! Дай карты! — Он решительно и отчаянно присел рядом с Гударем. — Ты сбрасываешь туза вот этими пальцами. Так? Но можно еще и вот так... Рраз! Где туз? Ага... А теперь смотри... Рраз! В середке! Хе-хе-хе... — он тоненько рассмеялся. — Но лучше такой способ. Раскрываю веером... Внимательней...

Вдруг он швырнул карты и стал медленно и тяжело подниматься, и смотреть на медленное и тяжелое вставание его было трудно. Вот лицо его: нижняя губа вспухла от усталости и презрения.

— Мерзавцы! — коротко пояснил он. — Что с ними сделаешь?.. Товарищи, кто проиграл? Возьмите ваши деньги. Вы, кажется? И вы. Вы тоже, гражданин? Что-то я вас не помню. Ну, все равно. И он зашагал к своей двуколке.

Театральная маска

Зима синяя, солнечная, по утрам морозец прибивал пыль и прирычную траву.

Мама часто водила нас в театры, особенно в ГОСЕТ (Государственный еврейский театр). Он тоже отбывал эвакуацию в Ташкенте. Мне повезло: я видел спектакль во время землетрясения — да, тот самый, о котором сейчас критики вспоминают всякий раз, когда им нужен пример актерского самозабвения.

Мама надевала крепдешиновое платье — одно, оставшееся с мир-

ного времени, густо пудрила исхудалые щеки, брала сестрину детскую сумочку.

Детство для нас, когда мы вырастаем, полно загадок. Почему мама водила нас часто в театр? И цены были не по зубам, и до войны она вообще предпочитала кино. До войны они с отцом часто разговаривали, спорили об этом,—о кино, о театре и о ГОСЕТе, и, наверное, в память об этих разговорах, казня себя за то, что не соглашалась тогда с отцом, она и покупала теперь билеты, выбиваясь из скуднейшего бюджета. То было незадолго до страшного извещения, и предчувствием его, и иссушающим внутренним заслоном от предчувствия надеждой, что минует ее самое страшное, и была заполнена каждая минута длинных маминых суток. За всю войну она и не заснула, по-моему, ни разу.

Потом черед пришел и крепдешинового платья отправиться на Тезиковку. Я наткнулся на маму у овощного ряда. Сроду там платья не продавали. А может быть, она надеялась, что покупатель не найдется. Мне следовало быть в школе, но я подошел к ней. Она будто и не удивилась, и ей, кажется, стало легче отдать платье.

Но в тот вечер она была еще в своем крепдешине. После антракта, когда на сцену вышли Лир и шут, произошел первый толчок. Запахло пылью. В рядах пронеслось замешательство. Ближние к выходу вскочили, взвихрилась давка. И тут начался гул. Не с улицы, не из-под земли—ниоткуда, из вселенной. Зазвенела люстра. Мама схватила наши головы и прижала к своим коленям.

И одному только королю Лиру вольготней стало среди хаоса как естественного продолжения его боли, как подтверждения его права на боль. «Греми во всю! Сверкай огонь!» Сподвижники актера утверждают в своих мемуарах, что он и не заметил землетрясения.

Перепуганные зрители вернулись в свои кресла.

У меня потекла кровь из носа. Я рос слабым, душили меня разные болезни—и малярия, и скарлатина. Острее других мальчишек грезил я стать сильным. А тут мне открылась иная сила и надолго определила мое поведение и душевные цели. Впрочем, может быть, это сейчас, пытаюсь объяснить себя, я отношу отправной пункт к тому вечеру, а тогда я почувствовал что-то совсем другое. Или вовсе ничего не почувствовал. Детство полно загадок.

И вечное сплунится время...

Вот что, мнится мне, я тогда почувствовал, осознал.

Мы ведь других людей понимаем в меру понимания себя.

Меня не очень тревожили злоключения короля, да и плохо я понимал происходящее на сцене. Мало того, я не уверенно знал язык и мысленно, как мог, переводил реплики на русский. Может, так и все? Значит, не смысл текста заставил людей забыть страх? Просто артист свою боль передавал с такой силой, что люди забыли страх. Значит, есть такая власть над людьми, такая сила, что способна заставить людей забыть необоримый страх. И можно, овладев этой силой, властвовать над людьми, если только узнать, из чего она состоит. А если употребить эту силу на добро, а нам всегда кажется, что до нас никто по-настоящему усердно добром не занимался, то можно заставить людей—ого!—громадные дела делать, войну остановить, например, отца вернуть.

Ну, я очень нескладно объясняю, но с этих пор начались мои поиски невидимой, нефизической силы. Бог мой, что я только ни перепробовал!

Гипноз и телепатию, само собой разумеется, и даже черную магию. Книжки какие-то тухлявые читал, в зрачок собеседника вперялся, мысленно повелевая ему замолчать,— а он не замолкал и продолжал плести еще более скучную чушь. В шестнадцать лет, сказавшись сиротой, я пристал к цирку и три месяца болтался на выучке у факира, да только никак не мог усвоить, в какой очередности впихивать в подкладку его цилиндрика китайские фонарики, шелковый стяг и голубя—и был удален.

Все же я закончил школу. К выпускному вечеру подготовил чтение стихов. Путь к чудодейственной силе, мерцалось теперь мне, лежит через искусство, недаром единственны знакомый мне человек, владевший ею, был актером. Да, чуть не забыл, к этому времени уже слился воедино в моей голове и тот человек на базаре и великий еврейский актер— мне попалась его фотография, я ахнул: он!

Сколько раз, бывало, воображал себя один на один с залом. Зал уже тронут моим чтением, и тогда ему, проникнутому моей силой, говорю я, не знаю еще сам, какие, но необходимейшие человечеству слова.

Ну, выступил я на вечере, заработал аплодисменты и похвалу учителя литературы. «У вас, знаете, прорезается темперамент, и при должном усердии и работе над собой...» и так далее. Темперамент... Слово найдено. И это все, что он понял во мне, и этим словом он называет клокотание моей души, которое должно было вызвать ответное клокотание в душах слушателей; значит, он не взволнован, значит, есть и другие невзволнованные, но эта сила ведь должна волновать всех, проникать или уж лучше вовсе никого не трогать.. Я был усердный и темпераментный, черти бы всё это побрали!

И неожиданно для многих я подал документы не в театральный, а в электротехнический. Мне было все равно, но я вспомнил, что люблю ремонтировать плитки и счетчики и по физике всегда имел пятёрки.

Я стал инженером, работаю на обувной фабрике и прекрасно обхожусь.

Добро... что ж, добро... Сеять добро... Да, может, зло только уравновешивает это самое добро на коромысле, с которым на плечах шаркает человечество по проволоке истории.

Простите мне цирковое сравнение.

Так я думаю, когда мне весело.

А когда мне грустно, одиноко, когда кажется, что кто-то слишком уж бойко макает кисть в ведро со злом и кропает, кропает, и, обожженные капельками зла, люди мечутся с застывшими глазами, готовые вновь вцепиться друг в друга и призывать друг на друга огонь... тогда я включаю магнитную запись воспоминаний, путешествую вспять, в свое прошлое... Мелькают лица и города. Вот нужный кадр, стоп... Я регулирую резкость и, всматриваясь на экране в губастое, уродливое, вдохновенное лицо, молю, призываю, шепчу:

— Играй, Михоэлс!



Н. ПУШКАРСКАЯ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ



Этот снимок мне показали в Москве мои друзья и спросили: «Кто сфотографирован?» Я растерялась: одно лицо было до боли знакомо, но костюм мастерового как-то не вязался с ним в моей памяти.

Я помнила этого человека иным; таким, каким я его видела в Ташкенте в военные годы.

Вот он, большой, высокий, опираясь на массивную палку, нетороп-

ливо шагает вдоль Пушкинской, резко выделяясь среди кое-как одетых прохожих и своим добротным пальто, и осанкой, и большой, монументальной фигурой.

Помнится, прохожие уступали ему дорогу и заинтересованно оглядывались, а он, величавый и независимый, шествовал поступью человека, знающего себе цену.

Второго, в фартуке и выдавшей виды кепчонке, сломанный козырек

которой упал на брови, я, кажется, не знала.

Но почему-то снова вспомнился Ташкент, Узбекистанская улица, витрина, сквозь которую виден просторный зал. Мужчины и женщины стоят в кругу, положив руки на плечи друг другу, громко поют и танцуют в бешеном ритме. Среди них выделяется один, в котором, кажется, не вмещается заряд веселости. Он заражает ею всех окружающих. Я не могла отвести взгляд от этого человека, от его удивительно подвижного лица, которое мгновенно меняло выражения.

— ГОСЕТ репетирует, — сказал кто-то в толпе.

... Я начала догадываться, но тут мне сказали: «Знакомься».

Передо мной стояла изящная женщина с большими печальными глазами.

— Наталья Соломоновна Вовси, — представилась она.

— Михоэлс, Соломон Михайлович Михоэлс! Да неужели же это он? — спросила я, не выпуская фотографию из рук.

— Да, это папа вместе с Алексеем Николаевичем Толстым, — сдержанно улыбнулась Наталья Соломоновна.

Мы разговорились.

Оказалось, что фотоснимок сделан в Ташкенте в июне 1942 года в зале оперного театра (теперь в этом помещении — филармония). В то время ташкентцы встречали прибывающие один за другим эшелоны с детьми, у которых фашисты отняли кров, родителей, детство.

Нельзя было смотреть без слез в серьезные, как у пожилых людей, детские глаза.

Но суть была не в сочувствии: надо было отогреть ребят под оранжевым узбекистанским солнцем, чтобы глаза их снова затеплились. Надо было вернуть им детство. И возвращали. Шахмед Шамахмудов принял в свою семью семнадцать детей. Народный поэт Гафур Гулям написал стихи «Ты — не сирота» и «Я — еврей», вместившие чувства и мысли сотен тысяч ташкентцев. Соломон Михайлович Михоэлс орга-

низовывал концерты в помощь эвакуированным детям.

К участию в этих концертах С. М. Михоэлс привлек блестящих артистов, писателей: Берсенева, Радневская, Корней Чуковский, Рина Зеленая...

Для себя Михоэлс избрал бессловесную роль мима. Ему необходим был партнер, вместе с которым можно было бы сообщить всему концерту мажорное звучание, вызывать смех зрителей, почти разучившихся улыбаться.

Взгляд Михоэлса упал на Алексея Николаевича Толстого, присутствовавшего в зале.

— Мне не хватает вас, дорогой Алексей Николаевич! — Крепко держа его за пуговицу, Михоэлс быстро объяснил Толстому, что от него требуется.

— Но, позвольте, — взмолился Толстой, — я же зритель! Я не умею играть.

— И не надо, не надо, голубчик, ничего уметь. Просто будете ходить за мной по сцене и повторять все то, что буду делать я, но по-своему, по-своему, — быстро говорил Михоэлс, увлекая Алексея Николаевича за кулисы. Так они и пришли в гримерную, Толстой упираясь, а Михоэлс удивляясь, как это можно — не сыграть на сцене, если и говорить-то ничего не надо?

Нужно было видеть, как мастерски изображал Михоэлс мастерового, который не успел опохмелиться. Он досадливо взирал на своего подмастерья, столбом торчащего поодаль. Наконец, нашел укромное местечко и украдкой достал бутылку.

Несколько оправившись тем временем, Толстой сделал два-три не совсем уверенных шага и неожиданно для себя вошел в роль. Недружелюбно поглядывая из-под нахмуренных бровей на мастера, он хлопнул себя по карману и, хитро улыбаясь, расположился поодаль.

Михоэлс был великим, неистощимым импровизатором. Мимического спектакля, разыгранного «мастеровыми», хватило надолго. Взы-

вы смеха не прекращались до закрытия занавеса.

— Наталья Соломоновна, — спросила я, — почему бы вам не написать воспоминания о ташкентском житье-бытье Соломона Михайловича?

— Не умею писать, — ответила она тихо. — К тому же — занята сейчас очень: готовится к выпуску пластинка, на которой записывают пачин голос. Это будут отрывки из спектаклей, а также выступление Михоэлса перед актерами, — это речь в ночь под новый, 1943-й год.

Из дальнейшей беседы я узнала, что Соломон Михайлович был эвакуирован со своей семьей в Ташкент, где жил и работал с декабря 1941 года по апрель 1943 года. Соломон Михайлович был художественным руководителем, режиссером и актером в ГОСЕТе, ставил пьесы в драматических театрах имени Хамзы и имени Горького, много работал над созданием студии актера, хлопотал о переводе оперы Бизе «Кармен» на узбекский язык.

Серьезной помехой были расстояния. Жил Михоэлс у Дарханарыка, и поспеть вовремя на репетиции в другой конец города к театру имени Хамзы было нелегко. На общественный транспорт тогда не надеялись, больше ходили пешком.

Дирекция театра им. Хамзы выделила Соломону Михайловичу персональный транспорт — скрипучую арбу с огромными колесами, в которую арбакеши впрягал отдаленного потомка Россинанта, и, подвезав к дому, стучался наобум, в первую попавшуюся дверь, громко сообщая:

— Сулейман! Я есть!

На зычный крик моментально открывались все двери. С тревожным вопросом: «Что случилось?!» не раз выскакивали и Дейч, и Всеволод Иванов, но пуще всех спешил Соломон Михайлович, безропотно принявший магометанское имя Сулейман.

Вскарабкавшись на арбу, взяв

из рук дочери вставочку, самодельную тетрадь и школьную «непроливашку», Михоэлс ехал в театр, глядя задумчиво на мослы Россинанта, которого запросто обгоняли пешеходы. Недаром же все любезные предложения Михоэлса «подвезти» соседи неизменно отклоняли: «Э, нет, дорогой, поезжай сам, а мне некогда, тороплюсь!»

— Едет большой человек! — говорили соплеменники Михоэлса.

Некоторые из них поджидали его на углах с заранее продуманными жалобами и просьбами: потеряли хлебные карточки, год не имеют известий от родственников, нужна работа. Просители без труда поспевали за арбой, пока Михоэлс записывал просьбу в тетрадку.

Случалось, просьбы были курьезными. Немолодая женщина шла за арбой и, неистово жестикулируя, кричала, опасаясь, чтобы, не дай бог, скрип арбы не заглушил ее слов:

— Так вы достаньте мне «струналя», у нас лопнула «струналя». Невозможно же без «струналя»!

Проехав целых два квартала, Михоэлс сообразил, наконец, что причиной необычайного волнения этой женщины оказалась лопнувшая струна «ля». Сынишка просительницы, как оказалось, играл на скрипке.

Я еще раз попросила Наталью Соломоновну написать воспоминания для «Звезды Востока». И вновь она мягко отказалась.

— Роль моя была весьма скромной, — сказала Наталья Соломоновна. — На мне лежала обязанность носить папе обеды из дома. Главной задачей тогда у меня было — не расплескать жиденький военный суп и, главное, доставить его горячим. Совместить это было нелегко, но необходимо...

«Откуда черпал этот удивительный человек силу для своей неуемной отдачи? — думала я. — Энтузиазм. Да, конечно, но главное — любовь к людям. Та самая любовь, которая победила фашизм и утвердила жизнь на земле».

Художник Климент Николаевич Редько, ученик Н. К. Рериха, в 1939 году побывал в Средней Азии. Здесь он создал цикл портретов и пейзажей: «Город Бухара», «Комсомольские юрты», «Мавзолей Тамерлана», «Пастушок» и др.

Солнечный, поэтический край явился для К. Н. Редько источником подлинного вдохновения. Об этом свидетельствуют и репродукция одной из картин, написанных художником в Узбекистане, и отрывки из его дневника, любезно предоставленные редакции вдовой Климента Николаевича — Татьяной Федоровной Редько.

Климент РЕДЬКО

ИЗ ДНЕВНИКА ХУДОЖНИКА

*Средняя Азия.
1 августа,
1939 год.*

С южной стороны озера Иссык-Куль в белых облаках мерцают вершины тяньшанских гор. Первые дни буду отдыхать.

Девственный пейзаж просится на кисть. Здесь прекрасно, я счастлив!

2 августа.

Местность называется Чалпан-Ата. Совсем рядом отсюда, в одном дне ходьбы через горы, — Алма-Ата.

Садилось солнце за вершину, я присел у шумного арыка. Хочется писать природу, но я или боюсь, или не настал еще тот день, когда скажу себе: надо начать.

Душа должна наполниться впечатлениями жизни, только отсюда — искусство. А сейчас — подавай мне горячий песок и соблазнительную волну!

3 августа.

Ревниво всматриваюсь в снежные вершины. Все в неуловимых оттенках, все в капризной игре света. Выжидаю, когда улетучатся облака, освободят четкую, волнистую линию горных вершин. Писать облака разве? Но, пожалуй, я не сумею в красках выделить их суть, до такой степени они сливаются, вбирают в себя снежный покров. Одним словом, одно другому как будто мешает. Но что-то по-своему напевают облака тяньшанским вершинам.

4 августа.

Всю ночь о наш берег звонко били волны. Который день нагая луна тревожит глубокий сон, но одна ли луна тревожит мысли? Нет, волны, луна,

крик чаек и все голоса природы быются в моем сердце.

9 августа.

Вчера начал два полотна: северный и южный берега Иссык-Куля. Этим вывел себя из состояния бездействия. Хочется писать, меньше, но лучше. Полное напряжение чувства.

15 августа.

Вчера писал три юрты, напомнившие мне пейзаж Левитана «Над вечным покоем». «Три юрты над вечным покоем», так можно было бы назвать это полотно. Далось оно с трудом. Я вспомнил пейзаж, написанный на Маточкином Шаре. Там свирепствовал ветер, и рука делала усилия, чтобы мазки ложились точно и в нужном направлении.

Но вечного покоя здесь нет. Ветер каждую минуту меняет направление. Припекает солнце и тут же пронизывает холод, обрушиваясь дождем, градом, снегом. Паузы тишины и резкие порывы ветра. Все это я испытал в течение двух часов, работая над головой мальчика-киргиза. Ночь была тяжелой — ветер рвал юрту, у изголовья капал дождь, жутко кричали пастухи, оберегая скот от волков...

23 августа.

По древнему сказанию Самарканд занимает место между богатством Индии и благочестием Мекки. Иначе говоря, Самарканд подобен раю.

Прекрасным показался мне вечер прибытия в столицу Тимура, но еще более восхитил он меня утром.

Переночевал в чайхане на площади Регистан. В ранний час народ — ремесленники, колхозники спешили на базар. Я тут же признался себе, что эта картина жизни Востока действует на меня, поражает. И я невольно сравниваю эту жизнь с историей древнего мира в произведениях искусства. Какие красочные, выразительные типы мужчин и эти женские, таинственно несущиеся фигуры! Вызывают невольную улыбку красивые дети и, как неотъемлемая часть существования, — занятые своим делом ослики, верблюды.

Председатель Самаркандского Комитета Старинных Гафуров отвел мне комнату, похожую на часовню, — в мечети Тилля-Кари. По странной связи, мое каменное жилище напоминает одиночные камеры во Дворце Дожей, где заживо погребались враги Венецианской Республики. Рядом стоит другое помещение; два мастера-узбека отшлифовывают облицовочные плитки голубой и синей керамики.

24 августа.

... Старик высокого роста, приложив руку к сердцу, с поклоном ответил: «Я прожил семьдесят один год, а гробница Тамерлана стоит века, как же мне знать, какая из двух гробниц создана раньше?»

25 августа.

Со вчерашнего вечера ушел в рабочую лихорадку. До этого мучился, был сам не свой, и теперь происходит то же, но в другом плане.

29 августа.

Написал мавзолеем Тамерлана... Цвета, стиль увлекают. Все, что написал вчера, не удовлетворяет, сегодня буду писать памятник с другой стороны.

Половина дня уходит на живопись, а другая на изучение мавзолеев Самарканда. Ансамбли — истинная красота, очарование!..

Мне хочется попробовать сделать здесь опыт росписи по алебастровой штукатурке, как в мечети Биби-Ханым.

6 сентября.

Моя миссия в Самарканде начинает подходить к началу конца. Закончил пейзаж ансамбля трех мечетей Улуг-Бек, Тилля-Кари и Шир-Дор. Так, собранное воедино, величие восточной архитектуры усваивается крепче, цельнее.

Вчера начал писать великолепие из великолепий — созвездие мавзолеев Шах-и-Зинда. Полотно небольшое, думал одним напором закончить, но все время в спину дул ветер, что мешало руке, и поэтому с досадой пришлось отложить работу до следующего дня. Ветер поднял пыль — сделавшую голубое небо знойно-мутным. Это похоже на бурю в пустыне. Колорит пейзажа Шах-и-Зинда получился цвета золы.

8 сентября.

Мечети Шир-Дор, Улуг-Бек и Тилля-Кари являются обиталищем большого количества ласточек-стрижей. Люблю смотреть на их игривые полеты в черте высоких минаретов при заходе солнца. Но что особенно поражает, так это погружение Самарканда в сон. Ласточки бодрствуют. Их щебечущие голоса усиливаются эхом мрачных, величественных стен. Так всю ночь, а днем, при знойном солнце — тишина. Стрижи почивают в невидимых гнездах. И только большие, звучные колеса арб врезаются уже другим эхом в мозаичные стены Тилля-Кари, Улуг-Бека и Шир-Дора.

10 сентября.

Что лучше для художника? Одиночество, затворничество или общение с людьми? Часто невольно возникают бесполезные вопросы. Но чтобы пользоваться первым и вторым, надо быть не только мастером искусства, но и мастером жизни.

Три дня не писал. Бродил по городу, видел изумительного уличного фокусника-узбека. Самарканд интернациональный город. Не говоря о русских, здесь много евреев, таджиков, корейцев, киргизов, татар и кавказцев.

Все эти дни искал открытое чистое поле, на котором растет «белое золото» — хлопок.

11 сентября.

Впервые своими руками сорвал (можно ли сказать — сорвал) чистый, пушистый хлопок. В нем — зерно.



К. Редько. «Первый хлопок». Этюд, масло.

Долго стоял, сидел, ходил и смотрел на эту ниву, хотел писать и, раздумывая, грустно сомневаясь, хотел бежать от плодоносных, орошенных гектаров. Но борьба кончилась на том, чтобы писать, не откладывая. Помогла далеко не легкая мысль: начну-ка писать прямо с солнца. Увлекла трудная задача: ведь солнце ни в глаза, ни в руки не дает себя. Главное тут в чувстве передачи той великой, горячей радости, заключенной в солнце.

13 сентября.

Колебался, но небо изменил: из желтого в серо-голубое. Поэтому солнце выглянуло контрастнее, ярче и сильнее. Таково звучание пейзажа «Там, где растет хлопок».

Когда писал, неожиданно вспомнил, что до этого пейзажа я уже решался и прежде писать солнце в открытую. Первый пейзаж сделал на Мурмане — «Полуночное солнце», второй — «Деревенские загоны».

Странно видеть солнце в красках на полотне. Результат не утешительный. Мне бы «Там, где растет хлопок» пописать еще разиков десять, тогда можно было бы сильнее накалить краску в цвет, а цвет — в солнце, которое должно соответственно греть гамму мазков.

15 сентября.

Сегодня солнце в Самарканде взошло, как обычно — жгучее, но с северо-запада поддувает ветер и заволакивает небо пылью. Величественно прошел караван верблюдов. Как бы я хотел в сегодняшний день — день моего рождения — ехать на верблюде в Бухару...

И, о чудо! Моя давняя мечта сбылась. Еду в Бухару!

17 сентября.

Пробуждение. Я — в сказке. История веков — это ли не сказка! Первое чувство — восхищение, второе — набросать в альбом стены чудной комнаты, отведенной мне в медресе XVI века Мир-Араб. Вчера в четвертом часу дня приехал в Бухару. Испытываю новые ощущения и полон прилива удивительных сил для творческой работы. Хочется вновь и вновь писать.

Здравствуй, Бухара! Величественные медресе, минареты и прекрасные девушки-бухарки с черными, длинными косами, в красных платьях и золотых тюбетейках.

18 сентября.

С утра поднялся на самую вершину фронтона медресе Мир-Араб, чтобы охватить и написать Бухару с птичьего полета, по старинному выражению — «Цветущий город из городов мира».

Как я ни любовался стилем азиатского города в целом, но выбрать эффектное направление для пейзажа нелегко.

Работать на такой высоте, где хорошо себя чувствуют только голуби, трудно. Но высота преобра-

жают: обыденные формы делаются возвышенными и величавыми. Люди и их дела приобретают как бы другое значение.

Набрасывал пейзаж, наверное, более часа, а затем вынужден был прервать до вечера, пока солнце не умерит пыл. Пишу эти строки в своей прохладной комнате — смотрю на стены и не могу насмотреться, до чего они изящны, прекрасны — «писанка» восточная. Над этой комнатой другая, верхняя — тоже чудесная, со звездным потолком. Она соединена лесенкой с площадкой. А у меня — передняя и коридорчик. Квартира выдержана в сочетании красок теплого и холодного тонов.

20 сентября.

Вчера день ушел на просмотр памятников архитектуры Бухары. Жаль, казна моя пустеет. Нужно уезжать! Прожил бы еще здесь не менее месяца.

Иду писать редчайшее и прекраснейшее сооружение — мавзолей Саманидов (IX или X век). Пропорции гармоничны, просты. Их основные части и формы имеют значение декоративно-конструктивное. Интересно употребление кругов. Цветовая мозаика отсутствует.

23 сентября.

Шесть часов утра. Покидаю старую Бухару. Настроение хорошее. Город, в котором стоит побывать еще. Спасибо тебе, Бухара!



Дмитрий САРАБЬЯНОВ

СРЕДНЯЯ АЗИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Р. Р. ФАЛЬКА

В Средней Азии Роберт Рафаилович Фальк впервые побывал в 1938 году. Он только что вернулся из Парижа. Начинаясь последний период творчества художника — период подведения итогов. Средней Азии на этом пути Фалька суждено было сыграть важную роль. Она принесла художнику удачи. Он делал эскизы картин, потом, вернувшись в Москву, дорабатывал начатое. Позже — в годы войны — Р. Р. Фальк вновь прискал в Самарканд. На этот раз пребывание в Средней Азии оказалось более длительным. Хотя и было немало трудностей, невзгод, Фальк увидел солнечный край во всей его неповторимости. Роберт Рафаилович сумел и в эвакуации оставаться подлинным художником. Он думал не о куске хлеба, а о красоте, его окружавшей. Сказалась великая вера художника в жизнь, в людей и во все то, что сотворено их руками.

Так возникла серия самаркандских работ, написанных маслом, акварелью и датированных 1938, 1939 и 1943 годами. Она проникнута общим чувством. В ней есть своя цельность. Хотя, естественно, существует разница между первыми вещами и последующими.

Средняя Азия, прежде всего, по-

разила Фалька своей сверкающей красотой. Не случайно художник неоднократно обращался к мотиву «Пылающего дерева». Он писал его маслом и акварелью, восхищаясь феерическим зрелищем цветения, удивляясь той силе, которая заключена в природе.

Потом Фальк начал все более погружаться в созерцание, стремиться к глубокому познанию природы, людей, архитектуры. Он задумал картину «В чайхане», сделал к ней несколько этюдов и эскиз, который можно рассматривать как картину, ибо он доведен до обычной для Фалька степени законченности. Тут впервые зазвучало среднеазиатское солнце, хотя Фальк и не изобразил неба. Солнцем проникнуты деревья, земля. В цветовой гамме преобладают золотые и красные цвета, они господствуют над серыми и голубыми и побеждают их. Борьба этих разных цветов переходит в союз, в котором гармония достигается движением, а не дана изначально. Отсюда ощущение материальности всего окружающего. В земле, в вещах есть некое первородство; все как бы обнажено, в первозданной силе. Идея трудного роста прекрасно передана в изображенном дереве — оно извивается, как змея; гнет свое широкое тело, чтобы полнее ощу-



Р. Фальк. Пылающее дерево, 1938—1939 гг.



Р. Фальк. В чайхане, 1938—1939 гг. Холст, масло.

тить выстраданную и завоеванную жизнь.

В Самарканде — особенно во время второго приезда, в 1943 году — Фальку все виделось мудрым и закономерным. В каждом обычном явлении он находил выражение вечного, древнего. Его поражали верблюды — животные-ископаемые, столь уместные в песках бескрайних пустынь. Его удивлял город, словно вылепленный руками прачеловека. Его покоряли люди — с их спокойствием и мудростью, с виду равнодушной, но на самом деле явившейся итогом великого опыта поколений. Обо всем этом Фальк хотел рассказать кистью, выразить ритмом, цветом, мазком.

Трудно точно определить жанр созданных Фальком вещей. В них, конечно, доминирует пейзажное начало. Но им не исчерпывается содержание фальковских картин. В них есть и люди, и город. Желтые глиняные дома, обожженные солнцем. Плотные и крапчатые, они прорезаны «безглазыми» проемами окон. На желтую почву дома бросают лиловые. Звучными ударами врезаются в эту ровную цветовую гамму фигурки людей. Старый город не мертв. В нем живут люди. Они органично входят в этот город. Их бытие в нем столь же безусловно, сколь безусловны цветовые акценты их одежд, собирающие в себе все живое и подвижное в этом вечном и неподвижном.

Иногда Фальк разворачивает какую-то незамысловатую сценку на фоне архитектуры. Тогда силуэты минаретов с усилием вонзаются в небо, написанное плотными и густыми мазками. Эти мазки организованы в таком ритме, что они, образуя плоские полусферы, давят на окружающие предметы, словно прижимают их к земле.

Наиболее убедительно это чувство плотности и реальной весомости вещей выражено в картине «Регистан». Фальк говорил, что небо иногда бывает материальнее земли. Таким он видел небо в Средней Азии. Таким он и передал его в «Регистане». Густой завесой стоит

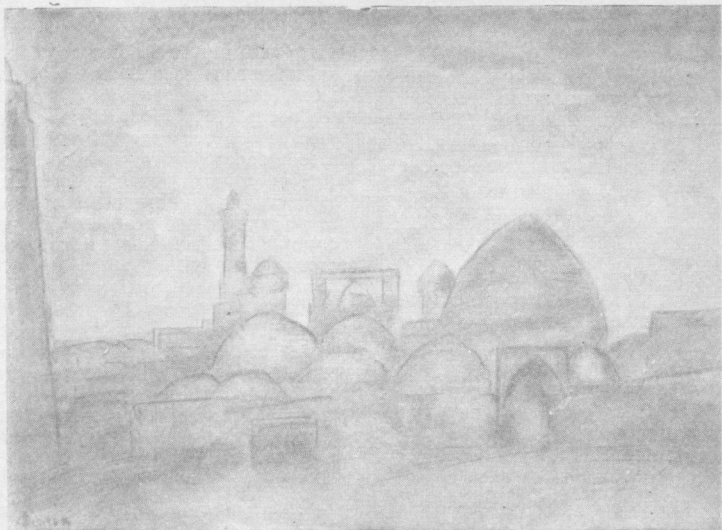
воздух, который художнику напоминал расплавленное стекло.

Но не только извечные категории — небо, воздух и почва — сведены Фальком к массивным, строгим формам. Тот старый город, который он изображает, словно сооружен геометром по строгим математическим законам. Этот город тоже выражает земную плоть и мощь. Его элементы тяжеловесны. Они подчеркнута геометричны. Круглый в плане минарет, тяжелые стены с ясно ошутимой толщей, прямоугольные пилоны мечети — все это вылеплено густым мазком, почти одним цветом, плотным рельефом краски, осязаемо.

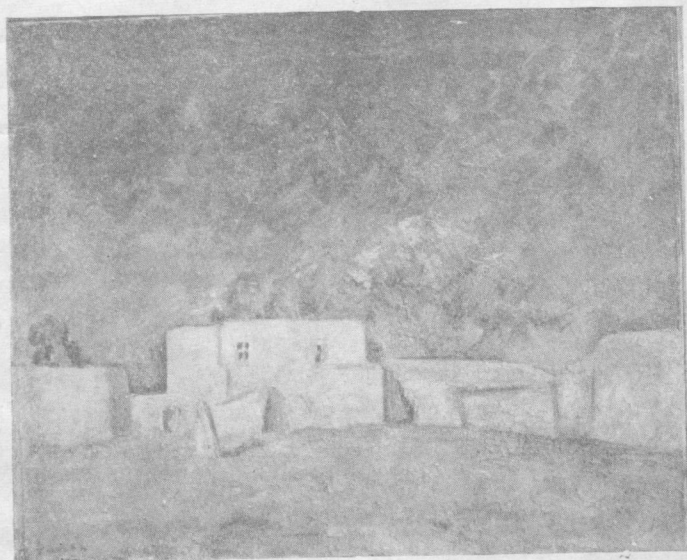
В «Регистане» нет людей. Это понятно. Фальк изображает памятники. Памятник не только средневековой восточной цивилизации, но людям вообще, даже самой земле, родившей эту геометрию, точность, мощь, эту суровую величественную красоту. Древнее, извечное предстает перед нами «в чистом виде», нетронутым.

Правда, «Регистан» являет собой совершенно особый, неповторимый случай среди самаркандской серии. Чаще Фальк избирает предметом своего внимания что-то совсем обычное, совсем простое. На этом принципе построена, как нам кажется, одна из лучших картин, созданных в Самарканде, — «Золотой пустырь». Вид, который воссоздает художник, прост до предела. Желтая земля, едва заметным бугром поднимающаяся в центре, выходящая на улицу глухими стенами дома с одинокой фигуркой возле них, а сзади — несколько деревьев. Эти дома будто проросли сквозь землю. Они толстостенны, прижаты к земле, неподвижны. Кажется, что ты ощущаешь толщу. Земля и дома — однородны. Желтая их плоть где-то загорается огненно-красным пламенем и горит сурово, медленно, неповоротливо.

Густое месиво краски делает предметы, изображенные на холсте, равноценными. Они кажутся трудноподвижными, навсегда замершими, ибо они с трудом обрели



Р. Фальк. Бухара, 1938 г.



Р. Фальк. Золотой пустырь, 1943 г. Холст, масло.

свое место в этом красочном плотном «объеме» картинной поверхности.

За этим образом, созданным Фальком, словно стоит представление о первородной земле.

В 1943 году Фальк оставался в Самарканде до поздней осени. Самарканд менял свою окраску. Тогда художник написал несколько «серых» самаркандских пейзажей. Один из них — «У хауза». Здесь — те же, что и прежде, постройки и одинокие деревья, расцветающие у воды и дающие прохладу. Листва этих деревьев словно замыкает все изображение в серо-зеленую рамку, за которой разворачивается живописное пространство. Сам мотив подсказал Фальку большую подвижность по сравнению с предыду-

щими пейзажами. Даже кажется, что в этом пространстве идет какая-то игра теней. Но тени не скользят в легких движениях, а «оседают», останавливаются. Живописный мотив все равно получает статическое истолкование. А в пейзаже, даже в пространстве, которое передано, ощущается некая кубичность, твердость. В композиции выражена идея замкнутости, что еще больше помогает победить статическому началу.

Во всех этих картинах, в многочисленных акварелях Фальковский Восток обрел свои особые ритмы, свои краски. Они сделали столь значительными самые простые проявления жизни. Под рукой замечательного художника Средняя Азия раскрыла глубины своей красоты, своей мудрости.



Эта песня исполняется по
Всесоюзному радио
Будем с радостью видеть ее
на страницах беззастенчивого
и "Звезда Востока".

С приветом

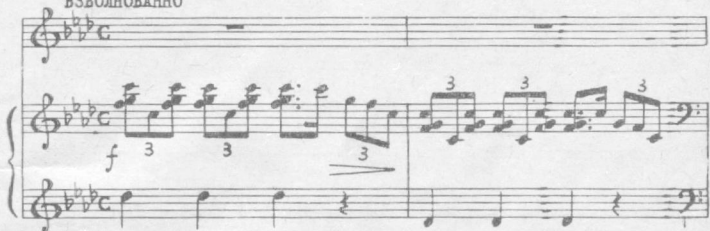
Л. Куко и Н. Иллотович

19/11 66 г. Москва

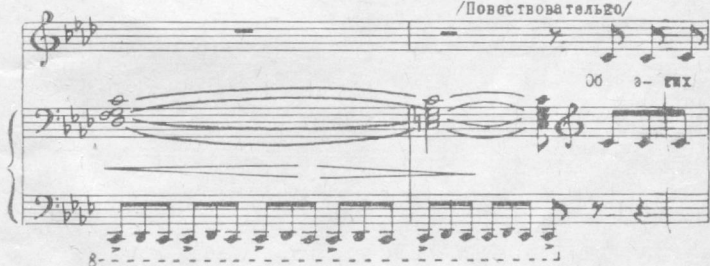
Стихи Л. КУКО
Музыка Н. ИЛЛЮТОВИЧ

ТЫ СЛЫШИШЬ, ТАШКЕНТ!

ВЗВОЛНОВАННО

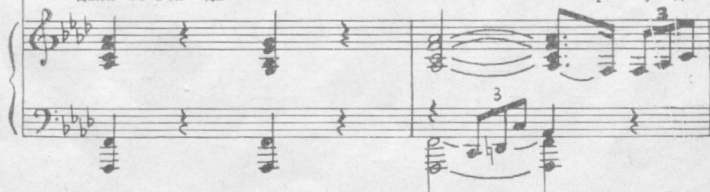


/Повествовательно/



ДНЯХ ЛЕ-ГОН-ДЫ СЛО-ЖАТ И СТИ-ХИ.

В кра-е, где



хло-пэв ча-ше ут-рев-не-го сне - га, кап-риз-ны

си - ли не-из-ве-дан-ных сти - хий, но мы во-

век не пе-ре-споришь че-ло-ве - ка! От -

ни вдоль стально-го бе-гут по-лот-на, а

в на - ба ма-шин острокрылых по-лет...

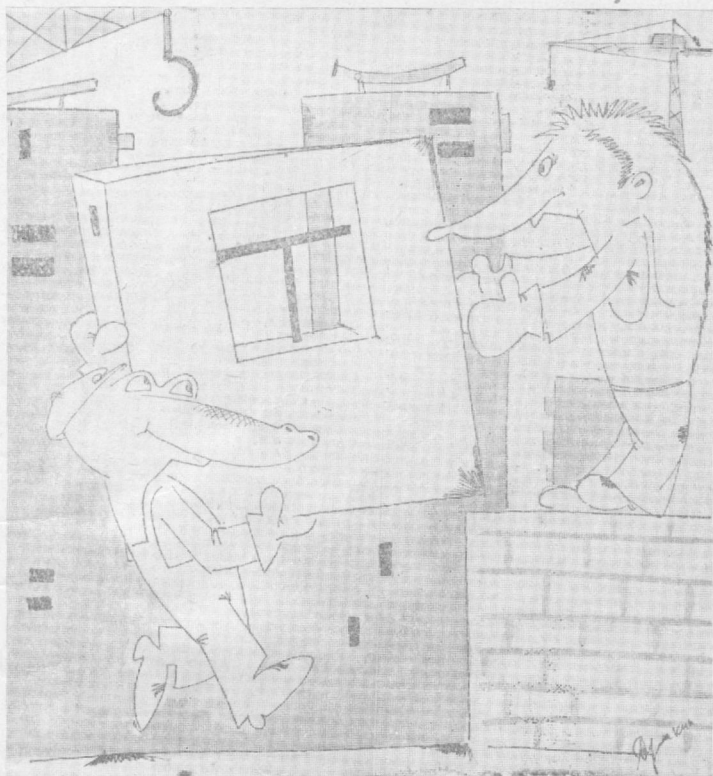
Слы - шись, Таш-кент, слы - шись, Таш-кент - вся

на - ша стра-на руку те-бе пода-ет!

ру-ку те-бе по-да-ет!

Для окончания

«Крокодил» в гостях у «Типратикона»



— А это мой крокодильский подарок новому Ташкенту!

Рис. В. Думкина.

ТИПРАТИКОН



САТИРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Журнал в журнале

Вчера я получил письмо. Весьма любопытное письмо. Думаю, что такого письма еще не получал ни один журналист. Вот что пишет мне молодой человек четырнадцати лет.

«Дорогой товарищ фельетонист! Прошу извинить меня за беспокойство. (Кажется, так надо начинать письмо в редакцию). Вам пишет школьник, старшеклассник, из подмосковного города Красногорска. Привет!

В газетах часто пишут о «трудных» ребятах, о плохо воспитанных мальчиках и девочках. Правильно пишут.

Но надо помнить и о другом.

Недавно у Горького, в «Матвее Кожемякине», я прочитал:

«Молодой паренек — вроде бубенчика, кто ни тряхни — он звякнет».

По-моему, необходимо заострить в печати и вопрос о тех, кто управляет бубенчиками, под чьим влиянием бубенчики скверно звякают.

Почему редко, очень редко пишут о трудновоспитуемых папах, мамах, дедушках, бабушках, дядях, тетях?

Немало еще у нас «воспитателей», которые денно и нощно чувствуют себя фельдфебелями и знают одно — командовать:

— Стой — не шатайся, ходи — не спотыкайся, говори — не занимайся, колен не подгибай, брюха не выставляй, вбок не вихляйся и в середине не мотайся!..

А ведь вместо муштры и угроз («сейчас ты у меня получишь!») папы-мамы и про-

О чем разговаривают между собой люди, считающие себя интеллигентами?

О последних событиях в стране, в Европе, Азии, Америке, Африке, в своем микрорайоне?

Нет. Никакие такие события не тревожат их покой.

О книге, пьесе, спектакле, концерте?

Нет. На такие пустяки у нас дома тоже слов не тратят.

О нас много говорят о погоде («Опять бюро прогнозов дало маху»). О качестве говядины. О кровавом давлении тети Моти. О новом платье соседки («Ей оно совсем не к лицу»). О том, что сегодня щи удалась на славу. А впоследствии о том, что сынишка (то есть я) вместо того, чтоб заняться чем-нибудь серьезным, читает всякие книжки.

Вот и весь разговор. Хотя возможны и небольшие варианты, при всем этом не надо забывать, как разговаривают. Это не язык, а какой-то жаргон. Не думайте, что-нибудь особенное. Ни одного неприличного слова. Но очень мало приличных слов. Мужчина не мужчина, а мужик. Еда не еда, а жартва. И вообще все «кошмар».

В этом «кошмаре» протекало мое детство. Я тоже начал было изъясняться на этом диалекте наречий. Но вскоре я с ним покончил.

Случилось так, что я пристрастился к чтению, чем очень удивил, а может, и испугал маму, которая читает с увлечением только меню в ресторане. А книги и журналы считает пустым баловством. Так отослалась к печатному слову ее мать и бабушка, царство им небесное, коли такое имеет.



чие родственники обязаны влиять на нашего брата и на нашу сестру своим поведением, своими манерами, своей речью, своей привязанностью к газете, к книге, к музыке, к живописи, к родной природе, к правде!

Но, к сожалению, еще встречаются семьи, где дети (особенно подростки) лишены возможности даже при сильной жажде черпать живую воду — криница пустая.

Как говорится, за примерами ходить недалеко. Очень даже недалеко. Скажу несколько слов о моих родителях. Очень прошу не печатать фамилии, а удовольствоваться одной буквой Н... Я неплохо относился и к маме и к папе. Ни не хочу заниматься лакировкой. Скажу все как есть. Это, кажется, называется излить душу. В общем, выражаться так: Платон, ты мой папа, Платониха, ты моя мама, но истина мне дороже.

Отец — зуботехник. Мать — просто техник. Ходят мои дорогие техники в кино. Иногда в ресторан. Ходят в гости. Иногда принимают гостей. Не режутся в «нозла», а играют по маленькой в преферанс, потому что считают себя интеллигентами. Пьют черный кофе. Больше ничего — ни белого, ни красного — не потребляют. Сквернословы не слышно даже в большие семейные праздники.

Все хорошо, но не очень. Вот послушайте.

Вот почему я крепко завидую одному моему товарищу: он вместе со своей мамой читает стихи, ходит на выставки, беседует по вечерам с родителями о последних новостях в мире, о новой, только что опубликованной повести.

А когда отец моего товарища Пети однажды сказал своим родителям, что ему не нравится их язык, их разговоры, мама презрительно кинула ему:

— Пижон!

У нас за столом во время обеда или ужина часто говорят о писателях, композиторах, художниках, академиках.

— Академик Икс, — говорит отец после третьей ложки супа, — бросил на старости лет жену — и привет! На другой женился, на молодой.

— А чего им не жениться? — вставляет мама, лакомая жареной картошкой. — Загребают кучу монет. Кошмар!

— При чем тут монеты? — с досадой говорю я.

В разговор вступает мой дядя Глеб, обещающий сегодня у нас. Хлебом его не корми, а дай поговорить о писателях, художниках, композиторах.

— Ты их не защищай, этих интеллигентов, — говорит он мне, отодвигая в сторону тарелку. — Я-то их хорошо знаю. Все они для вдохновения любят закладывать за галстук.

— А те, кто не носит галстук?— допытываюсь я.

— Слушай, что говорят старшие,— представляет меня мама на путь истины.— Слушай и молчи. Возьми себе рыбки...

К счастью, эти душеспасительные беседы не «воспитывали» меня, не влияли. И тут я скажу вам несколько слов о себе.

Чувствую, что в моем письме много ухабов и рытвин. Что я нервно перескакиваю с одного вопроса на другой. Простите, пожалуйста, но читайте до конца.

Итак, о себе. Я много читаю. Великие публицисты, прозаики и поэты увели меня в другой мир— в мир идей, красоты, в мир, не ограниченный семейным кругом. Я начал грамотно разговаривать. И я все больше понимаю страстные слова Тургенева о великом русском языке...

Все же я должен сказать самым беспристрастным образом, что мой Платон и моя Платониха могут еще служить достойным примером для некоторых пап и мам. Они лучше многих из них.

Я сейчас нахожусь в летнем спортивном городке для молодежи под Красногорском. Вместе со мной живет ученик Саня Дарен-

ко. Его папаша (именно папаша, а не папа!) очень заботится о своем чаде. Он угощает сынишку вином:

— Ничего страшного, пусть Саня маленько хлебнет,— говорит он.— Ему это не повредит.

А меня моя мама угощает «продуктами». — Зачем тебе, сынок, засорять башку и мучиться над этими проклятыми классными сочинениями? Пускай психи этим занимаются. А я собрала у знакомых старые сочинения— тебе пригодятся. Вот о Евгении Онегине: «Это был продукт своей эпохи». У меня много таких «продуктов».

Узнав, что я купаюсь, она побежала к врачу и умоляла его запретить мне лазить в воду:

— У мальчика плохая наследственность. Его дедушка утонул в озере. И в футбол ему нельзя: у его бабушки радикулит. Кошмар!

Смешно? А мне не очень смешно. Кошмар!

Но пора кончать письмо. Буду очень рад, если тема о трудновоспитуемых папах и мамах, дядях и тетях, дедах и бабушках подойдет. До свидания».

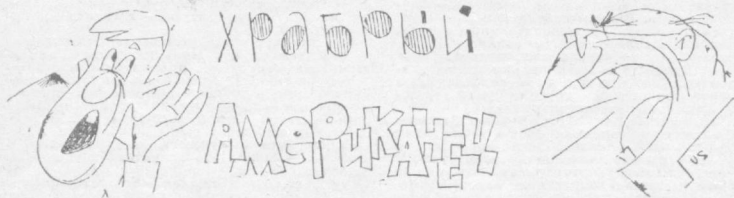
— Вот, учись, внучка! Лицо-то закрыто.



— Спасибо, дедушка, научилась.



Рис. В. Узбякова.



Сценка

В призывном участке на отдаленной улице в Нью-Йорке идет прием лиц, подлежащих отправке на войну во Вьетнаме. Председатель комиссии строго объявляет:

— Мистер Джон Чуч! Прошу сюда. Из соседней комнаты выходит и, хромая, приближается к столу комиссии человек с испуганным лицом.

— Вы — мистер Чуч?

— А?

— Комиссия вас спрашивает: вы — мистер Чуч, 930-го года рождения, проживающий по 75-й авеню, в доме 17, квартира 343?

— А?

— Да вы глухой, что ли?

— Пока нет, но могу сделаться, если поможет... то есть — если надо...

— Перестаньте говорить глупости! Вам оказана высокая честь: вы будете защищать интересы нашего великого звездно-полосатого флага!

— Это — во Вьетнаме, что ли?

— Всюду, куда вас направят... в первую очередь — да, во Вьетнаме... Что вы дергаетесь?!

— Люблю это... дергаться... Я еще умею биться...

Председатель, отстраняясь:

— Но, но, но! У нас тут есть конвой! Только попробуйте меня ударить, и вас заберут в тюрьму!

— Нет, вы не поняли: я не вас буду бить, а сам буду биться: лягу на пол и этак вот... (Показывает).

— Прекратить сейчас же!

— Пожалуйста. Но, между прочим, я ведь — идиот.

— Идиотов мы в армию берем охотно: там они больше подходят, чем умные...

— Нет, вы меня не поняли: я не такой (стукнул себя по лбу кулаком) идиот, а я по справке идиот. Ну, псих, одним словом. У меня справка есть. (Шарит в кармане.)

— Спрячьте вашу справку. Идиоты нам годятся все!

— А если все-таки биться? На полу? Или — кидаться на людей? На вас, например, могу броситься и даже это... загрызть... А-а-аа!

— Конвой! Ко мне! Эй, вы, идиот, видели, какие у нас ребята здесь? Они вас скрутят сразу! То-то и оно. Советую вам подождать до прибытия на войну, а там вам даже орден дадут, если вы будете грызть партизан или вьетнамских крестьян... Ясно?

— Яааасно... Слушайте, я еще — хромой: одна нога короче...

— Короче чего?

— Короче другой ноги. Видите? (Прошелся, хромая.)

— Пустяки: разница всего сантиметров в шесть... Мы вам дадим ботинок с высоким каблуком... Годен!

— Да погодите вы!.. Заладили «годен», «годен»!.. У меня еще и пальцы на правой руке не действуют. Вот — видите: прижаты к ладони. Как же я стрелять буду?

— И давно это у вас?

— Да уже лет двадцать...

— А до того как было?

— До того — вот так: нормально... (Разжал пальцы.)

— Значит — годен!

— Неа...

— Что это значит «неа»?

— Не годен я. Я не хочу быть годным.

— Мало ли что!.. А кто хочет? И все идут туда...

— У меня еще одна опасная болезнь есть.

— Какая еще болезнь?

— Кишки у меня чешутся.

— Как это — «чешутся»?

— А так вот... (Делает пальцами чешательные движения). И потом еще трещит там внутри что-то... Вы послушайте! (Почкал туловищем: слышен треск, словно горох пересыпается в банке.) Что? Слышите?

— Подойдите поближе. Так. Повернитесь боком. Что у вас в кармане?.. (Вынимает из кармана жестяную банку, открыл ее.) Гороху насыпал? Я так и думал... Годен!

— (Заплакал по-детски). Ну, что это, в самом деле: заладили одно — «годен» да «годен»... Меня мама не пустит туда ехать... Там ведь это... там стреляют!

— Не реветь! Солдат американской

армии не плачет! Он — храбрец, и ему нравится, когда стреляют!

— Да кто стреляет? Если я стреляю, это — еще ничего... А ну, как в тебя будут стрелять, — а?

— В меня? Но, но, но! Кто посмеет стрелять в председателя призывной комиссии? Конвой! Взять этого труса!

— Нет, я вижу: я на самом деле идиот!.. Вой-вой-вой!

— Сказано уже: идиоты нам годятся!

— Да я не про то! Я говорю: я — идиот, что я к вам пришел! Вой-вой-вой! Пустите меня к маме! Я хочу к мамочке! Пустите меня, мне щекотно! Вой-

вой-вой! Куда вы меня?! Я не хочу ни в армию, ни в тюрьму!

— Ффу... Ну и тип... сколько нервов приходится тратить на одного негодя... И главное — был бы один, а то, — половина призывников вот такие... Хорошо же они там воюют, а? Как вы думаете?... Следующий! Эй, вы, призывник! Уберите пистолет! Уберите, уберите! Конвой — ко мне!!! Ну, и работка у нас... Хватай его!.. Да не этого, а — того... А-а, обоих берите! И тех, кто там сидит в очереди, тоже всех арестуйте! Из камеры их легче отправлять во Вьетнам!.. Ой-ой-ой! Караул, убивают!!!

Андрей ВНУКОВ

Особый подход

Прораб строительной конторы
Иван Иванович Круглов
На разговоры-уговоры
Не станет тратить лишних слов.
Он человек принципиальный,
И сам, к кому ни подойдет, —
Находит индивидуальный
И вместе с тем простой подход:
Увидит тех, кто бьет баклуши, —
Глаза закроет без угроз,
Услышит мат — заложит уши,
Учуёт хмель — прикроет нос...
А если пьяница к тому же
Еще лентяй и сквернослов, —

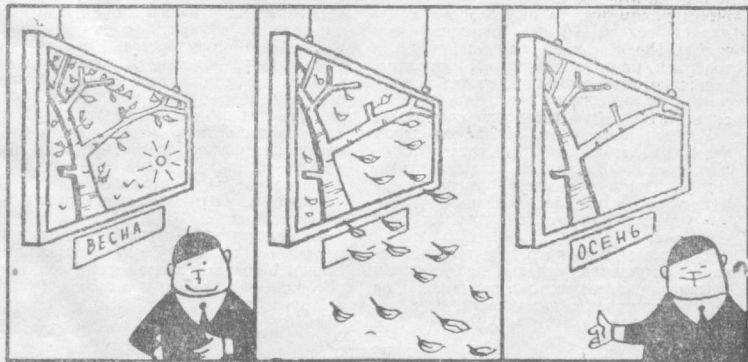
То сразу нос, глаза и уши
Спешит закрыть прораб Круглов.
Он ценит свой подход

и даже

Гордится тем, что изобрел, —
Пусть он друзей себе не нажил,
Зато врагов не приобрел!

А жалб!

Пусть умный ты, а не дурак,
Тебя ударить можно так,
Чтоб дураком остался ты навек...
Но, к сожалению, пока
Нельзя ударить дурака,
Чтоб получился умный человек!



Случай на выставке.

Рис. М. Вайсборда.

ЗВЕЗДА ЭКРАНА

Все началось с выпускного школьного вечера, на котором гость — Большой мастер кино — подарил Нине свою фотокарточку с надписью «Будущей звезде экрана».

Правда, эти сказочные слова не открыли перед ней ВГИКа, но остались неизгладимым рубцом на ее мечтах.

Впрочем, кое-какие жизненные последствия из ее киноболезни были. Нина вышла за меня замуж. Она как-то призналась, что из всей нашей компании отдала предпочтение мне в основном лишь потому, что я необыкновенно похож на брата третьего мужа голливудской звезды.

Страшно подумать, что было бы, если бы звезда остановилась на втором.

Еще долго Нине грезились, что с ней произойдет необыкновенное: на улице на нее обратит внимание известный кинорежиссер и тут же предложит ей главную роль в своем фильме...

Но то ли у режиссеров плохое зрение, то ли они ходят по другим улицам — Нину никто на студию не приглашал.

Однажды она увидела объявление: прием на курсы кинологов. Без вступительных экзаменов, без конкурса, — всех желающих.

Она пришла первой. Но курсы — увы! — к кино не имели ровно никакого отношения. Загляните в любую энциклопедию и вы убедитесь сами: кинология (греч.) — собаководство.

Ох, уж эти мне шутки древних! Но то ли из упрямства, то ли покоренная звучанием слова, — Нина окончила эти курсы. И когда она вроде бы невзначай говорила приятельницам: «Я кинолог», все живо интересовались, каким псевдонимом подписывает она кинокритические статьи? Нина загадочно улыбалась.

Все это в прошлом. Нина уже давно окончила автодорожный. Стала ученым кандидатом. Изъездила немало стран. Но следы киноболезни и курсов видны и сегодня. У нас великолепный экземпляр чистопородного той-терьера. Зовут его Кадр.

Однажды Нина пришла с гулянья как-то смущенная. Даже пес, вопреки обыкновению, переступил порог вслед за ней в радостной задумчивости.

— Ты знаешь, — сказала Нина, слегка краснея, — меня остановил на улице кинорежиссер, сфотографировал и взял домашний адрес. Это смешно. Правда?

— Нет. Прежде всего это опасно. Он проходимец. Или того хуже — вор. Домашники!

— Нет, родной. Я смотрела его документ.

Я развел руками. А Нина... Нина глубоко вздохнула, и я увидел в ее глазах слезинки. Потом она улыбнулась:

— Так с опозданием в пятнадцать лет сбываются предсказания Большого мастера.

— Да это же розыгрыш, — воскликнул я. — Конечно! Кто-то из старых друзей вспомнил о твоих грезах...

Нина отвернулась.

— Что с тобой?

— Нет, ничего... По-твоему, кроме как для розыгрыша, я уже никакого интереса представлять не могу!..

Думаю, что приводить дальнейший диалог не имеет смысла. Он был выдержан в классическом, отпетированном поколениями стиле. Ученые степени, должности и звания на существо диалога не отражаются.

На другой день гроза утихла, но тучи еще бродили по семейному небосклону. Как вдруг — письмо. Фирменный конверт, фирменный бланк.

Непонятно, каким образом, но весть о письме мгновенно стала достоянием всех: от самых близких родственников до самых дальних знакомых. Непрерывно звонил телефон и не закрывались двери квартиры. Со стороны могло показаться, что заседает военный штаб перед генеральным штурмом.

Стратегии туалетов и тактики причесок отрабатывали последние детали. Непрерывным потоком шло материальное подкрепление. На всех стульях, диванах и столах стояли разнокалиберные батареи флаконов. Мы задыхались от запаха духов, кремов и пудры. Под ногами хрустели клипсы, а нитками бус легко можно было бы измерить границу среднего европейского государства.

Последний полководец покинул нас с первым поездом метро. Нина забылась в недолгом тревожном сне. Проснулась она без двадцати одиннадцать. Времени хватило лишь на то, чтобы надеть рабочее каждодневное платье. И даже прическа — о, ужас! — была ее, обычная.

Через час зазвонил телефон.

— Нина, тебя можно поздравить? — робко спросил я.

— Да, родной, — весело и дружески звучал ее голос. — Вези сюда нашего Кадра. Меня пригласили из-за него.

Я положил трубку и позвал будущую звезду экрана.



Михаил ВЛАДИМОВ

Кто же я?

И друзья, и родня
На Сенной и Бронной —
Называют меня
Белою вороной.
Не блондин я, не сед,
Числюсь я брюнетом.
Так, как все, я одет
И зимой, и летом.
Я не хуже ничуть
И ничуть не лучше...
Заключается суть
В том, что я... непьющий.
А во взорах друзей
Есть сомненье: «Так ли?».

В. КИСЕЛЕВ

С прекрасном

О прекрасном вдохновенно споря,
Мы не можем забывать одно:
Если напустить лягушек в море,
То болотом станет и оно.



— Пожарная? Приезжайте скорей —
у соседей котлеты горят!

— Ну, налей! Ну, отпей!
Ну, хотя бы каплю!..
Говорят, я гордец:
Нос задрал, зарвался!
Говорят, я хитрец:
Не обмыл аванса!
Я зашел в ресторан...
Но не ром, не фразу,—
Заказал я нарзан
И услышал: «Скр-ряга!»
От супруги укор
Получил не меньший:
В Женский день пить ликер
Я не стал за женщин!
Сто насмешек к тому ж —
Что за чертовщина!—
Хоть отец я и муж,
Все же «не мужчина»!

Директивный дождь

Не веря в инициативу,
В бумажный он попал полон.
И дождь считал за директиву,
Поскольку сверху капал он.



Без слов.

Рисунки В. Жаринова.



В последнее время я не нахожу себе места. И вот почему. Я считаю, что каждый человек может сделать в себе открытие, которое потрясет не только соседей, но и весь мир.

Но никто не хочет поработать над собой. Всем некогда. Всем, попросту говоря, лень. А неужели вам не хочется, чтобы о вашей неповторимой жизни писали в газетах, говорили по радио и телевидению?

Еще раз напоминаю: каждый смертный волен изумить собратьев, если он начнет ставить эксперименты над собой.

Я, к примеру, начал так. Я распахнул окно квартиры и запел арию Борнса Годунова, надеясь, что во мне проснется покойный Шаляпин. Но проснулись дети и подняли рев. Родители стали показывать на меня пальцами.



Особенно неистовствовал шофер из остановившейся «Волги». Он сунул два пальца в рот и засвистел. Чтобы поблагодарить шофера, я выскочил на улицу и поспешил к «Волге». Шофер дал газ. Тогда я предпринял попытку обогнать «Волгу», попутно проверив себя в беге на короткие дистанции.

Дежуривший на перекрестке милиционер догнал меня, и я отделался пустяковым штрафом.

Не успел милиционер отойти от меня, как я разогнался, пробежал целый квартал и хотел перепрыгнуть через дом, чтобы сразу в несколько раз перекрыть рекорд Бру-меля.

В результате этого эксперимента я перепугал пенсионеров, греющихся на солнышке. Они поймали меня



и положили на газон, чтобы я немного отошел.

Лежу в цветах, как покойник, и вспоминаю, что в конце прошлого столетия житель Неаполя Джузеппе де Май имел два отдельных сердца. Он был под наблюдением самой медицинской академии. Так почему в этом столетии не может родиться человек тоже с двумя сердцами?

Я записался на прием к известному в нашем городе врачу и попросил его проверить, сколько сердец бьется в моей груди. В ответ он потрогал мой лоб (зачем? Ведь сердце находится ниже) и посоветовал мне обрести абсолютный покой. Какой может быть покой, если я должен открыть в себе нечто необыкновенное!

Мои престарелые родители уехали в село, мотивируя свой отъезд тем, что якобы я хочу укоротить их

жизнь. Мои близкие и дальние родственники были шокированы моими экспериментами и перестали узнавать меня на улице. Лишь жена до конца оставалась со мной, потому что любила меня искренне и самозабвенно. Когда я дома начинал ставить эксперименты, она забивалась в угол и оттуда подбадривала меня криками.

Отчаявшись добиться успеха в различных отраслях искусства, науки и спорта, я решил поэкспериментировать на работе.

На свой страх и риск я поставил на станок изготовленное мной приспособление, которое на заводе одобрили, но почему-то долго не внедрили, и принялся обтачивать детали.

В конце смены прибежали учетчица, технолог, начальник цеха...

Оказывается, за смену я дал три нормы!

Не успел я выйти из душевой, как меня сфотографировали для заводской многотиражки.

Дома жена расцеловала меня. От нее я узнал, что по радио обо мне говорили как о токаре-новаторе.

Сейчас у подъезда нашего дома стоит тот самый шофер, который когда-то освистал мои эксперименты. Ему приказано доставить меня в телестудию. С экрана я покажу зрителям изобретенное мной приспособление, а своим родственникам — язык.

Как видите, экспериментировать нужно, если хотите добиться большого успеха в жизни.

гор. Чехов,
Московской области

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

«Школа восьмилетняя, но душевность и искренность педагогов заслуживает среднего образования».

(Из письма в редакцию газеты.)

Выписал В. Лифанов,
г. Жуковка.

«Обсудив действия подсудимого Григорьева А. Н., выразившиеся в том, что он вытащил Вершинину Т. М. на кухню, где пытался целовать ее, в ответ на сопротивление ударил несколько раз рукой по лицу, то суд не усматривает в этих действиях признаков хулиганства и считает необходимым исключить данный эпизод из обвинения подсудимого».

Нарсудья Дубровская,
Нарзаседатели Бравицкий и Васильева».

(Из приговора.)

Копию снял С. Дорошков,
г. Всеволожск, Ленинградской области.

«Никто, конечно, не собирается верить этому фельетону, но все же следует признать, что факты в нем описаны правдиво».

(Из выступления.)

Прислал В. Ожерелков,
г. Ярославль.

«Обучить 30 человек прогрессивным передовым приемам на операции «Обработка карманов».

(Из обязательства работников
швейной фабрики.)

Прислал Я. Лифанов,
г. Кобрин.

«Производственная характеристика.

Дана рабочей отдела «Рассвет» Знаменского совхоза в том, что гражданка Чангар Цицилия Ивановна работает на данном отделении с 1965 года. За время работы показала себя с положительной стороны, к работе относится добросовестно, в данное время к работе относится отрицательно, ведет себя отрицательно».

Прислал К. Дубровин,
Челябинская область.

«В помощь жизни я женился, взял домохозяйку: одному жить опасно».

(Из жалобы.)
Выписал И. Чабанов,
г. Тихорецк.

«Материально-ответственные лица малограмотные, не имеют специальной подготовки, не знают элементарных правил культурной торговли, в связи с чем производят растраты и хищения кооперативных средств».

(Из докладной.)
Копию снял С. Гордан,
г. Ташкент.

«Если судить по бухгалтерии, то учреждение работало усердно и ритмично: зарплату здесь начисляли и получали вовремя».

(Из акта ревизии.)

«Увидев двух женщин и приняв их за покупателей, я им нагрубила. А они оказались инспекторами».

(Из акта.)
Собрал Б. Журавлев,
г. Магадан.



Влюбленный покупатель.

Рис. В. Жаринова.

Отпускное настроение

Очень, братья, неохота
Перед отпуском работать.
Суть подобного явления —
В чемоданном настроенье.

После отпуска работать
Тоже сразу неохота,
Месяц — два наверняка...
Раскачаешься пока!

Остальные дни в году
Нет влечения к труду.
Объяснение тут одно:
Не был в отпуске давно!

А пора его настала...
Можно все отложить сначала!

Отдохнем?

- У Ивана были?
- Были!
- У Степан пили?
- Пили...
- Дома жар дали?
- Дали!
- Погуляли?
- Погуляли!
- Нету боле сил моих.
- Отдохнуть бы, на троих?!

г. Свердловск.

После спектакля

Все на месте в этой драме:
Сад с беседкой, дом с дверями,
Восемь актов, тьма картин...
А людей?
Хоть бы один!

Образец басни

В кабинете Кочет-зам
Кукарекает.
В чем тут смысла, читатель сам
Докумекает.

г. Минск.

Перевел с белорусского
В. КОРЧАГИН.



— Сколько раз тебе говорили: дети не
должны вмешиваться в разговоры старших.
— Но пока вы разговаривали, я стал со-
вершеннолетним!

Рис. О. Корнева и Н. Станиловского.

Ц. МЕЛАМІД

ВЫИГРЫШ

Барбосу повезло: на его билет дворовой
лотереи пал наибольший выигрыш — кар-
тина самого Покана Длинношерстного.

В ответ на поздравления счастливцев сму-
женно отмахивали лапой:

— Надо еще взглянуть, что за выигрыш.
Может случиться так, что он не удовлет-
ворит моих возросших запросов...

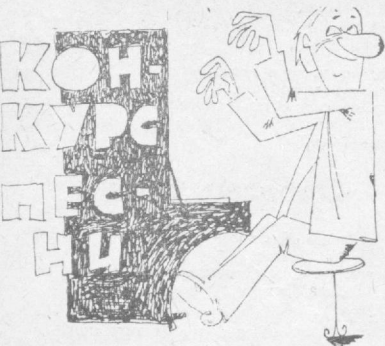
Когда Полкан Длинношерстный раздвинул занавеску на мольберте, все дворовые
люди и ценили восторженно завилы-
лись. И в удивительно, ибо гряда

косточек, выписанных в лучшей реалисти-
ческой манере, была просто великолепно.

— Ну-с, а какого мнения о картине ее
будущий владелец? — с напускной скром-
ностью потупил очи долу явно польщен-
ный художник.

Барбос, который успел уже дважды об-
нюхать холст и трижды — каждый угол
студии, злобно блеснул глазами на маэстро.

— Гав... гав... гавкая честно, вам меня
не обжужить. Предпочитаю получить выиг-
рыш натурой. А ну-ка, доставай модель,
живо!



В состав жюри вошли: директор музыкального училища А. Гучков, секретарь местного отделения Союза композиторов Т. Пучков, представитель Дома народного творчества К. Птушко и заведующая музыкальной редакцией радио М. Петушкова. Прессу представлял молодой журналист А. Моргунов. В первые же секунды он начертил в блокноте: «Материалы — под девизами. Пристрастие исключается».

Директор музыкального училища сел за рояль. Проиграли песню. Члены жюри переглянулись.

— Мелодия того... — тихо начала М. Петушкова и покраснела, — напевная.

Проголосовали за то, что мелодия «напевная». Петушкова почему-то воздержалась.

Проиграли еще несколько песен. С общего молчаливого согласия их отложили: что-то не то...

Гучков бодро заиграл марш.

— Как? — спросил он. — Помому, тут что-то есть...

Проголосовали. Гучков воздержался.

Следующую песню жюри приняло довольно тепло, но засомневались в тексте.

— А что? — удивился Т. Пучков. — Слова — они под музыку поются, как закуска.

Спорить не стали. При голосовании Т. Пучков воздержался.

Когда проигрывали обработанную

народную мелодию, К. Птушко не удержался и вздохнул:

— Фольклор всегда ржен! Музыкальные истоки, так сказать...

Подняли руки. Птушко воздержался...

Вечером Моргунов едоуменно объяснял редактуру:

— Что писать, не знаю. Снова все премии уплыли в жери! А песни — под девизами! Непнятно, как они узнают своих?



ЛЕОНОВ

Из молодых, да прыкий

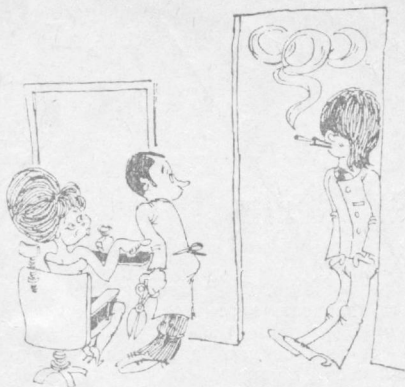
За минуту в воскресенье
Написал стихотворенье.
И затем в ближайший вторник
Издавать он хочет сборт.

Поклоник Мельпомены

Ему начхать на муз ирации.
Он думу думает про
Как первым к выходу робраться
И в гардеробе взять льт

— Постригите меня
под мальчика...

Рис. В. Тильмана.



Игорь МАРТЪЯНОВ

О ПРЕДМЕТАХ НЕОДУШЕВЛЕННЫХ

Зонт

Мы вспоминаем лишь о нем
в ненастный день,
в жидкий день
прояснится горизонт —
ювь позабы, мы про зонт.
г так иные про друга
иг вспомнят,
и будет туго...

Увеличительная

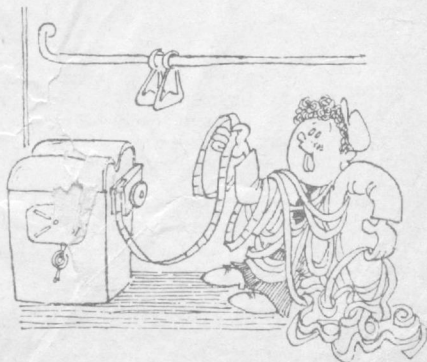
Глядит на все без исключения
С позиций преувеличения.
А впрочем,
Не она одна
Из мухи делает слона.

г. Шаново.



Шестерка

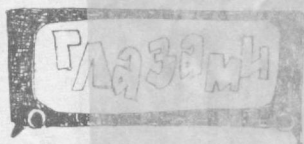
все в точной колоде
на и скромной и не озорной.
друг шестерку подменили вроде.
ело в том, что стала —
эной!
тотный нрав?
она гроза
х вокруг
для туза.
ет, асех откровенно
презирает.



— Когда же попадется счастливый билет?
Рис. В. Тильмана.

эт козыряет!

Своими



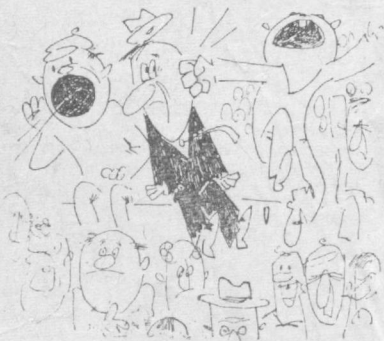
Обычный семейный разговор. На повышенных тонах.

— Когда же мы, наконец, купим телевизор?

— Никогда. Я не хочу губить свою молодость перед голубым экраном!

— А мне надоело проситься в гости к соседям!

— Если ты такой любитель футбола, ходи на стадион! Свежий воздух, то, се... Одевайся и иди.



— Да? А билеты? А как туда ехать... в эти Лужники?

— Спросишь у милиционера. Ну, иди, иди, не мешай стирать.

И Кишлаков очутился на лестнице.

Через час толпа вынесла Кишлакова к кассам стадиона. Билеты, конечно, уже все были проданы. Еще через час Кишлаков научился вполне сносно канючить: «Нет ли лишнего билетика?» Это принесло свои плоды: обладатель лишнего билетика выбрал из жалобного хора наиболее страдальческий голос, и Кишлаков вырвался из окружения завистников, зажав в потной руке

зеленую бумажку с красной полосой. Это стоило ему одного рубля двух пуговиц и трех запрещенных ударов ниже пояса.

Его место, конечно, уже было занято. Помогло знание механики: вибрирующее тело легче входит в плотную среду. Кишлаков сел на колени соседей и, вибрируя, достраивал свое место на трибуне.

Игра началась. На третьей минуте опасный прорыв спартаковцев по краю закончился чувствительным пинком в правую почку Кишлакова. Это сосед сверху выражал свое огорчение неточным пасом.

На седьмой минуте левое Кишлакова перестало функционировать: сосед слева освиснул судью.

Пятнадцатая минуте соседи слева и справа выжили, что болели за разные команды. Поскольку не тянулись друг до друга они и могли, все тычки довершил Кишлакову.

В перерыве соседи справа и слева решили все-таки выяснить отношения до конца. Для этого им понадобился третий судья. «Будешь третьим», — сказали они Кишлакову. Пустую бумажку судья взял скармью. Закусили папиросками. Начался второй тайм. На десятой минуте Кишлаков сбился с проход сосуда справа. Потом сосед слева начал круг Кишлакова образцовым в мавая зона.



